НЁМАН

5/2011
МАЙ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1945 года
Минск

СОДЕРЖАНИЕ

Редакционно-издательское учреждение «Литература и Искусство»

К сведению авторов

Авторы несут ответственность за приводимые в материалах факты.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Редакция только сообщает автору свое решение.
Материалы, отправленные только по электронной почте, редакция не рассматривает.
Объем прозаических произведений не должен превышать 6 авторских листов.

Техническое редактирование и компьютерная верстка *С. И. Таргонской*
Стильредактор *Н. А. Пархимович*
Набор *И. М. Кульбицкой*

Подписано к печати 6.05.2011 г. Формат 70 × 108 $^1/_{16}$. Бумага газетная.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 19,60. Уч.-изд. л. 19,78. Тираж 3522. Заказ 1123.
Регистрационный № 11 от 22.08.09 г.

Адрес редакции: 220034, г. Минск, ул. Захарова, 19.
Телефоны: главного редактора — 284-85-25; заместителя главного редактора, отделов прозы, поэзии, публицистики, критики, зарубежной литературы — 284-80-91.
e-mail: neman-lim@mail.ru

Республиканское унитарное предприятие «Издательство «Белорусский Дом печати».
220013, Минск, пр. Независимости, 79. ЛП № 02330/0494179 от 03.04.2009 г.

Учредители — Министерство информации Республики Беларусь; общественное объединение «Союз писателей Беларуси»; редакционно-издательское учреждение «Литература и Искусство»



ГАНАД ЧАРКАЗЯН

Горький запах полыни

Роман

Долгая дорога домой

Горько от сегодняшней непростой жизни: столько утрачено, столько потерь произошло за два последних десятилетия… Художественная литература только подступает к этим непростым проблемам.

В центре повествования Ганада Чарказяна молодой человек, попавший во время солдатской службы в Афганистане в рабство. Тема известная, и в начале повествования читателю может показаться, что особенных открытий в романе нет: герой попадает в плен, становится мусульманином, заводит семью, затем, потеряв любимую жену, возвращается на родину. Однако за внешней простотой сюжета кроется много неожиданного, такого, что притягивает теплотой, негромким гуманизмом, человечностью, — качествами, которыми одинаково наделены и советские шурави, и непонятые нами афганцы, пуштуны, испытавшие не меньшую боль и не меньшие разочарования, нежели пришедшие на их землю солдаты.

Главный герой романа Глеб Березовик, прожив почти два десятилетия в афганском кишлаке, о том, что происходило за границами Афганистана, узнавал по обрывкам информации. Многое он не мог понять и принять. Все то, что писателю хотелось бы сказать открытым публицистическим текстом — о развале Советского Союза, падении многих общественных устоев, о том, что в Беларуси найдены силы, способные отвергнуть чужие приоритеты, разрушающие вечные традиции народной жизни, — в большей степени находится за рамками основной сюжетной линии. Но тональность повествования, твердость идейных воззрений, даже сомнения главного героя помогают понять гражданскую позицию автора.

Счастливое возвращение Глеба домой, в белорусскую деревеньку Блонь, что спряталась неподалеку от Марьиной Горки на Пуховщине, — это еще и большая тревога о нашем времени. Как жить Глебу и его родным завтра? Какая судьба ждет оставленных в Афганистане детей?

Своим романом «Горький запах полыни» Ганад Чарказян напомнил, как мало у нас произведений о современности, о страданиях человека, о его «хождениях по мукам» в контексте общих для постсоветского пространства событий. Думаю, что у романа должно быть продолжение. Ведь герой вернулся домой, на родину. Жизнь, которую ему еще предстоит прожить, потребует честности, постоянного нравственного выбора, справедливых оценок… И все это у Глеба Березовика впереди. Пусть и с некоторым привкусом родной полыни. Горькой, но лечебной, возвращающей к жизни травы.

Алесь КАРЛЮКЕВИЧ

1

Прижимаясь к скале левым боком и постукивая посохом перед собой, я медленно продвигался по узкой каменистой тропке, опоясывавшей гору. Часто она просто прерывалась — на полметра или даже больше, вынуждая делать широкий и рискованный шаг. А иногда почти исчезала, становясь едва различимой. Тогда я на какое-то время действительно чувствовал себя слезой на реснице, готовой сорваться и очень долго падать, одновременно оплакивая самого себя.

В эти минуты я останавливался, прислонялся к холодной стене спиной, — холод доходил через рубаху с суконной жилеткой и плотный халат на вате, — и раскидывал руки крестом. Глаза глядели в небо, невзрачно-белесое, словно выгоревшее под солнцем. Я сосредотачивался, старался забыть обо всем, кроме этой узкой тропки, что могла оказаться последней в моей жизни. Я стоял, опираясь на пятки, а носки моих галош повисали над пропастью. Главное было уцепиться глазом за какой-нибудь, пусть самый маленький выступ, откинуться на скалу, максимально довериться ей, вжаться всем телом. Тогда и незначительной опоры хватало, чтобы продвинуться немного дальше. Но бывало, что и пятка соскальзывала и не сразу находила опору. Тогда я на какое-то время замирал, стоя на одной ноге, и пытался поставить правую ступню впереди левой — на носок. Потом на носок ставил левую и оказывался лицом, точнее щекой, к скале. Ее холодная и влажная после ночи шероховатость казалось той единственной лаской, на которую и была способна эта угрюмая, с базальтовыми выступами скала.

Случалось, что такие повороты вокруг оси приходилось делать один за другим. Если бы все эти движения я совершал на ровном месте и в быстром темпе, то получился бы афганский национальный танец — аттан. Правда, его не танцуют в одиночку. Но теперь мое одиночество становилось залогом моего спасения.

Я сам выбрал этот непростой путь по старой тропе, которой и местные жители пользовались только в самых исключительных случаях, предпочитая не рисковать и сделать крюк, отнимавший полдня. Хотя, видимо, именно риск и был мне нужен. Да и страх, иногда все же леденивший тело и горячей волной ударявший в голову, тоже оказывался к месту. Он выводил меня из того состояния эмоциональной тупости и полного равнодушия ко всему на свете, в котором я пребывал больше месяца — с того самого дня, когда моя жизнь в очередной раз круто и необратимо изменилась.

После преодоления такого опасного участка тропы я останавливался, вытирал рукавом халата пот со лба, унимал предательскую дрожь в коленях и замечал, наконец, ту красоту, что пыталась утешить и, возможно, даже спасти меня. Глубоко внизу голубела река, по берегам ее тянулись все расширяющимися полосами посевы цветущего мака. Тень от моей горы накрывала правую часть пламенеющей внизу долины, и она была похожа на темную, уже засохшую кровь. Зато левая алела под солнцем свежей, только что пролитой кровью.

Мак — цветок забвения. Но ничего забыть мне пока не удавалось. Только непрошеные и неожиданные слезы часто пытались унести всю неизбывную горечь и безысходное отчаяние, что скопилось в душе. Тот душновато-горький полынный запах, который встретил меня впервые в этой стране, на бетонке аэродрома, у самого трапа, казалось, пропитал меня насквозь. Избавиться навсегда от этой горечи можно было только если шагнуть в бездну под ногами. Ведь это так просто — один маленький шаг. И больше никаких проблем.

Но именно близость и легкость этого шага и удерживали от него. Он всегда оставался в запасе. На самый крайний случай. Всем напряжением душевных и телесных сил я и пытался избежать его.

Неужели для того встретились моя мать и отец, чтобы я добавил немного своей крови к уже немерено пролитой на этой земле? И только для того, чтобы сделать алые маки еще немного алее. Или расплатиться за ту чужую кровь, что пролилась здесь в какой-то мере и по моей вине. Именно я и был тем человеком с автоматом, гранатометом, с минами и реактивными снарядами, бездумно — как и положено солдату — выполняющему приказы, что несли смерть всему живому в этих горах и долинах. Но сказать сегодня, что это чужая земля, чужие долины и горы, — я уже не мог. Ведь здесь я оставил не только свою молодость, лучшие годы жизни, но и самое дорогое, что у меня было.

Наконец, опасная каменная тропа обогнула далеко выдававшуюся скалу и открыла меня полуденному солнцу. Оно безжалостно ударило по глазам, привыкшим к приятному полусвету. Но зато благодатное тепло пошло по всему телу. Какое-то время я стоял с закрытыми глазами, отогреваясь и думая, что крупицы счастья достаются и самому несчастному. Словно Всевышний щедро рассыпает их со своих высот. Приоткрывая глаза, я уже видел не только бурую стену ущелья, но бесконечно глубокое, бездонное небо и сияющие, совсем близкие, белоснежные вершины. Глядеть на них и предаваться воспоминаниям и размышлениям я мог бесконечно. Даже сейчас на этой узкой и заброшенной горной тропе, совсем не обращая внимания на бездну под ногами.

Только месяца через три моей афганской службы я понемногу привык к этим пропастям, только и ждущим твоего страха и робкого, неверного шага. Но когда по тебе стреляют и пули выбивают осколки камня рядом с головой, то как-то забываешь, что ты на краю бездны с ледяным потоком на дне. Один страх заставляет забыть о другом. Я до сих пор помню то чувство — чувство законной гордости, — когда, впервые бросив взгляд на глухо ворчащую внизу речку, не испытал привычного головокружения. Ну, речка, ну, ворчит себе где-то там внизу, на расстоянии с полкилометра, ну и пусть. Она занята своим делом, а я своим. Это была моя первая победа в этих горах. Я — человек равнин и болот — оказался вполне жизнеспособен и здесь, на этих кручах. Хотя первые дни и падал замертво от усталости. Но уже через месяц скакал по камням, как горный козел. А когда, наконец, разжился со временем китайскими штанами и кроссовками, то до счастья оставалось совсем ничего. Точнее — только 203 дня до приказа.

Именно в тот день, семнадцатого августа, — День независимости Афганистана, — наши пять бэтээров при поддержке двух вертолетов неожиданно бросили в район Кандагара. Я сидел на броне, обвеваемый ветерком, и бездумно подсчитывал и пересчитывал эти дни. Если бы кто-нибудь сказал мне тогда, что растянутся они на долгие годы в чужой стране, то я, не колеблясь, разрядил бы в него весь боекомплект.

Когда, немного передохнув, я продолжил путь по заброшенной горной тропе, то оказалось, что она стала не только шире почти на полметра, но уже и явно пошла под уклон. Тут я как-то немного расслабился, напряжение последнего часа прошло. Неизвестно, что ждет впереди, но на сегодня самый трудный участок дороги оказался пройденным. Хотя, конечно, я знал, что в горах надо быть постоянно начеку. Тем более что спуск всегда опаснее подъема.

Эту аксиому вдолбил в меня еще замкомвзвода — старший сержант Гусев: прежде чем взобраться куда-нибудь, подумай, как будешь спускаться.

Гонял меня наш Гусак, впрочем, как и других молодых, не жалея — ни себя, ни нас. Жестко вбивал военную науку, тот собственный некнижный опыт, полученный им самим на недружелюбной афганской земле. Может, потому в нашем взводе и не было потерь. Сколько нервов пришлось ему потратить только на то, чтобы научить нас падать сразу, не оборачиваясь, при любом подозрительном звуке или движении.

Теперь именно эти подозрительные звуки и движения заставили меня остановиться. Впереди, где ущелье расширялось, уже была различима россыпь жилищ — я так и не привык называть их домами — кишлака Каракан. С моим хозяином Сайдулло мы частенько наведывались туда в базарный день. С высоты птичьего полета кишлак был похож на развороченный муравейник. Несмотря на жаркий полдень, люди не прятались в своих глинобитных сарайчиках, но, казалось, все кто могли высыпали наружу. Там явно что-то происходило.

Странно, навруз — самый древний и самый радостный праздник на этой земле — уже отметили, и пока других поводов для такого необычного оживления не предвиделось. Да и звуки, когда прислушался, были совсем не праздничные. Вроде похожи на плач или на причитания.

Я ускорил шаги и минут через десять в растерянности остановился. От этого праздника остались глубокие воронки, груды обломков, полуразрушенные жилища, разбросанные деревья и наклоненные фигурки что-то ищущих в кучах мусора людей. Стало очевидно, что не долгожданная радость причина этого оживления, а большая беда — всегда неожиданно застигающий нас праздник дьявола. Но, как утверждает Коран, лишь Аллах творец добра и зла, их порождающая причина. Аллах любящий, милостивый и милосердный. Он не имеет ничего общего с богом Библии. Аллах — некий умственный идеал, недоступный изображению. Значит ли это, что и обратная связь с ним невозможна? Что он принципиально не слышит обращенных к нему речей? Но для кого тогда ежедневные и многократные молитвы?

Любая религия всегда отвергает логику и здравый смысл, отрицает реальность — ради мечты, помогающей выжить в самых трудных условиях. Как говорила моя бабушка: кто на море не тонул да детей не рожал, тот богу не маливался. Видимо, именно поэтому женщины в массе своей гораздо религиознее мужчин. Потому что чаще подходят к самому краю жизни и отважно заглядывают туда. У мужчин это случается только на войне или в каких-то редких, экстремальных ситуациях, когда они сталкиваются с тем, что неподвластно и резко обрывает их обыденное существование.

Словно в подтверждение моих мыслей сзади раздался нарастающий рев реактивного самолета. Я оглянулся. Темно-серый истребитель с опознавательными знаками армии США пронесся метрах в двухстах от меня. Воздушная волна жестко бросила на скалу. Хорошо, что я успел раскрыть рот и опереться на руки. Но уши все равно заложило.

Приближаясь к селенью, самолет еще снизился и на недопустимо малой — для устрашения — высоте пронесся над упавшими на землю людьми. Потом круто взмыл вверх — свечой — и, как на показательных выступлениях, пролетел вниз головой, но уже на приличной высоте, в обратном направлении. Совершив большой круг, он снова пронесся мимо меня, всего метрах в ста и на уровне глаз. Я с раскрытым ртом ухватился за выступ скалы. А люди внизу снова упали ниц возле своих глиняных домиков. Но не все. Один вскинул на плечо трубу — «стингер» или нашу «стрелу»? — и выпустил вдогон ракету. Нет, все-таки «стингер» — его характерный звук я никогда не забуду.

Когда «фантом» снова взмыл и задрал пузо к солнцу, ракета настигла его. Где-то на высоте километра полтора. Он вспыхнул и начал разваливаться на части. Дымящиеся обломки упали на лесистый и зеленеющий склон, а летчик успел катапультироваться и теперь медленно опускался на цветущее маковое поле недалеко от кишлака.

Впрочем, это отсюда, с высоты птичьего полета, казалась, что недалеко. Думаю, что километра три все-таки было. Но люди, над которыми он издевался, уже торопились его встретить. Впервые я подумал о том, что вот на месте этого пилота, при всех своих горестях и бедах, мне все же не хотелось бы оказаться. Никогда. Тем более, что я тоже чужак, которого никто не звал. Чужак, пришедший с оружием, хотя и со словами о дружбе. Но судят ведь не по словам и намерениям, а по делам.

Пока я опускался в долину по все расширявшейся тропе, летчика, видно, привели в чувство, поставили на ноги и, подгоняя палками и камнями, повели в кишлак. Позади человек пять несли на плечах его длинный прогибающийся парашют, похожий то ли на сказочного змея, то ли на дракона. Парашют — это большая удача. Последний крик кишлачной моды — шелковая рубаха до колен. Белая, оранжевая или даже красная — кому как повезет. Но сегодня шелк парашюта был ослепительно белый, самый престижный — жениховский. Уже можно было разглядеть, что невысокого рыжего парня конвоировали дети — бачата.

Первое время мы тоже относились к ним как к детям. Но это были дети воюющего народа, где воевали все, невзирая на возраст. После каждого набега клянчащих мальчишек на наш лагерь в Кабуле сержант Гусев тщательно проверял всю технику и не раз снимал магнитные мины, прикрепленные в самых труднодоступных местах. Ну а близ кишлаков, даже дружественных, требовал, чтобы мы этих грязных и вечно голодных бачат и близко не подпускали. Но ребята все равно бросали им что могли из наших сухих пайков. Им годились и сухари, и галеты, и кисель в брикетах, и куски сахара, и надоевшая всем гречка.

Правоту нашего сержанта мы поняли только тогда, когда случилась беда с самым веселым и неунывающим солдатом нашей роты — Сергеем Ивановым. Он вез гуманитарную помощь в дружественный кишлак. Там те, кто за революцию, сарбозы по-ихнему, организовали что-то вроде кооператива. Им тоже часто приходилось отстреливаться от местных банд. Там постоянно находились и наши подразделения. По дороге, недалеко от места назначения, Сергей притормозил и вышел что-то поправить в двигателе. Не обращая никакого внимания на парнишку лет пяти, открыл капот и наклонился в поисках неисправности. Выпрямился он уже только в кузове. Навсегда.

Чумазый пацаненок ловко воткнул ему небольшой узкий нож под лопатку и тут же исчез. Никаких поселений поблизости не было. Ангел смерти возник ниоткуда и исчез в никуда. Но все же от ребятишек случалась иногда и реальная польза: если на подходе к кишлаку мы видели следящих за нами со своих плоских крыш бачат, то, значит, все нормально — моджахедов в селении нет.

Я подошел к кишлаку вместе с захваченным в плен летчиком. Он выглядел достаточно безмятежно. Его голубой комбинезон был запачкан зеленью, а в руке рыжеволосый пилот держал сорванный цветок мака. Его лепестки были намного темнее, я бы сказал, даже печальнее, чем веселая солнечная шевелюра летчика. Голубые водянистые глаза, веснушки на молодом и самоуверенном лице. Основательный нос и тяжелая нижняя челюсть. Он

с рассеянным любопытством и без всякого страха разглядывал и детишек, и убогие глиняные сооружения. Периодически даже улыбался. Ну, знаете, эта знаменитая американская улыбка на вопрос «как дела?» Мол, все о'кей — и тут же все зубы наружу.

Ну, как ни глянь, просто парень на прогулке в центральном нью-йоркском парке, идет на свидание. Рекламный голубоглазый Джон, которого уже ждет такая же рекламно-голубоглазая и златовласая Мэри. Да, рыжий наш явно думает, что его тут же обменяют и он скоро — завтра-послезавтра — вернется на базу, примет душ, выпьет любимый коктейль, расскажет товарищам о своих подвигах — как он укладывал на землю этих чокнутых талибов. А потом позвонит подружке из госпиталя и договорится о встрече. Хорошо после таких острых ощущений посидеть в кабульском ресторанчике. А потом ночь любви, где адреналин, накопленный за это время, сделает его тоже героем.

Пленный летчик мельком бросил взгляд на меня, заметил мои голубые глаза — удивленно вскинул брови. Замедлил шаг. Потом еще раз оглянулся и убедился, что не ошибся.

Я уже привык к таким взглядам незнакомых людей и на частые расспросы имел все объясняющий ответ: мол, я родом из Нуристана, земли света, из самой северо-восточной провинции. «А, из Кафиристана, страны неверных! Ну, Коран-то вы там уже прочитали?» — улыбались незнакомые, и любопытство их затихало.

Население этой труднодоступной провинции дольше всех сопротивлялось исламизации — приняло ислам только в конце девятнадцатого века. Даже великий Тамерлан не мог покорить эти земли. Лишь в 1895 году поход кабульского «железного эмира» Абдуррахмана сломил их сопротивление.

Люди в стране света действительно голубоглазые и вполне европейской внешности. Ну не будешь же всем и каждому объяснять, что я шурави, да еще какой-то неизвестный здесь белорус. Причисляя себя к гордому и свободолюбивому народу, я тоже имел возможность гордиться и принимать знаки уважения. Хотя на самом деле гордость мою питало прежде всего то, что я белорус. Так или иначе, но такой ответ делал мою гордость для окружающих вполне понятной и оправданной.

Помню, что первый прилив неожиданной гордости я испытал, когда после уничтожения группы моджахедов, нашел в бункере убитого главаря одного из отрядов книгу «Партизанская война в Белоруссии». Оказалось, что Саид-хан лет десять назад окончил строительный факультет нашего минского политехнического института. Но построить, видимо, ничего не успел, а вот воевал довольно успешно отчасти и потому, что использовал наш героический опыт в войне с фашистами.

Тогда мне впервые пришло в голову, что нас тоже могут воспринимать как непрошеных гостей, даже захватчиков. Ведь почему-то явно не глупый парень все же воевал с нами. Значит, чувство благодарности за высшее бесплатное образование перевешивалось какими-то другими чувствами, более сильными. Почему-то не стал он и на сторону революции, которая дала землю крестьянам.

Правда, та же революция вскоре же начала сгонять их в колхозы. Видимо, книг об ошибках коллективизации лидерам афганской революции не попадалось. Но тут тоже есть своя тонкость: в колхозы загоняли таджиков и узбеков из северных провинций, которых титульная нация — пуштуны — считали людьми второго сорта. Именно таджики и узбеки, жившие в Афганистане на границах с Союзом, и стали самыми яростными противниками революционной власти и ее незваных помощников — шурави.

За долгие годы, проведенные в этой стране, мне стало вполне очевидно, что основные группы жестко противостоящих друг другу государств, возглавляемые США и СССР, попросту превратили Афганистан в громадный испытательный полигон. Именно на территории Афганистана и кровью его наивного и воинственного народа велась глубокая разведка боем. Отыскивались слабости противника, испытывалось новое оружие, отрабатывалась стратегия и тактика горной войны.

Думаю, что беды афганского народа начались не с момента ввода советских войск, а гораздо раньше — когда двоюродный брат короля Захир-шаха Муххамед Дауд Хан в 1973 году произвел дворцовый переворот и пришел к власти. Я могу только догадываться, какие влиятельные силы стояли за этим переворотом. После смены руководства наши безмятежные отношения, сложившиеся еще на заре советской власти, начали понемногу портиться. Очевидно, что они кому-то не очень нравились.

Отношения выстраивались десятилетиями. Сколько наших специалистов успело поработать в соседней и давно дружественной стране, сколько студентов окончило наши вузы, сколько средств вложено было в экономику этой бедной страны! А сколько успели построить! Чего ни коснись — все, оказывается, шурави. И завод азотных удобрений, и городок для его рабочих в Мазари-Шариф, заводы стекла и кирпича, заводы пива и коньяка, минеральных вод, фабрики шелка и обуви. А сложнейшая Джелалабадская ирригационная система? А разведанные полезные ископаемые, такие редкие, как медь и уран, ртуть? Плюс богатейшие запасы газа, поставки которого уже начались в соседний Таджикистан? А бетонные дороги, — та же Кушка-Кабул, — туннели? Один трехкилометровый Саланг чего стоит!

Но из политзанятий мне почему-то особенно запомнилась одна цифра — десять миллионов кубометров. Именно столько чернозема мы сюда завезли. Невольно возникало ощущение, что это уже отчасти и твоя земля. И как тут не помочь людям построить новую жизнь вместо той невообразимо бедной и грязной, со средней ее продолжительностью 46 лет для мужчин и 44 для женщин, со всеобщей неграмотностью сельского населения, с ужасающей детской смертностью.

Замполит рассказывал, что наши первые войска встречали с улыбками и цветами. Ведь мы пришли защищать их революцию по договору, который заключил еще Ленин. Но уже довольно скоро все изменилось. Афганский народ раскололся, или его сумели расколоть, на две воюющие половины. Но у меня сложилось такое впечатление, что лидерам революции и не было никакого дела до своего народа. Занимались они самым главным для себя: борьбой за власть. Занятие это в разноплеменном и общинно-родовом Афганистане могло привести только к взаимному уничтожению.

Как говорил Амин, ликвидировавший Тараки: если племя начинает войну с другим племенем, то готово сражаться до последнего младенца. Амина, как человека неуправляемого и с очень большими амбициями, убрал наш спецназ. Как нам говорили, советские десантники лишь на несколько часов опередили американских морских пехотинцев. Возможно, и так. Но, думаю, что лучше бы нас там опередили американцы, а мы бы остались навсегда друзьями с незапятнанной репутацией.

2

После гибели Тараки и ликвидации Амина за идеалы революции, в основном с нашей помощью, начал бороться Бабрак Кармаль. Их царандой,

народная армия, всегда пряталась за наши спины и чуть что — разбегалась. Сегодня он в царандой, а завтра — моджахеды пообещали платить больше — в банду. Потом на смену Кармалю пришел доктор Наджибулла, по профессии врач-гинеколог. «Ну, уж явно не в ту дырку парень полез!» — грубовато шутили наши офицеры. Тогда доктор не мог знать, что через десять лет его путешествие в страну чудес закончится на виселице — вместе с родным братом. Занялся он явно не своим делом: пламя губительной междоусобной войны только разгоралось, несмотря на его политику национального примирения. Да и что могло зависеть от одного человека там, где сходились интересы великих держав? Он мог только суетливо прислуживать одной из них. Или, скорее всего, пытался угодить и нашим и вашим, ловко пополняя свой счет в швейцарском банке. С началом политики примирения, она явилась следствием начала перестройки в СССР и приходом к власти Горбачева, потери советских войск значительно возросли. Нам было запрещено открывать огонь первыми, только в ответ.

Но примиряться разноплеменные отряды вовсе не торопились. Пользуясь нашей пассивностью, они начали активно выяснять отношения между собой. Иногда случалось, что мы только наблюдали, как одна группировка борцов за веру воюет с другой и периодически просит у нас помощи. Утром приходят от горы слева, вечером — от горы справа. А днем и ночью — бесконечная пальба с одной горы на другую. Помощь мы охотно оказывали — в основном боеприпасами, а иногда и залпами установок «Град».

Это оружие вызывало священный ужас. Случалось, что моджахеды, попавшие в зону его действия и чудом оставшиеся в живых, потом просто теряли рассудок. Расплачивались за услуги теми же натуральными продуктами, баранами и верблюдами. Это у нас такое длинное и нескладное слово — верблюд, а у них короткое — уш. Но больше, чем баранам, мы радовались «качалу». Тогда мы знали, что такое счастье: это когда заставе в горах достается целый мешок картошки. А ее-то, родной, я в армии попробовал всякой — и сушеной, и мороженой, и маринованной. И в виде хлопьев, и в виде муки. Но все эти стратегические и давно просроченные запасы приедались быстро, как и дефицитная на гражданке гречка. Натуральные продукты — это то, что доставалось нам. Кое-кто, видимо, получал за эту помощь и кое-что посущественнее.

О чем там их командиры толковали с нашими, особенно когда мы находились далеко от расположения части, где-нибудь в горах, никаких достоверных сведений не имею. Но, честно признаюсь, за нормальную кормежку были благодарны. Со свежей картошкой, хотя она у них и дробненькая, даже «красная рыба» казалась деликатесом. Так мы называли неизменную кильку в томате — два раза в день. И тоже просроченную. Да не на два-три года, а на все сорок. И ничего, отделывались только гастритами. Организмы молодые, все сгорало тут же.

Есть, спать, пить — особенно последнее желание — были самыми сильными. Хотя и не очень героическими, совсем не военными. Даже как-то не верилось, что было время в твоей жизни, когда ты даже мог не думать об этих простых вещах. Зато теперь хорошо знаю, как присыхает язык к небу, — невозможно даже слова сказать. Лопалась кожа, кровоточили уши, шелушился нос. Помню, как бросались к первому ручью и пили, пили, не останавливаясь. Никто и не вспоминал о дезинфицирующих таблетках. Как и о желтухе и холере.

Видимо, если и попадали к нам эти несчастные микробы, то тут же и гибли в концентрированном желудочном соке. А некоторые ребята не выдержива-

ли и шли ночью на водопой — на свой страх и риск. Кому-то везло — наливался до предела, наполнял фляжки, полиэтиленовые пакеты. А кто-то не смог разминуться с самыми коварными, прыгучими итальянскими минами. Кого-то выслеживал снайпер с прибором ночного видения.

Как-то в яростном порыве, после суточного лежания в засаде, — кто лежал, тот знает, что это такое, а кто не знает, тот пусть и остается в неведеньи, — мы смяли группу моджахедов, устроивших засаду на пути к небольшой горной речке. И только утолив первую жажду, заметили, что привкус какой-то странный. Поднялись выше и обнаружили, что ручей после попадания гаубичного снаряда изменил направление и стал вымывать овечий навоз из разрушенной кошары. Потом долго вспоминали этот эпизод и каждый раз смеялись до слез.

Да и сейчас вспоминаются не всякие страхи и ужасы, а только смешные эпизоды. Как тот же Гусев, еще в Кабуле, в крепости Бала-гиссар, где мы какое-то время адаптировались к местным условиям, давал команды нам подъем-отбой, пока не добивался, чтобы мы успевали выполнить эти команды — одеться-раздеться — за время горения спички. Да и чего только не выдумывал для нас казавшийся совсем тупым сержант.

«Вешайтесь, салаги!» — первое, что говорили разбитные дембеля, когда узнавали, что замкомвзвода у нас Гусев. Хотя, конечно, тот добивался только одного, что впоследствии, в бою, для солдата оказывалось самым важным, — умения беспрекословно и автоматически выполнять приказы. С одной стороны солдат — тупая машина, а с другой — все же думающий человек. И к тому же достаточно образованный, советский человек, которого для грубой армейской жизни все же надо было подготовить. Старший сержант Гусев справлялся с этим успешно и не без удовольствия для себя.

Все-таки ощущение власти, пусть даже и не очень большой, самое соблазнительное для большинства людей. Кто-то справляется с этим соблазном, как и с многими остальными, а кто-то — нет. Гусев явно принадлежал к последним. Ведь такой возможности — такой абсолютной власти — у него в жизни больше никогда не будет. На гражданке он в силу своего неполного среднего останется послушным исполнителем чужих приказов и указаний. Так что армия для таких людей единственный шанс если не быть, то казаться себе самому чем-то значительным. Но если остаться в армии, то, как ни странно на первый взгляд, произойдет явная утечка власти. Тогда наш грозный сержант окажется самым младшим в армейской иерархии, снова чем-то вроде салаги. Поэтому самые крутые — сержанты срочной службы. И прежде всего потому — и они прекрасно понимают это, — что на них ложится вся тяжесть рутинной армейской работы, заниматься которой офицеры часто не хотят и не могут.

Любой офицер без сержанта как без рук. И на кое-какие вольности и проделки этих рук он просто вынужден закрывать глаза. Тем более на войне. Сколько раз я сталкивался с явным самоуправством сержантов, открытым неподчинением офицерам. В итоге оказывалось, что сержант прав, а офицер имеет самое поверхностное представление о сути происходящего. Так что ничего удивительного, что мы отдавали честь не всем офицерам.

Правда, в известном мне случае, офицер отыгрался — несколько раз заворачивал наградные листы. Поэтому толковый и смелый сержант ушел на дембель без орденов, с тощей медалькой. Но зато взвод, которым он командовал, избежал потерь. А если бы он выполнил безграмотный приказ молодого и неопытного офицера, мало кому удалось бы остаться в живых.

Проблем у того же Гусева не было с выпускниками ГПТУ, — у меня сложилось впечатление, что в Афгане их было большинство, — а вот с ребятами

после школы, студентами наш старший сержант часто оказывался в смешном положении. Но виду, конечно, не подавал. Зато умник долго потом ходил в наряды. После этого демонстрировать свое превосходство у него пропадало желание.

Впрочем, после нескольких боевых операций все оказывались на одном уровне, независимо от образования и прочих достоинств. И даже независимо от званий: солдат, сержант, офицер — полное равенство перед смертью. Только из этого равенства и рождалось со временем настоящее боевое братство.

Да, после боя старослужащий, выпускник ГПТУ, может заставить постирать себе носки бывшего студента, но в бою он впереди — потому что опытнее, сильнее. Сколько раз дембеля, уже готовые к отправке на родину, только дожидающиеся вертушки, снова брали в руки автоматы и шли в бой, как всегда, впереди. И бывало, что отправлялись на дембель они в цинковом гробу, куда сгребали их останки, разбросанные по периметру.

Тогда в старой крепости, возведенной, по преданию, «белыми гуннами» в пятом веке нашей эры, которая служила казармой еще английским войскам, казалось, что мы за этими древними, полутораметровыми стенами только без толку тратим драгоценное время. Все рвались в бой с душманами, на помощь афганской революции, апрельской — в отличие от нашей, октябрьской. Почему-то апрельская казалась мне более светлой, весенней, в отличие от осенней октябрьской, когда уже короткие дни и длинные ночи. Ведь темнота — вечное прибежище всякого зла. Зато теперь, по прошествии стольких лет, я бы согласился выполнять самые идиотские команды Гусева с утра до вечера, каждый день, только бы не знать того, что обрушилось на нас, в сущности, еще мальчишек, выросших в мирное и благополучное время. Тем более, что и выросли они у тех отцов, которые тоже не знали войны. Или знали ее по книжкам и кинофильмам. А это знание еще более коварно и обманчиво, чем простое незнание.

Да, как замечала одна писательница, у войны не женское лицо. Добавлю: и даже не мужское. У нее отвратное и жестокое лицо войны. Но нам никто и никогда не показывал этого лица. Ведь традиция романтизации самого грязного дела на земле имеет давние и прочные корни. Потому что всегда нужны новые воины, новые жертвы во имя старых и откровенно-животных интересов — интересов правящих элит, для которых народы всегда только дешевое пушечное мясо. Заготовкой впрок этого мяса занималась и советская пропаганда. Этим она ничем не отличалась от любой другой.

Песни, кинофильмы, культ погибших героев — все работало на то, чтобы новые мальчишки со старым воодушевлением брали в руки оружие и, не думая ни о чем, стреляли по указанным целям и погибали ради неких смутных, но возвышенных идеалов. А женщины по-прежнему рожали бы в муках сыновей только для того, чтобы, сделав несколько выстрелов по чужим мишеням, их мальчики могли бы стать в свою очередь такой же живой и безмозглой мишенью для чужих пуль.

Но вот ушли шурави, которыми уже стали пугать детей — «вот придет шурави и заберет!», — а мира и счастья по-прежнему нет на многострадальной афганской земле. С продажными моджахедами, превратившими войну за веру в грязный бизнес, начали воевать благородные талибы, правоверные ученики медресе. Под руководством муллы Мохаммеда Омара движение провозгласило своей целью создание «истинно исламского» государства. Своим врагом талибан объявил правительство Бурхануддина Раббани и все военно-

политические группировки афганских моджахедов, непрерывно боровшихся за власть после ухода советских войск.

Почему-то мне всегда нравился Ахмед Шах Масуд. Масуд — это его прозвище, в переводе — «счастливый». Европейски образованный человек, не фанатик, с ним всегда можно было договориться. Поговаривали, что Наджибулла боялся только его. Я однажды видел Масуда на переговорах: худой, внимательный, одухотворенный. Он, в отличие от нас, понимал, ради чего проливает и свою и чужую кровь.

Недавно узнал, что Масуд погиб и похоронен в Кабуле. Там ему мавзолей выстроили. Да, Шах Масуд — молодость, Панджерское ущелье, которое он контролировал и в котором мы замерзали ночами. Такого холода я больше нигде не испытывал. Хотя и враг, но все же как-то жалко, что он погиб. Только таджик Масуд с узбеком Дустумом выступили против талибана. Но тут сказалась и национальная рознь: талибы — в основном пуштуны, титульная нация, постоянно претендующая на лидерство во всех сферах жизни.

Правительство талибов признали лишь три государства — Пакистан, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. На контролируемых талибами территориях были введены законы шариата в их крайне жесткой форме. Запрещены телевидение и западная музыка, танцы. Правда, все же для свадебного аттана сделали исключение. Ведь танцуют афганцы только на свадьбах, и лишить их этой радости — слишком жестоко. Для женщин введена глухая паранджа, они не имеют права работать и учиться.

Я думаю, что половина наших женщин согласились бы даже на такую дискриминацию, если бы их мужья так же заботились о них, как делает это подавляющее большинство мужчин-мусульман. В мусульманской религии уважение к матери, сестре, жене закладывается в детях с самого рождения. Там, вопреки распространенному мнению, вовсе не считают женщину существом низшего сорта. Напротив, муж обязан содержать своих женщин, лелеять их, беречь.

Дом — это святилище женщины. Все, что находится вне дома, — удел мужчины. Такое разделение, существующее на Востоке многие тысячелетия, помогает семье правильно функционировать, так как в восточных семьях многодетность является обычным явлением. И паранджа для женщины не метод унижения ее мужчинами, а скорее средство предохранения женщины от нескромных взглядов других мужчин.

Да и вообще, наше обыденное и поверхностное представление о женщине в исламском мире далеко от реальности. А если еще упомянуть об отсутствии разводов — при том, что ислам не запрещает их. Просто женитьба дело очень ответственное, и совершается оно с максимально возможной обдуманностью. Поэтому и занимаются им матери, усердно подыскивая достойную половину для своего сына или дочери.

Во всяком случае, счастливых семей в Афганистане гораздо больше, чем в западном мире. С этим согласны все объективные наблюдатели. Даже в своем кишлаке я не видел и не слышал ссор и скандалов, которые частенько случались в нашей Блони.

Правда, со свободой, конечно, сложнее. Но если абсолютная индивидуальная свобода мешает счастью, то достойна ли она того поклонения, которым ее окружают в так называемом цивилизованном мире? Ведь единственное завоевание пресловутой западной свободы — все продавать и все покупать.

Думаю, можно с определенностью утверждать, что свобода — это прежде всего культ торгашей, вовлекающий в свои гешефты все без исключения. Размышляя по ночам о многих вещах, для которых у меня неожиданно появи-

лось время на этой чужой земле, я пришел к твердому убеждению, что так называемая свобода — самое подлое и лживое слово.

Никакой свободы в мире нет и не может быть. Даже звезды, высокие, независимые, такие близкие и непривычно крупные в южном горном небе, тоже подчиняются неумолимым законам. Почему же для человека должно быть сделано исключение? Свободны только падающие звезды. Так что путь свободы — путь гибели. Поэтому каждый должен осознать свою неизбежность, свою колею. Моя неизбежность сегодня — путь домой. И на этом пути меня ничто не остановит. Я приду к родному порогу, что бы мне ни пришлось вытерпеть.

Возможно, талибы сделали шаг назад — но для того, чтобы не попасть в ложный и опасный след западной цивилизации, уже давно превратившей женщину в предмет беспощадной и циничной эксплуатации. Свобода работать — ведет к женскому одиночеству. Женщина искусственно отрывается от традиционного кормильца-мужчины. Не зря же ведь богатые мужчины запрещают своим женам работать.

Кстати, талибы недавно все же снизошли к женским слабостям. Отныне возможны даже конкурсы красоты.

Также может показаться, что шаг назад и возрождение средневековой традиции публичных казней. А что — лучше, когда убивают тайком? Выстрелом в затылок или — гуманно, цивилизованно — на электрическом стуле? Публичная казнь — это не только зрелище, но и воспитание. Одна такая казнь заменяет десятки тайных расстрелов. Все совершается на глазах народа, рождая сильные и глубокие переживания. Воспитывается уважение не только к смерти, но и к жизни.

Конечно, обезглавливание заложников — это уже явный перебор. Но с другой стороны: неужели нравственнее торговать людьми? Голова с плеч — и никаких выкупов и обменов. Если вы, конечно, идейные борцы. Тут мы снова наблюдаем, как благородная идея прокладывает себе путь по трупам.

Никуда не деться: мир постоянно стоит перед одной и той же дилеммой: или торговать всем без исключения и коснеть в разврате, неуклонно сползая к всеобщей гибели, или ради чистоты и спасительной справедливости неустанно рубить головы. Талибы выбрали последнее. И только Аллах знает, куда это их приведет. Аллах милостивый, милосердный, всегда следящий за равновесием добра и зла и достигающий этой цели путями тайными и неуследимыми…

О том, что его ожидает, сбитый летчик должен был бы знать, но продолжал все так же скалить свои лошадиные зубы и невозмутимо поглядывать по сторонам. Недюжинное самообладание? Возможно. Но, скорее всего, привычная ограниченность и слепота. Казалось, что он глядит, но ничего не видит. Как будто в самом деле ослеп и даже оглох. Не видит ни куч мусора на месте жилищ, ни воронок от бомб, ни трупов животных, которые рвут собаки. Ни ослика на трех ногах, глядящего на него печальными глазами. Ни суровых взглядов мужчин. Не слышит плача и причитаний женщин. Не чувствует запаха обгоревшей глины и сладковатый запах разлагающейся в неразобранных завалах разной домашней живности. Он явно исключал себя из непривычной реальности, бессознательно полагая, что до нее ему нет никакого дела. Что давало ему эту бесчувственную и раздражающую уверенность? Богатство родителей? Едва ли. Богатые не идут в армию, тем более туда, где убивают. Во всех странах это занятие для бедных — как рискованный шанс подняться на ступеньку выше по социальной лестнице. Видимо, только принадлежность

к могущественному государству, вопреки воле которого мало что происходит на нашей земле, и давало ему привычное, хотя, возможно, только показное спокойствие. Ведь он тоже прошел казарму, дрессировку сержантов и офицеров, и поэтому обязан владеть своими чувствами, постоянно вводя противника в заблуждение. Как бы там ни было, но реальность уже заглотнула рыжеволосого пилота и начала переваривать.

Стайка ребятишек, что вела или сопровождала летчика в нужном им направлении, постепенно росла. Но главным — с обрезом автомата ППШ эпохи Второй мировой — был серьезный пацан лет десяти. Второму его вооруженному помощнику можно было дать все восемь. Он постоянно что-то выкрикивал и лихо размахивал наганом времен гражданской.

Первое время наличие у крестьян самого архаического оружия нас только веселило. Какой-нибудь раритет с калибром в пять сантиметров, заряжающийся с дула и кремневым бойком, вселял в нас легкомысленное чувство своего абсолютного превосходства. Но когда старинные английские винтовки — буры — доставали нас с расстояния в три-четыре километра и оставляли раны, несовместимые с жизнью, смеяться почему-то уже не хотелось. Потому что поняли: побеждают не оружием, но ненавистью.

Конечно, теперь мне часто приходится слышать, что шурави все же были лучше американцев. И что, мол, зря мы тогда послушались плохих людей. Но прошлого не вернешь, не вернешь бесчисленных жертв и пролитой крови. Если наши потери поддаются подсчету, то афганцы теряли неизмеримо больше. И потери исчислялись уже не тысячами, а сотнями тысяч, миллионами. Все-таки им противостояло самое современное оружие массового уничтожения. Оно сметает людей, как крошки со стола в солдатской столовой, — жесткой и беспощадной щеткой, абсолютно равнодушной к отдельной личности. Цивилизация не может тратить время на индивидуальные казни. Она оперирует большими числами.

Когда-то исход сражения решался поединком лидеров. Почему бы современным президентам, болтающим о гуманизме, не принять этот способ решения конфликтов? Это было бы самое убедительное доказательство их любви к собственным народам.

3

Основными и самыми серьезными нашими врагами в Афганистане были все же не крестьяне со старинным вооружением, а чаще всего небольшие мобильные группы иностранных наемников. Они располагали самой точной оперативной информацией и почти всегда заставали нас врасплох. Короткий кровопролитный бой, уничтожение склада с горючим или боеприпасами, колонны грузовиков или бронетехники — и бесследное исчезновение.

Так было и тогда, в роковой для меня день независимости — семнадцатого августа. А когда удавалось подстрелить одного-двух из этих групп, то там тоже было на что посмотреть. Это уже не старинные мушкеты, а самое современное вооружение и средства связи. Плюс экипировка, о которой мы могли только мечтать. Никакого отношения к крестьянам из кишлака эти боевики, конечно, не имели, хотя часто были одеты, как и простые крестьяне, в традиционные длинные рубахи и жилетки. А если наемники захватывали пленных, то о судьбе наших ребят было даже страшно рассказывать. Счастливчиком оказывался тот, кто успевал застрелиться или взлететь в воздух, захватив с собой на тот свет и несколько моджахедов. Случалось, что, переодевшись в советскую

форму, наемники из мобильных групп устраивали нападение и на жителей какого-нибудь дружественного кишлака. После такой инсценировки дехкане, в лучшем случае, встречали нас с ненавистью и презрением. А то и очередями из китайских автоматов, доставленных им теми же наемниками.

При входе в кишлак, точнее, на то место, что было когда-то селением этих несчастных людей, процессия мальчишек начала постепенно обрастать взрослыми. Не бросая своих мотыг, которыми разбивали груды мусора, еще недавно представлявшего какую-то житейскую ценность, они молча вливались в шествие. Некоторые печально кивали мне. И, конечно, не следовало обычных для встреч вопросов-приветствий: «Салам! Сихат мо цынга дый? Стаси каробар цы ди? Стаси рогтйа гварым!» Никого уже не интересовало ваше здоровье и ваши дела. Тем более здоровье ваших родственников и даже тополя во дворе. Да и что можно было пожелать друг другу при встрече в таких обстоятельствах — только обменяться скорбным и сочувственным взглядом.

Вдруг кто-то остановил меня радостным возгласом. Это оказался Ахмет, еще совсем молодой парень. Он жил в дальнем высокогорном кишлаке и с самого детства был моим страстным болельщиком на празднике навруз. Каждый раз, как нам доводилось встречаться, он настойчиво пытался выведать или хотя бы понять, как это у меня получается — бросать камни без промаха. Он-то, отведя меня в тень чудом уцелевшей смоковницы, и рассказал о том, что здесь позавчера произошло.

— Праздновал свадьбу сына самый богатый человек в кишлаке. Вообще-то теперь он живет в городе, Ургуне. У него большой дом, свой бизнес, но в кишлаке полно бедных родственников. А родственники, сам понимаешь, святое. Вот для них он и решил устроить праздник. Ну, ты знаешь, что такое наша свадьба? Никогда без стрельбы не обходится. На этот раз устроили такую канонаду, да еще с осветительными ракетами, что пилот патрульного вертолета перепугался. Ему показалось, что вся эта канонада была вызвана его появлением. Очевидно, что его хотели сбить. Ну и, конечно, тут же связался по рации с командованием, доложил. Через полчаса прилетели тяжелые самолеты и сбросили бомбы.

Богач наш, как только услышал гул, сразу схватил своих детей, жену — и в машину. Джип его тотчас исчез в клубах дорожной пыли. А мы поняли, что к чему, когда было уже слишком поздно. Как видишь, уцелело только десятка полтора жилищ, что повыше и немного в сторонке — в основном тех, кто побогаче. А беднота, что лепилась друг к другу, — у них три стены общие, — так все и потеряла. Даже то немногое, что у них было. Теперь вот ковыряются, пытаются хоть что-нибудь отыскать. Хоть какое-нибудь одеяло или старый халат.

Почему-то женщины и дети бросились под родные крыши — да и куда тут спрячешься, все открыто. 53 человека погибло, больше ста ранено. Погиб мулла, самый ученый и уважаемый человек в округе. Хорошо еще, что наш богач вызвал по дороге «скорую помощь», обещал заплатить им. Почти всех раненых увезли в госпиталь в Кандагаре, остальных перевязали, а мне просто повезло — ни царапинки. Хотя впервые в жизни мне было по-настоящему страшно. Повезло, что я в то время умывался у реки, в стороне ото всех. Я сразу спрятался за большой камень и не шевелился, пока самолеты не улетели.

— За что нас так, Халеб? Ведь уже не первый это случай, когда бомбят наши свадьбы. Неужели мало нашей крови пролито? Неужели мало вдов и сирот? Нет, надо уходить отсюда, а то так и останусь холостяком — на жену здесь не заработаешь, а погибнуть можно запросто. Да я так и рассчитывал, что после

свадьбы подойду к этому богачу, поговорю с ним, может, он поможет найти какую-нибудь работу в городе. Воевать не хочу. Недавно люди с оружием поднялись и в наш кишлак. Взяли семерых. Но мать меня так спрятала, что не нашли. Вот если бы я, как ты, умел бросать камни точно в цель. Тогда бы мне и сам шайтан был бы не страшен. До сих пор не могу понять, как это у тебя получается.

Он вопросительно и с надеждой посмотрел на меня.

— Не переживай, Ахмет. Я и сам не знаю. Просто бросаю — и все. Оказывается, попал.

Ахмет недоверчиво, с явной обидой на лице, обвел меня взглядом.

— Я понимаю, я бы тоже никогда никому не открыл свой секрет. Ведь Аллах или тот, другой, могли бы обидеться и наказать меня, лишить этого искусства. Да, все во власти духов и высших сил. Тут уж ничего не поделаешь. — Он печально вздохнул.

Я вынужден был с ним согласиться — и тоже со вздохом развел руками. Не мог же я без конца твердить, что ничего не знаю о своем, можно сказать, таланте. Он бы обиделся смертельно, а так мы теперь оба — сообщники, причастные к великой тайне. С облегчением заметил, что обида ушла из наивной души Ахмета.

— Послушай, — сказал он. — У меня есть очень сильный амулет от чужого завистливого глаза. Достался от деда. Мне все равно никто завидовать не станет. Но тебе, думаю, может пригодиться.

Он достал из одного из многочисленных карманов потертой кожаной жилетки небольшой черный камень неправильной формы. Как будто его долго мяли и камень сохранил все изменения и прихотливые складки, возникшие во время этого процесса. Я протянул руку. Камень оказался неожиданно тяжелым.

— Он оттуда, — Ахмет многозначительно поднял палец к небу. — Это тебе на память обо мне. Ты самый удивительный человек, которого я встречал. Таких глаз, как небо, из чистого лазурита, я никогда не видел. В Нуристане у всех такие?

— Есть и зеленые, — улыбнулся я.

Ахмет опять недоверчиво и с зарождающейся обидой исподлобья взглянул на меня. Его, видимо, насторожила моя улыбка.

— На самом деле зеленые?

— Да. А ты думаешь, что такая мелочь, как цвет глаз, может быть затруднением для Аллаха?

— Не думаю. Просто мне такие глаза никогда не встречались. Я ведь дальше соседнего кишлака нигде и не был.

— Молодой еще, успеешь всего наглядеться. А потом поймешь, что лучше родных мест и нет ничего в мире. Нигде нас никто не ждет, нигде мы никому не нужны. Признаюсь тебе, что я тоже в молодости рвался из родных мест, а теперь отдал бы все, чтобы туда вернуться.

За эти годы я освоил и пушту, и дари. Понимал почти все в сфере обиходной речи и мог сносно объясняться. Но, тем не менее, все же старался без крайней нужды не встревать в ненужные разговоры. Все-таки акцент выдавал чужака и сразу настораживал незнакомых. Может, и с Ахметом уж слишком разговорился. Но все-таки паренек тронул меня — подарил амулет деда. А что такое амулет для пуштуна, я знал не понаслышке. Если крестьянин-афганец, да и горожанин тоже, забыл дома один из нужных для определенного дела амулетов, то с полдороги вернется. Амулеты — защитники от злых духов, беззаконно вершащих свои черные дела. Больше всего боится про-

стой пуштун сглаза и порчи. И каких только камушков, кусочков дерева или кожи не обнаружишь у него в карманах, не считая тех, что висят на шее или на запястье. Древние языческие поверья, идущие от прошлых тысячелетий, мирно уживаются с любой, самой современной религией.

Я сдержанно, проникновенно глядя в глаза, поблагодарил Ахмета и пожелал, чтобы его жизнь как можно скорее изменилась к лучшему. И чтобы жену он нашел и богатую, и красивую.

Ахмет махнул рукой и улыбнулся:

— Да я на любую согласен! Только чтобы не очень старая и не ленивая.

Хотел было напомнить, что сам Мухаммед женился первый раз на далеко не молодой женщине. Но вовремя удержался. Для таких женщин, как его Хадиджа, обыденные и стандартные мерки неприменимы. Как неприменимы они и к самому Мухаммеду.

За время долгой жизни на этой земле мне часто приходилось слышать, особенно на базаре: мол, не связывайся с ним, он же из Кафиристана, с джиннами дружит. Только дружбой с джиннами и чуть ли не с самим Иблисом, их всевластным главой, шайтаном, объяснял простой народ мое редкое умение бросать камни точно в цель. Тем более, что в этой стране камень то и дело пускали в ход — благо этого добра здесь хватало. А побивание камнями — было одним из видов традиционной казни. Не удивительно, что соревнование по метанию камней включили в программу самого почитаемого народом и самого древнего из дошедших до нас праздника. Так же как и включили в него состязания по вольной борьбе, спортивные забеги, конные скачки.

Афганский навруз — в переводе «новый день» — похож на нашего Ивана Купалу. Он связан с древним культом Солнца и его легендарным пророком Заратуштрой. Но только мы уже прощаемся с солнцем, когда оно только начинает уходить с небосклона, а там радостно встречают его первую победу — день весеннего равноденствия. Пусть тьма и свет пока уравновешены, но солнце с каждым днем прибывает, дарит живущим новые плоды и новые жизни. Как и наш Иван Купала, навруз тоже сопровождается прыжками через огонь — семь прыжков очищают ото всех грехов. Ведь огонь — это тоже маленькое солнце, сжигающее всю нечисть.

На праздник навруза собирались искусные метатели всего племени. Особенно после того, как прослышали о моем появлении. Но метать камни так — чтобы ни разу не промахнуться — не получалось ни у кого. Цыштындабара — хозяин камней. Мне громогласно присвоили такое прозвище, когда я в третий раз получил призового барана на празднике навруз. Я не промахивался даже тогда, когда и не думал о том, чтобы попасть. Видно, досталась мне эта способность от какого-то очень далекого предка, когда камень был единственным и самым грозным оружием. Ведь даже в Библии рассказано, как простой пастух Давид победил великана Голиафа, недолго думая запустив ему камнем в лоб. Правда, из пращи.

Невольно вспоминаются первые мои успехи в метании. Снарядами оказались тогда гнилые яблоки. После воскресного обеда, когда отец с дедом незаметно выпили свою воскресную бутылочку, — под карасей в сметане, которых отец наловил в колхозном пруду, — бабушка Регина выгнала нас в сад. Мол, пусть проветрятся, пьянчужки, да хоть немного приберутся — перед людьми стыдно: полно мужиков в хате, а в саду такой беспорядок.

— Яблоки рассортировать: гнилые на помойку, хорошие в сарай. Старшим назначаю тебя, Глебушка. Следи за этими алкоголиками, и если что, докладывай прямо мне. Понял, внучек?

— Да, бабушка.

Ну, вроде начали мы уборку. Больше, конечно, кланялся яблокам я, командир уборочной команды. А дед и отец сначала покуривали да спорили о пользе рыбалки, которую дед Гаврилка не одобрял, считал баловством и городской забавой. Отец напомнил ему о только что съеденных карасях. Но дед не сдавался. Что это, мол, за рыбалка в колхозном пруду. Там они сами на берег выпрыгивают. Да по большому счету, это браконьерство и расхищение колхозной собственности. При Сталине тебя бы, сынок, в два счета посадили. Да и меня тоже — как пособника расхитителя. Дали бы лет по восемь лагерей да еще потом на поселение. Добыли бы мы для родины с десяток эшелонов руды или строевого леса. Вот там бы ты и таскал рыбку из таежной речки и кормил бы свою несчастную семейку.

Отец пропустил замечание деда мимо ушей и тут же переключился на свои самые яркие рыбацкие воспоминания. После дембеля он оказался у армейского друга в Саянах, на бирюзовой Катуни, пробыл там полтора месяца, уже и невесту начали подыскивать. И вот посчастливилось ему как-то на рыбалке зацепить на спиннинг и даже вытащить пудового тайменя. Историю эту я слышал десятки раз, но каждый раз она звучала с новыми и красочными подробностями. «И если бы не Регина…» Тут обычно отец тяжело вздыхал и надолго умолкал. Но я-то знал продолжение. Правда, от бабушки Регины — она тоже носила это редкое имя.

Моя будущая мама и мой будущий отец дружили еще до армии. Была моя мама и на проводах, — не смущаясь, уверенно сидела за столом рядом с отцом, — а потом ездила к нему и на принятие присяги. Все два года они регулярно переписывались. Так что деревня их давно поженила и перестала перемывать косточки. Но когда гостевание ее суженого на далеком Алтае перевалило за месяц, моя будущая мама поняла, что надо действовать. Пришла в слезах к моей будущей бабушке, матери отца, и упросила дать ее телеграмму, что, мол, дорогой сыночек, очень больна и молюсь только об одном — чтобы увидеться еще разок с кровиночкой своей ненаглядной, единственным моим Игнатушкой.

Регина была из хорошей семьи, работящая, скромная, с чудесными голубыми глазами и тугой каштановой косой до пояса. Она честно ждала моего отца из армии — даже на танцы в клуб не ходила, все книжки по вечерам читала. В общем, ради такой невестки можно было и немного слукавить, большого греха в том не было. Да и то, что имена у них были одинаковые, тоже, видимо, сыграло свою роль. Регина — значит, королева.

Со временем, правда, оказалось, что и характеры у них тоже королевские — ни одна не хотела уступать своей власти над моим отцом, но делали это поистине, как царствующие особы, пуская в ход и дипломатию, и разные женские хитрости. Думаю, что отца это несколько утомляло. Особенно в последнее время. Помимо собственной воли он превратился в постоянное поле сражения.

Наверное, кто-то другой только бы посмеивался и отшучивался, а то и вовсе не замечал бы этих замаскированных женских сражений. Но отец, видимо, принимал все близко к сердцу, — потому что очень любил и мать, и жену. Теперь я думаю, что и на рыбалке он пропадал отчасти и потому, что тягостно было ему оказываться постоянным яблоком раздора для двух любимых женщин. По этой единственной причине и переехали мы, наконец, в собственный дом на краю села. Хотя и в старом места хватало. Но война, хотя и на расстоянии, все-таки продолжалась. Да и сами женщины, видимо, так увлеклись нездоровым соревнованием, что даже начали забывать о том,

что стало его причиной, — то есть о любимом сыне и муже. Тем более что все свободное время — чтоб не попадаться им на глаза — он дарил теперь своим карасикам да окунькам.

Деду Гаврилке, видно, надоело слушать давно знакомую всем историю про алтайского тайменя, который с каждым разом понемногу прибавлял в весе и в размерах. Он очень ловко, по-молодому, наклонился и поднял гнилое яблоко. Оглядываясь по сторонам, несколько раз подбросил его на ладони. И вдруг каким-то хулиганским движением неожиданно запустил яблоко в жбан на заборе. Яблоко глухо шмякнуло о его бок и разлетелось на кусочки.

Отец невольно отвлекся и замолчал. Продолжить ему дед не дал.

— Что там твой таймень да колхозные карасики! Ты вот в жбан попади. Яблоко уже ни к чему не годно, а мы даем ему новый смысл, превращаем в снаряд! Оно снова живет! Пли!

Первое попадание деда оказалось и последним. Но дед и не думал сдаваться, входил в азарт. Хорошо, что старый щербатый жбан висел над ямой с компостом. Поэтому все яблоки, пролетавшие мимо, оказывались там, где и нужно им было лечь по велению бабушки.

Отец с трудом наклонился — мешал уже солидный животик, нажитый на сидячей работе, — все время за рулем да за рулем, — поднял парочку яблок и, старательно прицеливаясь, тоже начал бросать. То недолет, то перелет. Но неудача только раззадоривала его, как и деда Гаврилку. Характеры были упорные, мужицкие.

— Ты уж лучше сразу через забор бросай, чтобы нам потом не подбирать за тобой, гроза тайменей! — откровенно потешался дед.

Отец не отзывался на его подколки и продолжал старательно бросать, все больше увлекаясь. Краснея лицом, кряхтя, наклонялся, быстро собирал яблоки и снова бросал. Все с тем же успехом, но с неослабевающим желанием все-таки попасть в этот старый жбан.

— Глеб, надо помочь отцу! Ты как, готов? — подзадорил меня дед.

Но мне уже и самому хотелось поддержать неожиданную забаву взрослых. Поднял три небольших яблока — чтобы как раз по руке — и быстро запустил их один за другим. Они так же, один за другим, шмякнулись о стенку кувшина. Дед с отцом переглянулись и тотчас прекратили свое занятие, словно неожиданно ощутили всю его детскую неуместность для таких солидных мужчин.

— А еще можешь? — спросил дед, взглянув на меня так, как будто впервые увидел.

Я пожал плечами, быстро насобирал с полкошеля яблок и начал их пулять один за другим. Яблоки методично шмякались и скоро облепили своей полусгнившей массой весь трехлитровый жбан. Я, конечно, и раньше бросал камни, — то в дроздов, налетавших на спелые вишни в нашем саду, то в настырных собак, не дававших проходу, — но то, что я в них обычно попадал с первого раза, не вызывало у меня удивления. А теперь мои попадания, одно за другим, немного удивляли и меня самого. Тем более что я и не целился. Просто видел старый жбан, яблоко в руке, и то, как оно неукоснительно достигало цели. Как будто какой-то механизм проснулся во мне и заработал почти без моего участия.

Я бросал, а дед с отцом переглядывались и молчали. Потом дед, взглянув на отца, как-то очень тихо обронил:

— Вот, а ты все со своим тайменем. Надоело. Про сына рассказывай. — Потом, подмигнув мне, неожиданно предложил: — А в форточку — попадешь?

Конечно, это была провокация. Но я, впервые ощутивший признание взрослых и в глубине души очень гордый своим успехом, хотя и старался

казаться равнодушным, купился на хулиганское предложение деда. Недолго думая тут же пульнул последнее, самое мягкое яблоко. В это же мгновенье в форточке возникло строгое, королевское лицо моей бабушки. Яблоко угодило ей прямо в лоб. Она сдавленно вскрикнула и отшатнулась. Дед Гаврилка тут же сорвался с места и побежал в дом. Я тоже рванулся — через сад, на улицу, потом по осеннему лугу в недалекий лес.

Там, на развесистой сосне был оборудован «штаб» — помост из досок, на котором можно было лежать и глядеть на проплывающие облака. Туда я приглашал только самых близких друзей. Но чаще бывал один. Всю дорогу перед глазами стояло беспомощно-растерянное — таким я его никогда не видел — лицо моей любимой бабушки. И столько горечи было в нем, что слезы катились из моих глаз не переставая. Было такое чувство, как будто это я сам себе запустил гнилым яблоком в лоб, и теперь эта гниль растекается, закрывая мне глаза, забивая ноздри и рот. Что делать? Как жить дальше? Нет, я не вернусь больше домой. Никогда! О, моя дорогая бабушка! Мама! Папа! Дедушка! Как же мне быть теперь?!

Я в слезах добежал до леса, нашел, не плутая, свою сосну, взобрался на нее быстро, как белка, упал животом на помост и еще долго безутешно плакал. Потом, еще вздрагивая от рыданий, забылся тяжелым, беспокойным сном. Проснулся от холода, уже в сумерках, и какое-то время сидел, обхватив колени руками и пытаясь согреться. Потом опять начал поклевывать носом, но вдруг до слуха донеслось далекое «Гле-еб! Гле-еб!». И сразу стало теплее: от меня не отказались, меня ищут, меня еще любят, несмотря ни на что!

Я стал торопливо спускаться. Пошел на голос, что звал меня. Да, это отец. Потом свет фонарика вырвал из темноты верхушку ближней ели, и я тоже крикнул: «Папа, я здесь!» Мы заторопились навстречу друг другу, обнялись, как после долгой разлуки, и слезы опять покатились из глаз.

Отец одной рукой обнимал меня, а другой гладил по спине, по голове. «Ничего, Глебушка, ничего. Бабушка уже простила тебя, она очень волнуется. Дед остался на опушке, сердце прихватило. Сидит с таблеткой валидола под языком, старый дурак…»

Пожалуй, это были минуты самой глубокой близости между мной и отцом. Больше их не случалось, но память о них всегда жила — мы даже стали улыбаться по-другому, с каким-то только нам понятным смыслом — мы словно по-настоящему узнали, кто мы. Отныне мы уже не могли усомниться — мы действительно отец и сын.

Потом подобрали притихшего деда Гаврилку и пошли сначала к бабушке Регине, а потом на другой конец села — к маме Регине. Отец держал деда Гаврилку под локоть, а меня за руку. Над осенним лугом красовался серпик луны, шелестела под ногами пожухлая трава, на душе было тихо и хорошо. И даже встреча с бабушкой Региной не казалась страшной. Правда, ждала еще встреча с мамой Региной. Но чтобы она со мной ни сделала, все это не идет ни в какое сравнение с тем, что сделал бы я с самим собой. А главное, бабушка простила меня.

Но и сейчас для меня, немолодого уже человека, много чего повидавшего на своем веку, самый страшный сон — это когда в форточке появляется лицо моей бабушки. И я тут же просыпаюсь в холодном поту. Увидеть то, что произойдет мгновением позже, — не в моих силах. Я видел это однажды и молю всех богов, чтобы это навсегда стерли из моей памяти. Возможно, все, что произошло со мной на этой чужой земле, — всего лишь наказание за мой давний и невольный проступок. Жива ли ты еще, моя дорогая и всегда любимая бабушка?

4

Вместе с процессией, сопровождавшей летчика, мы вышли на бывшую базарную площадь, где во время прошлогоднего навруза я лихо расколотил все бутылки — от литровой до стограммовой. Их специально собирали к празднику, привозили из города, чтобы и тот злой дух алкоголя, который сидел в них когда-то, знал, что у него есть грозный и непримиримый враг — то есть я, цыштын-дабара, хозяин камней.

Первое время мне казалось очень странным, что даже на праздниках, на свадьбах люди пили просто газировку или кока-колу. И этого хватало, чтобы искренне веселиться, петь и танцевать. Но в будничной жизни регулярно покуривали анашу, употребляли гашиш, а те, кто побогаче, — кальян, куда добавляли опиум и разные ароматические снадобья. Это были традиционные наркотические средства, а мода на тяжелые современные наркотики типа героина не привилась — во всяком случае, в деревнях. Я ни разу не видел, чтобы кто-нибудь делал себе уколы. Тем более что талибы сначала вообще запрещали наркотики, — ведь Коран против всякого замутнения сознания, дарованного нам Всевышним, — а потом разрешили их производство только для продажи неверным. Это стало признаваться как форма джихада, священной войны, в которой обязан существовать каждый истинно верующий мусульманин.

Грязный и подлый западный мир должен погибнуть от своих же пороков. Так когда-то развратный Рим пал под напором бедных и чистых, сплоченных учением Исы, сына Мариам. Ведь бедные всегда побеждали пресыщенных жизнью и погрязших в грехах богатых. Очень часто, и жизнь это постоянно доказывает, бедные почему-то ближе к добру, а богатые порождают зло. Хотят они этого зла или нет, но так получается, что они его постоянно приращивают, повышают его концентрацию в мире. Думаю, что это связано с теми мертвыми и чрезмерными богатствами, которые они собирают, жертвуя для них всем. Своим богатством они пытаются защититься от мира, с которым постоянно находятся в состоянии войны. Их ненасытность — от обычной трусости, вызывающей неадекватную защитную реакцию. Пытаясь спасти только самих себя, они ввергают мир в постоянные бедствия и бессмысленные жестокие войны. В конечном счете от этих бедствий страдают и сами богатые. Неужели люди никогда не достигнут того состояния, когда честный труд и разумные потребности станут высшей ценностью? Неужели напрасно твердят им об этом все мировые религии — от буддизма до ислама?

Если для шаха Масуда источником финансирования стали богатейшие в мире месторождения лазурита, то для талибов — полностью подконтрольное им производство наркотиков. Год за годом поля мака захватывали земли, ранее засевавшиеся традиционными для Афганистана культурами — пшеницей, ячменем, просом, горохом, фасолью, чечевицей, кунжутом, хлопком. И главное, что с маком не было никаких проблем — он оказался идеально приспособленным к афганскому климату с его перепадами дневных и ночных температур, с холодной зимой и все сжигающим летом. Складывалось впечатление, что сам Аллах проголосовал за мак.

Моему хозяину, Сайдулло, все это не очень нравилось, но сеять мак оказывалось почти тем же, что сеять деньги. И они росли очень хорошо и быстро, без каких-либо забот. А за деньги — доллары — можно купить все что хочешь. Хотя это и деньги врагов. В этом видится тоже что-то неестественное и непонятное для моего хозяина, а потому постоянно беспокоящее и вызывающее раз-

мышления. Он часто говорил, что раньше мир спокойно размещался в голове его деда и даже отца. Все было понятно и просто: земля мира — шариат, земля войны — джихад, земля перемирия — многобожники и люди книги. А сегодня он ничего не может понять — все смешалось. А что ждет его внуков?

Я убеждался, что жить только сегодняшним днем не может даже самый простой и совсем необразованный человек, который не видел ни одной книги, кроме Корана. Да и ту ему читал сын, когда приезжал из Ургуна. Человеку нужно понятное будущее, куда он охотно направляет свои мечты и желания и которое по мере сил сам же и приближает.

На площади уже собрались люди, человек сто пятьдесят. Мужчины, некоторые так же, как и я, в паткулях вместо чалмы, — в народе их прозвали «максудовками», — в длинных рубахах ниже колен и традиционных жилетках, с мотыгами на плечах. Они стояли молчаливые, словно недовольные, что их оторвали от каких-то очень важных дел. Хотя это были просто жалкие попытки отыскать в хламе что-то привычное и могущее как-то сгодиться в последующей жизни.

Молодые женщины с занавешенными лицами и в голубых покрывалах. Некоторые держали на руках детей. Сгорбленные беззубые старухи, которым уже нечего скрывать. Они тяжело опирались на свои мотыги и яростными глазами глядели на ребятишек, подводивших сбитого летчика к группе седобородых мужчин. Один из них, видимо, и был старейшина — спинжирай, то есть белобородый. Он сидел на камне, покрытом бараньей шкурой, руки опирались на посох. Белая чалма оттеняла его темное, невозмутимо-властное лицо. Что-то вроде плаща или покрывала песчаного цвета окутывало его фигуру.

Дети подвели пленного к старейшине и рассредоточились по сторонам. Я видел рыжего в профиль и не могу сказать, что было в его водянистых голубоватых глазах. Спинжирай какое-то время пристально глядел на него, потом неторопливо поднялся, прислонил посох к камню, на котором сидел, сложил руки, сделал жест омовения. Прочитал басмалу: «Бисмилляхи-р-рахмани-р-рахим!»

Любое дело или всякую важную речь мусульмане начинают с этих слов: «Во имя Аллаха милостивого, милосердного!» А сегодняшняя речь старейшины, несомненно, была важной, ибо касалась жизни и смерти. Ведь ничего более важного и нет на земле. Он начал с вопроса:

— Кто этот человек?

Немного помолчав и обведя взглядом присутствовавших, как будто в самом деле ждал от кого-то ответа, сам же и ответил на него:

— Он из тех, кто принесли смерть в наш мирный кишлак. Из тех, кто осквернили таинство брака невинно пролитой кровью. Они виноваты в том, что мы лишились своих детей, жен, отцов, братьев. Он — один из них. Что говорит древний закон кровной мести? Он говорит: смерть за смерть. Мы покорно склоняем голову перед словами закона и повторяем вслед за ним: смерть! Марг!»

— Марг! — прозвучало хором. — Марг!

Рыжий обеспокоенно оглянулся на этот слитный и грозный возглас. Видимо, только сейчас он почувствовал, что не все так безоблачно и лучезарно.

— Мы не разбойники, — спокойно продолжил спинжирай, — мы не нападаем неожиданно из-за угла, но открыто выносим свой приговор. Он должен услышать его. Кто сможет сказать ему эти слова на понятном ему языке?

Старейшина медленно обвел взглядом стоявших вокруг людей. Его взгляд почему-то остановился на мне. Я не был знаком с ним лично, хотя он мог

видеть меня, когда я сопровождал Сайдулло. Это был старейшина не из рода моего бывшего хозяина, никакой власти над ним и надо мной у него не имелось. Они были даже из разных кланов и разных ветвей племени, но, тем не менее, он имел представление и о делах моего хозяина, и, конечно, о том, что у него появился собственный раб.

— Цыштын-дабара! — громко произнес спинжирай, повернув лицо ко мне. — Я думаю, что ты не только сможешь, но и должен сказать эти слова.

Все невольно обратили взгляды на меня. Конечно, я учил английский в школе, приходилось объясняться и на базаре в самом Ургуне, когда Сайдулло пытался всучить редким теперь туристам, какую-нибудь древность из тех, что валялись у него под стеной. А некоторые он и сам изготовлял. Но выносить приговор…

— Цыштын-дабара! — властно окликнул меня старейшина.

— Я хочу услышать, уважаемый, те слова, которые должен перевести ему. Я боюсь исказить высокий смысл вашего решения. К тому же должен упомянуть и о виде казни, к которому его приговорили.

— После того, как ты метнешь в него первый камень, каждый может делать с ним все что угодно. Останки достанутся собакам и шакалам.

— Я? — решение старейшины оказалось для меня полной неожиданностью. — Но, может, это право принадлежит тому, кто сбил самолет? Не обидит ли героя такое решение? — я все же еще раз попытался уклониться от неожиданной и сомнительной чести.

— Да, ты, которому повезло больше, чем этому летчику. А сегодняшний герой превратил наш мирный кишлак в военный отряд. Его бездумный поступок оправдал варварскую бомбардировку, гибель мирных жителей. Теперь на месте нашего кишлака останутся скоро только горы мусора и бесплотные тени прошлой жизни. С минуты на минуту мы все будем безжалостно наказаны за его героизм. Не потому ли он поспешил исчезнуть? Никто из наших людей не знает этого человека.

Вот так, открестился. В здравомыслии ему не откажешь. Хотя то, что как будто никто не знает этого человека, видимо, было просто небольшой хитростью, дезинформацией для возможных чужих ушей. Да и никто никуда не исчезал, он явно был здесь, в толпе, но не выделялся, спокойно принимал справедливые слова старейшины. Но за ним была справедливость поступка, действия, за которое, возможно, и придется заплатить большую цену. Но, как говорят в таких случаях — «мы за ценой не постоим».

Очевидно, и обо мне старейшина тоже располагал исчерпывающей информацией. Да и как же иначе? Ведь он был главой разветвленной семьи. Несколько таких семей составляют род. Им управляет малик. Несколько родов составляют клан. Несколько кланов — племя, которое управляется ханом. Думаю, что о моем скромном существовании известно и главе самого многочисленного и влиятельного племени дуррани. Очевидно, что только благодаря благосклонному отношению самого хана мне дозволено не только жить, но и жениться. В родоплеменной структуре каждый человек постоянно под надзором. Все знать обо всех — залог выживания в трудных условиях. Но при этом нет никаких досье и бумаг. Знание постоянно обновляется, корректируется.

— Он — это ты. А ты — это он. Вас можно поменять местами, — добавил старейшина негромко, явно только для моих ушей. Но в тихом голосе сквозила сдержанная угроза. И тут же, властно повышая голос и задирая голову, произнес для всех: — Чтобы соблюсти наш священный закон, я должен еще спросить наших женщин: кто-нибудь хочет взять его в мужья?

Возмущенный гул мужских голосов ответил ему.

— Я спрашиваю не вас. Однополые браки бывают, к счастью, только у неверных. Они сами заботятся о том, чтобы исчезнуть с лица земли. Что ответите вы, женщины? Из тех молодых, кто потерял мужа и обречен на безрадостную старость, кто будет украдкой заглядываться на чужих мужей, которые не смогут взять вас в жены, ибо силы мужчины не беспредельны, а средства к жизни сегодня часто скудны.

Никто не отозвался. Да если бы и нашлась такая отчаянно смелая, то взгляды старух испепелили бы ее тут же. Все формальности были соблюдены. Законы шариата не нарушены. Хотя не исключено, что кому-то и приглянулся рыжий парень: женщина остается женщиной даже под паранджой. Впрочем, под паранджой, имея дозволенную возможность скрывать себя и свои чувства, она становится женщиной в еще большей мере. Женщиной — то есть оценивающей мужчину только как самка самца, вне всяких идеологий и мужских ограничений.

Я подошел к летчику и поднял на него глаза. Он уже с заметным беспокойством пытался что-то прочесть на моем лице. Мне не понравился его слишком требовательный взгляд. В нем отсутствовало восточное смирение перед судьбой и готовность спокойно и с достоинством принять все, что уготовано судьбой. Или Всевышним. То есть той неведомой силой, что всегда влечет нас неизвестно куда. Хотя его все-таки оправдывало то, что он должен был сейчас услышать. А мне, конечно, было неприятно, что именно я вынужден ему это сказать.

В горле пересохло: впервые мне приходилось говорить человеку, что его приговорили к смертной казни. В сущности, выносить приговор и выступать на стороне этой толпы, уже жаждущей обещанного зрелища и свершения справедливости. Так, как они ее понимают. Но не он ли вчера обрек на смерть десятки людей без всякого приговора, а сегодня еще издевался над их горем? Мы были с ним одной расы, оба пришли сюда с оружием и оба были достойны смерти. Но мне, как правильно заметил старейшина, повезло. Сначала с хозяином Сайдулло, а потом и с Дурханый. А ему не повезло.

Неужели в жизни все определяется везением, какой-то случайностью, которую ни предсказать, ни вычислить? И неужели везение навсегда прилипает к тебе и сопровождает до самого конца? Или все дело в твоих собственных качествах? Приятной внешности, живом уме, способности понимать других людей и отвечать на их тайные желания и мысли? И главное: всегда в нужный момент оказываться в нужном месте. Но это уже никак не может зависеть от личных качеств. Здесь полная игра случайностей, некой космической рулетки, выбрасывающей заветные числа. Но почему-то одному они выпадают гораздо чаще, чем другим. Люди проходят всю войну — и без единой царапинки. А вернулся домой, сел на мотоцикл, рванул к зазнобе в соседнюю деревню. И — на полной скорости врезался в трактор, стоявший без сигнальных огней на обочине. Так погиб парень из нашей Блони. Только что вернулся из Афганистана — ни одна пуля не зацепила. «Я заговоренный!» — хмельно хвастался он за день до нелепой гибели.

Летчик тревожно и вопросительно взглянул на меня и хриплым, неожиданно приятным баритоном спросил: «Кэн ю хэлп ми?» Я кивнул. Хотя помочь ему уже никто не смог бы. Я немного помолчал и, наконец, преодолев спазм в горле, подчеркнуто твердо, отталкиваясь этой твердостью от него и его дальнейшей судьбы, медленно произнес по-английски: «Тебе только что вынесли смертный приговор. Сначала тебя забросают камнями, а потом толпа

будет делать с тобой все что хочет. Если ты верующий, можешь помолиться напоследок».

Раньше я думал, что выражение «побелел как мел» просто фигуральное выражение, словесное украшение. Но лицо рыжего действительно стало белым, а веснушки почти черными — как будто на лист белой бумаги сыпанули горсть гречки. На какое-то время летчик потерял дар речи. Потом схватил меня за руки и с трудом выдавил: «Деньги, много, очень много денег! Скажи им!»

Я передал предложение пленного старейшине. Он рассеянно посмотрел на меня, немного помолчал, погладил свою бороду и тихим, усталым голосом произнес, что в иной ситуации это было бы возможно, но не сейчас.

— Самолеты будут здесь очень скоро и похоронят нас всех. Так что единственное, что мы успеем, — казнить этого человека. Приступай, шурави. Этой кровью ты окончательно очистишь себя. Я знаю о твоем горе.

Я опять повернулся к летчику. Он был все еще бледен и с какой-то детской отчаянной надеждой в глазах ловил мой взгляд. Да он совсем мальчишка, лет 25—27, не больше. Уклоняясь от его взгляда, я сказал, что его предложение не приняли. Единственное, что я могу сделать, — это первым же ударом камня лишить его жизни. Тем самым он будет избавлен от долгой и мучительной смерти.

Лицо его медленно наливалось кровью, а в глазах загоралось бешенство. Я успел уклониться от его прямого удара в челюсть, и он по инерции вылетел на середину уже значительно сузившегося круга. Он озирался, как затравленный зверь, но, видно, на что-то еще надеялся.

— Марг! Марг! — неожиданно взорвалась толпа. И тут же полетели камни. Рыжий закрыл лицо руками, но несколько увесистых булыжников попали в голову. Он растерянно взмахнул руками и тут же острый камень рассек ему щеку. Красная струйка скользнула к подбородку. Кровь вызвала в толпе новый всплеск ярости. «Марг! Марг амрика! Марг!» — возгласы сливались в угрожающий гул.

Я физически ощущал соединенную и усиленную энергию их ненависти. Хотелось или спрятаться от нее подальше, или, наоборот, слиться с ней, ощущая в самом себе эту грозную и все сметающую силу. Чтобы не оказаться в центре водоворота, я понемногу отступал на край площади и снова остановился возле старейшины. Он сидел, держа руки на посохе. Глаза устало и печально глядели на бурлящую толпу. Он был похож на артиста, уже отыгравшего свою роль и теперь вынужденного следить за привычным и давно надоевшим спектаклем. Даже то, что он был его режиссером, старейшину не волновало. Никакого тщеславия в нем не осталось, да и, видимо, не было изначально. Воистину, нет ничего нового под луной. Что было, то и будет всегда. Все существующее разумно постольку, поскольку пробилось к свершению. И так же безумно, как и все в этом мире.

Старейшина сидел на возвышении, как на сцене. И с этой сцены он невозмутимо глядел в зал на беснующихся зрителей. Главный герой — американский летчик, еще державшийся на ногах, был хорошо виден. По-прежнему закрывая лицо и пригибаясь, он слепо ударялся в плотную стену окруживших его людей. Но вот взметнулась первая мотыга, вторая, третья…

Несчастный успел еще крикнуть, и этот нечеловеческий крик достиг, казалось, небес и тут же умолк. В наступившей тишине дробные, чавкающие удары еще минут десять доносились из середины сомкнутого круга. Мотыги, одна за другой, успевая блеснуть на солнце, торопливо взлетали и опускались, взлетали и опускались — все снова и снова.

Испытывая все нарастающее отвращение к этому зрелищу, я все же не мог оторвать от него взгляда. Словно действовали некие силы притяжения, которым невозможно сопротивляться. Каждый в этой толпе — и я в том числе — ощущал себя не только убийцей, но и жертвой. Это давало такой всплеск ощущений, с которым ничто не могло сравниться. Я впервые понял, что, убивая другого человека, ты убиваешь самого себя. И получаешь от этого какое-то опустошающее, но все-таки удовольствие. А то, что ты делаешь это вместе со всеми, как будто смывает и прощает твой грех — убийство себе подобного. Ведь оно всегда есть, нарушение главной заповеди человеческого общежития — «не убий!». Даже тогда, когда мы убиваем и самого убийцу.

Но вот напряжение начало спадать. По мере утоления праведного гнева толпа стала терять монолитное единство. Кто-то делал только небольшой шаг в сторону, кто-то отходил в близкую тень и уже оттуда наблюдал за происходящим. Кровавый спектакль подходил к концу.

Мальчишки, которые привели летчика, участия в казни не принимали. Они стояли в сторонке молчаливой и даже немного испуганной группой. Белый холмик парашюта лежал рядом с ними. Подобное переживание оказалось для многих из них еще непривычным. Захват летчика, конвоирование — все это было отчасти игрой, а вот все то, что происходило сейчас на их глазах, на игру уже совсем не походило. Но они навсегда запомнят это потрясение, накал чувств и остроту ощущений, когда они впервые приобщились к грозной общности своего рода.

Опираясь на посох, старейшина, наконец, поднялся. Кивнул на овечью шкуру старику помоложе, возможно, сыну. Тот аккуратно свернул ее. Напоследок взглянул на меня и снова спокойно повторил так удивившие меня своей точностью слова: «Он — это ты». Теперь они прозвучали уже без угрозы. Просто как утверждение, на которое нечего возразить. А потом, обернувшись, произнес нечто совсем неожиданное и поразившее меня еще больше: «Уходи домой!»

Он просто читал меня как открытую книгу. Именно это я и собирался сделать — уйти, наконец, домой, в родную Беларусь, в свою дорогую Блонь. Время искупления грехов закончилось. И видимо, казнь летчика не была случайной и в моем сюжете. Она поставила последнюю точку в моей жизни на этой земле — жизни, в которой я, как мог, искупил свою вину перед этим народом. Искупил своим трудом и страданием.

Немного поднявшись за стариком по тропке, ведущей к дороге, я еще раз оглянулся. Толпа рассеялась, люди с мотыгами на плече спокойно уходили в разные стороны. Как будто идут с поля после привычной крестьянской работы. Кто-то уже опять ковырялся на своих развалинах.

Голубые окровавленные тряпки валялись по всей площади. Только какая-то старушка все долбила красный ботинок пилота с белевшей из него костью. Первые собаки торопливо уносили самые лакомые куски. Бросилась в глаза серовато-белая масса, облитая неистово алевшей на солнце кровью. На ней лежал неожиданно большой и чистый — с небесной голубизной — шар. С каким-то белым хвостиком. Прежде чем я понял, что это мозг летчика и его глаз, недавно еще видевший все вокруг, мой желудок сократился и выбросил все содержимое. Спазмы следовали один за другим, не переставая. Не поднимая взгляда, я свернул с тропы и, периодически сгибаясь в три погибели, заторопился вниз к реке. Казалось, что только вода поможет унять неожиданную рвоту и отмыть впечатления последних минут. Хотелось погрузиться в воду с головой или стать под тяжелую струю водопада. Но река была хотя и доволь-

но широкой, но все же мелкой. Зато ее чистая ледниковая вода помогла мне прийти в себя. Скинув свои галоши, я зашел в воду по колено и стоял, держась за камень, пока ноги не заломило от холода. Только после этого — одно ощущение перебило другое — мучительные позывы прекратились.

Я впервые видел смерть так близко, во всей ее физической неприглядности. Сегодняшний солдат убивает, не понимая и не чувствуя в полной мере, что он делает. Он всего лишь нажимает на курок, на кнопку, и на большом расстоянии от него кто-то безличный и безликий падает, как фигурка в тире. А то, что он больше не поднимется — потому что лишился жизни, — как-то не приходит в голову. То, как эта далекая фигурка умирает, как это происходит во всей своей отвратности, убивающий не видит. И поэтому война все больше кажется игрой. И поэтому убивать все легче. И значит, можно и нужно убивать все больше. Правда, до тех пор, пока ты сам не становишься жертвой этих безликих и автоматических действий. Но твои чувства остаются с тобой, и ты уносишь тайну оправданного и разрешенного убийства туда, откуда никто ничего не может услышать.

Раздалось позвякивание металла о камни. Я оглянулся. К реке, волоча за собой мотыгу, подходил какой-то мужчина. Он опустил свой инструмент в воду, повертел им, розовая вода быстро унеслась дальше. После этого присел на корточки у воды, опустил в быстрые струи черенок, подержал его под сильной струей. Потом внимательно осмотрел свою мотыгу, как будто это был какой-то очень сложный прибор, провел пальцем по лезвию, вытер полой рубахи черенок и только после этого положил ее на траву. Затем снял паткуль. Умыл худое, почерневшее от загара лицо, поплескал водой на коротко остриженную голову, на сильную жилистую шею. Снова надел головной убор. Поднялся, оглянулся на кишлак и сказал, повернувшись ко мне:

— Все уходят. Кто выше в горы, кто к родственникам в другие кишлаки, кто в Кандагар. А ты куда?

Я пожал плечами. Исповедоваться первому встречному я не собирался.

— Здесь оставаться нельзя. Пошли со мной. Я знаю тропы. Да и вдвоем в горах все-таки надежней. Мало ли что.

Да, оставаться нельзя. Впрочем, и незнакомец тоже не торопится говорить, куда направляется. Но для меня пока это не очень важно. Главное — покинуть это роковое место, где нас могла ждать только гибель.

Если дорогу в Ургун я знал хорошо, то путь в сторону Кабула, минуя посты и оживленные дороги, представлял смутно. План движения — от кишлака к кишлаку, понемногу подрабатывая и двигаясь дальше. Практически каждое селение находилось друг от друга на расстоянии не больше дневного перехода. Если выходить на рассвете. Опыт моего первого бездумного побега — неизвестно куда — помнил хорошо. Сделал подарок к дню рождения. Впервые ощутив себя абсолютно свободным, пылко устремился в манящую неизвестность. Не имея никакого представления, куда могут вывести меня незаметные горные тропки. Они привели в мертвую страну цветных камней. И если бы через несколько дней меня не нашли пастухи, я так бы и умер в пещере от голода и жажды. Ну а теперь у меня проводник, хотя совсем и не знакомый человек. Я ничего не знаю о нем, он обо мне. Общее у нас только одно — мы соучастники убийства. Или вершители возмездия. Возможно, что это объединяет больше, чем любое другое дело. Думаю, что во многом именно на этом и основано пресловутое военное братство — тех, кто убивал и кого убивали.

Сегодня я убедился, что за долгие годы в этих горах так и не стал восточным человеком: до сих пор преувеличиваю ценность отдельной челове-

ческой жизни. Иногда тоже думаю, что она ничего не стоит. И к чему тогда пышные надгробья, ограды? Только на могилах мусульманских святых есть отличительные знаки — старинный мраморный барельеф: голая, поникшая, как коромысло, жердь с конским хвостом на конце и ночью тлеющие свечи. Остальным — и богатым и бедным — яма в сухой земле, заостренный камень и больше ничего. Стоя на здешнем кладбище среди острых вертикальных камней без всяких опознавательных знаков, под которыми нашли последний приют мученики этого мира, я думаю о справедливости безымянности. Ведь мы приходим из неизвестности и уходим тоже в нее. Мы только капельки могучего, не иссякающего, постоянно обновляющегося потока. Ведь солдаты могущественной страны, где стоимость жизни точно определена страховкой, обращаются со своей жизнью точно так же — легко и бездумно, всегда готовые рисковать ею. Они словно играют в рулетку. Это тот единственный смысл, который им понятен. И какова же подлинная цена жизни, цена смерти? Кто же дает и назначает ее?

5

— Дада! Дада! Шурави жвандай! — пробился сквозь глухую стену боли детский голосок, а затем повис вопросом грубый мужской:

— Жвандай?

— Жвандай, дада! Жвандай! — детский голосок звенел у меня над ухом, настойчиво и умоляюще. Будто вырос из кошмарных сновидений, что сменяли друг друга. Но у голоса была чистота и свежесть реальности. Он был так же реален, как и монотонный шум реки, сводивший меня с ума и также увлекавший в хороводы сновидений. Я погружался в ледяные воды и пил, пил, не прерываясь, пытаясь хоть шевельнуть языком, намертво засохшим во рту. Но размочить его мне все никак не удавалось.

Хруст гальки под шагами. Обувь какая-то мягкая. Сухие жесткие пальцы прикоснулись к шее. Потом приподняли веко. И снова этот нежный ручеек детского голоса. Почему-то в нем удивление:

— Дада, стырга аби! Аби! — И потом тихое, почти благоговейное: — Шурави шаиста…

— Шаиста, шаиста… — проворчал недовольно грубый мужской голос. Но в этой грубости было что-то обнадеживающее, отметающее грубость. Да, в нем пряталась доброта, которая защищается грубостью от постоянно провоцирующего ее мира.

Потом опять тишина, удаляющийся хруст гальки. Неужели это последнее, что мне суждено услышать? Мой окаменевший язык уже ничем не поможет. Но последним усилием, сокращением живота удалось извлечь короткий и хриплый стон. И боль тут же очнулась, вспыхнула и ослепила. И падая в кошмарную бездну, опять услышал напоследок этот детский, ангельский, просительный голосок:

— Дада, шурави жвандай…

Только маленькая девочка даже на расстоянии заметила, что я живой. И даже красивый — пусть и с докрасна обгоревшим на солнце лицом.

Спасло меня, видимо, то, что я падал со стометрового обрыва, цепляясь спиной за верхушки деревьев. Они тормозили мой свободный полет. Правда, на спине до сих пор остались уродливые шрамы — сучья прорывали тело до ребер. Если бы я попал в госпиталь, то от этой пугающей чужих людей красоты осталось бы немного — меня сразу бы аккуратно заштопали. До

сих пор в бане удивляются: в каких средневековых казематах тебя пытали? И действительно, лечение было мучительным. Да и к тому же первый месяц я мог лежать только на животе и на боку. В госпитале меня, конечно, сделали бы красивым и не страшным, но вовсе не факт, что я остался бы в живых. Ну и такого внимательного ухода за мной уж точно не было бы.

Когда много позже я спрашивал у Сайдулло, зачем он так возился со мной, прибавил столько забот своей старой матери, жене, маленькой дочке, подростку сыну? Всей своей не очень богатой, скорее даже бедной, семье? Он загадочно улыбался и говорил, что только исполнил повеление Аллаха. А он, как известно, часто говорит детскими устами. К тому же эти слова оказались произнесенными его собственной дочкой, утешением его старости.

Какое-то время спустя, когда мы с ним разговаривали уже вполне доверительно, Сайдулло поведал мне, что в молодости довелось работать с шурави, около Джелалабада. Он надолго запомнил, что они относились к нему, простому землекопу, с непривычным для бедного крестьянина-пуштуна уважением.

— А люди были очень образованные, очень. Самый главный инженер даже приглашал меня к себе, чтобы я рассказал ему о каких-то секретах нашей деревенской оросительной системы. А какие там секреты? Все очень просто. Я делал то, чему научил меня отец, а того — его отец. Столько книг, как у вашего Алеха, я никогда не видел. Вот ты спрашиваешь, почему я стал выхаживать тебя? Прежде всего потому, что мне всегда хотелось сделать что-то угодное Аллаху, который воистину милостив и милосерден. А что может быть милосерднее, чем спасти жизнь твоему врагу? Ну и, конечно, признаюсь тебе, Халеб: желание иметь на старости лет своего собственного раба, помощника в тяжелом крестьянском труде, тоже было не последним. Это простое желание и стало той общепонятной версией для соседей и родственников, которые тоже сначала удивлялись моим ненужным хлопотам. Ведь я потерял на войне троих сыновей. Не считая тех, что умерли в детстве. Тоже трое. Последний, только родившись, унес с собой и мою первую жену, красавицу Дурханый. Свое редкое и красивое имя она получила в честь героини нашего народного сказания о хане Адаме и красавице Дурханый. Сейчас я женат на ее самой младшей сестре — Хадидже. У нашего пророка так звали первую жену, а у меня последнюю. Одного сына, старшего Ахмада, сразу забрали в царандой, и он там скоро стал командиром. Два младших поехали к брату в Кабул, но по дороге их перехватили моджахеды. Борцы за революцию и за веру не спрашивали, куда мы хотим. Никого наши желания не заботили. Да и какие такие особые желания могут быть у бедных кишлачных парней? Поесть вволю да на жену заработать. Не век же ослиц мучить. Может, случилось так, что пуля одного моего сына унесла жизнь другого. В наше время и такое возможно. Да что там долго говорить — скажу понятно и просто: ты нам понравился. Особенно моей любимице, названной в честь первой жены тоже Дурханый. Все повторяла со слезами на глазах: «Шурави жвандай! Шурави шаиста!» Живой и красивый! И главное для нее, что глаза — аби. То есть голубые. Для моей единственной дочки я готов на все. Ничего так не хочу в жизни, как дождаться от нее внука. А если повезет, то и не одного…

Вот так моя жизнь пересеклась с жизнью крестьянина Сайдулло из кишлака Дундуз и, благодаря его маленькой дочке, не угасла в мучениях на берегу безымянной горной реки, а продлилась дальше. То долгое время, когда я, охраняемый невозмутимой среднеазиатской овчаркой по имени Шах, беспомощно лежал на кошме под домотканым шерстяным одеялом в хозяйственной пещере Сайдулло рядом с загоном для овец, которые скоро привыкли ко

мне, а я к ним, было наполнено, как ни странно, безмятежным покоем. Таким блаженным покоем, который последние полтора года солдатской жизни мне даже и не снился. Да, спина моя гноилась и кровоточила, сломанная голень на одной ноге и лодыжка на другой не давали сделать и шага, — по нужде я отползал в угол к лохани, — болели сломанные ребра и выбитое плечо. Кружилась голова, и я, делая попытку просто сесть, часто терял сознание. Да, все так, тело страдало, как только может страдать тело, отвращаясь болью от жизни. Но беспросветное отчаяние все же не захлестывало меня.

Возможно, просто моя молодость не теряла надежды и верила в лучшее. Ведь на то она и молодость. Да и к тому же впервые за полтора года я никуда не торопился, никому не был ничем обязан и пребывал в давно желанном и спасительном уединении с самим собой. Этого редкого и почти невозможного в армии удовольствия я был лишен давно. Только здесь, в этой пещере, под надзором могучего Шаха, надежно защищенный от всех опасностей, я наконец понял, как смертельно устал от невозможности побыть одному, полностью расслабиться и отключить все сторожевые центры.

Особенно остро всю полноту своего неожиданного счастья я ощущал ночью, когда, заботливо укрытый поверх одеяла тяжелым овчинным тулупом хозяина, неожиданно проснувшись, завороженно глядел в широкий проем над дощатой дверкой. Там, как пышные осенние цветы, распускались близкие звезды. Как астры или георгины в палисаднике моей бабушки Регины. Время от времени один из цветов, словно сорванный невидимой рукой, падал с небосклона и, рассыпая искры, чертил длинный огненный след до самой земли. Тогда мне казалось, что я снова на своей сосне, на дощатом помосте, а все, что сейчас происходит со мной, только снится. И с минуты на минуту разбудят меня радостные голоса моих родных и близких. Бабушка, мама, дед, отец, сестричка Наденька, подружка Аннушка, даже неугомонный сосед Егорка — все они молча толпятся в этой пещере возле моего ложа и терпеливо ждут скорого пробуждения их дорогого Глеба. Но блаженный сон все длится и длится, и они не будят меня, не нарушают моего неожиданного и так дорого оплаченного уединения. И стыдно признаться: мне, окруженному далекими, дорогими людьми и близкими чужими звездами, было так хорошо в этой пещере, как бывало только в детстве, и то не очень часто.

Моя армейская жизнь уже казалась какой-то нереальной, приснившейся. Неужели это я еще вроде совсем недавно ходил строем в столовую? Патрулировал улицы Кабула, заглядывался на девушек без чадры и в джинсах? Бегал по горам с автоматом, отстреливался в ответ на чужие выстрелы и, наверное, даже кого-то убивал, не чувствуя к погибшим никакой личной неприязни, а уж тем более ненависти. Теперь все это в далеком прошлом. В какой-то чужой и странной жизни. Да и было ли это вообще? А если было — то неужели со мной? Нет, теперь у меня другая, пусть и мучительно-лежачая, полностью зависимая от других, но все-таки чем-то привлекающая меня жизнь.

Мне теперь часто казалось, что старая жизнь сошла с меня, как змеиная кожа, и теперь лежит сухой и никому ненужной шкуркой. А новая осторожно и медленно нарастает, радуя свежестью и чистотой. В этой новой жизни меня поят горьковатым козьим молоком, — его приносит будущая восточная красавица Дурханый, — кормят простоквашей с зеленью, ячменной и кукурузной кашей, приносят фрукты, виноград, арбуз, иногда дают плов с мясом. И каждый день зеленый чай с сушеным урюком, белые лепешки. Но иногда все-таки вспоминалась и наша солдатская «красная рыба» — многократно

просроченная килька в томате. Как она там без меня, кто же теперь уничтожает ее стратегические запасы?

В сумерках после трудового дня часто заглядывает и мой новый хозяин — мой теперешний командир — Сайдулло. Шах поднимается со своей камышовой подстилки, виляет хвостом и осторожно подходит к хозяину за привычной порцией скупой ласки. Сайдулло треплет ему загривок, гладит по голове, потом присаживается на кошме возле моего ложа. Свертывает самокрутку со своим привычным и вонючим зельем. Вроде он не такой зануда, как Гусев. Но все же Гусева я уже знал как облупленного, а что скрывается за восточной любезностью этого человека, для меня все еще тайна. Ради чего он возится со мной? Почему сразу не убил или не продал?

Сайдулло с первых же неловких слов нашего знакомства переименовал меня в Халеба, так ему легче произносить, а я и не возражал. Ведь того Глеба, которого знали мои родные, друзья на курсе в пединституте, сослуживцы, — того Глеба Березовика, которым еще совсем недавно я был, уже нет в наличии. Его сдуло, как пылинку с брони бэтээра, и нечаянно занесло в эту пещеру, в этот библейский хлев, куда того и гляди заглянут какие-нибудь волхвы. Если, конечно, не испугаются моего молчаливого и грозного сторожа — я ни разу не слышал, чтобы Шах подавал голос. Собаки, которые не лают, — самые страшные.

Почему-то американская Библия с мелким шрифтом на папиросной бумаге оказалась в моей тумбочке у кровати в старой казарме крепости Балагиссар. Говорили, что книга осталась от парня, которого незадолго до нашего прибытия отправили домой в цинковом гробу. Ему оставалось служить всего полгода, но письмо от девушки, в котором она сообщила, что выходит замуж на Новый год, выбило его из наезженной колеи армейской жизни. Весь взрывной запас отрицательных эмоций, что накопились в душе, вдруг неожиданно детонировал от листка бумаги с таким неожиданными и жестокими словами. Ну что ей стоило подождать еще полгода и сообщить свою новость только при личной встрече, на родине. Думаю, что душевная глухота не сделает ее счастливой и в своей новой любви.

Говорили, что он то ли повесился в туалете, то ли застрелился на посту. В общем, каждый, пересказывая, что-то прибавлял от себя. Мол, даже вера его не спасла — совершил серьезный и непростительный для верующего проступок. А может, это была обычная солдатская байка, устное творчество, так необходимое для того, чтобы преодолеть непростое для молодых ребят время. Возможно, эта чужая выдуманная история сумела помочь кому-то удержаться от того, чтобы и в самом деле не расстаться с жизнью, в которой девушки такие неверные, а пули — точные и обязательные.

У бабушки Регины в сундуке также хранилась старая, еще дореволюционная Библия, с ятями и в кожаном переплете с застежками. Я несколько раз держал ее в руках, перелистывал. Но все же так и не удосужился познакомиться более основательно. Вникать в кровавую и жестокую древнееврейскую историю особого желания почему-то не возникло. Хотя в истории любого народа уж чего-чего, а крови всегда с избытком. В казарме, однако, когда стоял по ночам на дежурстве у тумбочки, понемногу прочитал Евангелие и как-то проникся этой старой и трогательной мечтой о подлинной человечности, для которой уже и две тысячи лет назад не находилось в нашем мире места. После этого Библия сопровождала меня всюду. Никаких претензий от

офицеров не было. Читай что хочешь, пока еще живой. Да и на посту, вопреки уставу, можно было делать все что угодно — пить, курить. Нельзя было только спать.

Самым современным и минимально религиозным текстом показался мне Экклезиаст. Столько мудрой горечи осело в его словах, что не верилось, будто написан он еще две тысячи лет назад. Уже тогда люди знали, что ничего нового в мире не происходит. Ну а Песнь Песней трогала меня своей наивной и невинной чувственностью. И целомудренно-эротичная Суламифь казалась мне очень похожей на мою далекую соседку — к сожалению, отныне уже только соседку — Аннушку. Эта чужая и случайно попавшая ко мне Библия однажды даже спасла мне жизнь. Тоже повод для досужих размышлений о роли случайности в судьбе человека.

Эту очень компактную книгу в мягкой синтетической обложке я носил обычно заткнутой за ремень, под курткой. В тот раз пуля пробила пряжку и застряла в книге. Но эффект был как от нокаута в солнечное сплетение. Я пришел в себя минут через десять. Старший сержант Гусев уже тащил меня за ноги в укрытие, чтобы труп с автоматом и документами не достался душманам. Когда я как ни в чем не бывало встал на четвереньки, глаза у сержанта полезли на лоб. После этого он выпросил у меня пробитую книгу и тоже стал носить за поясом: мол, тебя-то она уже раз спасла, а чудеса не повторяются. Так что дай шанс и другому. Но, правда, эту мудистику, как он выражался, сам не читал, а заставлял молодых. Исключительно перед сном. В тот роковой день семнадцатого августа сержант Гусев находился в первом бэтээре. Дай бог, чтобы Библия как-то помогла и ему.

Каждое утро в моей пещере начинается с того, что приходит мать Сайдулло. Я так и не знаю пока, как ее зовут. Она не разговаривает и по-прежнему обращается со мной, как с предметом, который позволяет молча демонстрировать свои тайные знания и абсолютное превосходство.

После того, как Сайдулло с дочкой привезли меня вместе с дровами на тележке, запряженной осликом, и выгрузили рядом с хлевом-пещерой, какое-то время они не могли понять — жив ли я или нет. Но после того как мне разжали зубы и насильно влили несколько кружек зеленого чая, мой язык снова размяк и начал двигаться. А я приоткрыл глаза и понемногу начал приходить в себя. Но где я оказался, понять сначала никак не мог.

Вызывая беспокойство, маячило в красноватом тумане чернобородое и мрачное лицо немолодого мужчины. Потом оно надолго исчезло. Первым, уже достаточно осмысленным восприятием стало склоненное надо мной суровое лицо старой женщины. Она производит со мной какие-то непонятные действия. Меня снова ударяет болью, но уже не такой сильной и всепоглощающей. Теперь боли не удается полностью запугать мое сознание — ведь именно для этой цели она и существует в мире. Воздействуя на тело, боль оказывает влияние на душу, пытается унизить ее, поставить на колени. Довольно часто ей это удается. Но со мной это у нее уже не проходит. Я спокойно встречаю взгляд пристально глядящей на меня просто старой, но еще сильной духом женщины. Она все видела, все знает, уже ничем не удивить ее на этом свете. Да и с тем светом она, видно, тоже периодически налаживает какие-то отношения.

Резким гортанным голосом старая мать моего хозяина произносит то ли заговор, то ли молитву. Становится все-таки страшновато — от старухи в этот момент веет какой-то нечеловеческой силой. Сознание послушно принимает мой испуг и трусовато перестраивается в нужном для этой дере-

венской колдуньи направлении. Сознание делает вид, что уж теперь готово внимать ей беспрекословно. Потом вроде бы совсем уже не страшная и даже добрая бабушка долго и болезненно ощупывает мое тело, следя одновременно и за выражением моего лица. Она отмечает каждую гримасу боли. Как я понял, процедура эта оказывается чем-то вроде первобытного рентгена.

Потом она долго возилась с моими ногами, сдавливая и поглаживая в местах переломов, — я периодически терял сознание от боли, — пока не заключила их, наконец, в шину, собранную из палочек и дощечек и туго забинтованную какими-то тряпками. Потом, осторожно разрезав сзади изорванную куртку моей песчанки, основательно занялась изувеченной спиной. Нанесла слой какой-то пахучей и сначала только пощипывающей мази, — видимо, очищающей. Потом прилепила к спине кусок легкой и явно грязноватой ткани — я с меланхоличной обреченностью подумал, что сепсис обеспечен.

Жгло и щипало довольно чувствительно целые сутки. Чтобы заснуть, я воткнул себе шприц с промедолом, с трудом дотянувшись до индивидуального пакета, который лежал недалеко от изголовья рядом с моей остальной одеждой. Точнее, с тем ворохом тряпья, что когда-то носило это название. К следующему посещению моего лекаря жечь перестало, оставалось только легкое и даже приятное пощипывание. Я уже с большим доверием и зачатками благодарности в глазах и на лице следил за ее действиями. Довольно бесцеремонно стянув тряпицу, — от неожиданности я даже охнул, — старушка внимательно изучила состояние спины. После этого она протерла меня той же грязноватой тканью и нанесла новую мазь, явно на противном бараньем жире, коричневую — что-то похожее я видел на базаре в Кабуле. Это была мазь на основе мумие. Стоило такое снадобье недешево. Наши врачи разрешали ее использовать, когда медицина отступала перед грозящей гангреной.

Вообще, базары — самое удивительное место в Афганистане. Страна бедная, даже нищая, но на крытых базарах, тянущихся километрами с запада на восток, есть все, что производится в мире. От косметики до электроники, от украшений из лазурита до красивых дубленок. Плюс куча непонятного бараxла, которое имеется только в этой стране. Единственное, чего у них не было, так это нашего пресловутого дефицита. Были бы только деньги. Я уже начал присматривать подарки бабушке и матери. Возможно, даже Аннушке. Поэтому свои небольшие солдатские доходы ни на что не тратил, а сразу менял на афгани. Думал потом продать и часы, что подарил дед Гаврилка на проводах в армию. Как ни странно, они не разбились и все еще красовались на моей правой руке. Но армейским имуществом я никогда не торговал — не сбывал тайком одеяла и полотенца, пресловутые «люминевые» миски и кружки.

Кстати, обнаружилась эта неизменная солдатская посуда даже в доме Сайдулло. Теперь знакомая кружка стояла у моего изголовья. Хотя некоторые ребята умели делать деньги не только из солдатской утвари, а буквально из ничего — даже из мусора и всяких бытовых отходов. Но это те, кто служил при столовых, мастерских — кто получил доступ хоть к каким-то материальным ценностям. А нам, простым парням с автоматами Калашникова и гранатометами, оставалась единственная ценность, которая дороже нашим матерям больше всего, — жизнь, которую они нам подарили. И этот бесценный подарок мы каждый день могли легко потерять.

Теперь старая чужая мать понемногу возвращала мне то, что дала совсем другая женщина на другом краю земли. Получалось, что одна женщина продолжила священное женское действие другой. Было в этом что-то обещающее если не рай на земле, то хотя бы мирное сосуществование самых разных народов.

Каждый день моя суровая целительница приносила кувшинчик горького и терпкого на вкус отвара. Должен был обязательно употреблять перед едой. Через три дня жар начал спадать, жажда стала меньше, и в голове понемногу прояснялось. Главное, что отступили уже измучившие меня кошмары, когда стиралась грань между реальностью и ее причудливыми, пугающими копиями.

По утрам я уже вполне осмысленно разглядывал все, что меня окружает. Только теперь понял, что мои загадочные соседи с характерным запахом и тревожной возней всего лишь овцы. Но главное, что пил и ел я уже с явным удовольствием. Даже с нетерпением ждал каждой кормежки и очищал свою «люминиевую» миску до блеска. Правда, еще с большим удовольствием спал — когда боль отпускала поводья. А случалось это все чаще. Боль как будто поняла, что хозяйка здесь уже не она, а суровая старая женщина. Я спал в этой пропахшей хлевом пещере, как в лоне матери. Выйти из этого лона — значило еще раз родиться. Уже в другую жизнь и с другими людьми.

Иногда просыпался оттого, что на меня кто-то смотрел. Сквозь приоткрытые веки замечал мальчишек, повисших на загородке и пялившихся на меня. Но стоило только подать голос или шевельнуться, они тут же разбегались. Шурави, хотя и лежачий, беспомощный, все равно казался кишлачным ребятишкам очень страшным. Ведь он убивал их отцов и братьев, нес разрушения их жилищам, заставлял засыпать со страхом, что они больше никогда не проснутся. А вдруг он только притворяется больным и беззащитным, чтобы вернее выбрать себе новую жертву? В этом мире за все поступки и преступления взрослых всегда расплачиваются невинные дети.

Бачата разбегались, но один из них, не выказывая никакого беспокойства, оставался стоять у загородки. Да и Шах относился к нему спокойно. Как выяснилось немного позже, им оказался Ахмад, сын хозяина, стройный парнишка лет тринадцати с небольшим смоляным чубчиком на высоком и выпуклом лбу.

Через какое-то время по приказу бабки он начал вытаскивать меня наружу прямо на кошме. Я вначале забеспокоился — куда это меня тащат? — но оказалось, что не для разделки на части, а всего лишь для принятия солнечных ванн. Свое волшебное лечение мать Сайдулло подкрепила и благосклонным участием космических сил. Точнее, главной из них — всемогущим Солнцем. Еще до принятия ислама жители этих мест были солнцепоклонниками. Да и кому же иному можно поклоняться в таком зное? Солнцепоклонниками они и остались, только дали своему старому богу новое имя — Аллах. Указания моего врачевателя были вполне разумны — обеспечивалась полная дезинфекция и пополнение витамином D, что для переломанных костей было просто необходимо. Ахмад терпеливо ждал, пока спина немного покраснеет, а потом снова волочил меня на войлоке в мое пахучее убежище.

Несколько раз на дню мальчишка неожиданно и радостно хлопал себя в грудь и гордо сообщал: «Ахмад!» Я, повернувшись на бок, тотчас делал точно такой жест и называл себя: «Глеб!» — «Халеб!» — радостно повторял он и снова стучал себя в грудь. И был очень доволен, когда после такой игры я начинал улыбаться. Но на этом наши уроки языкознания не заканчивались. Немного окрепнув, я уже сам хлопал себя по какой-нибудь части тела и называл ее. Ахмад делал так же. Уже довольно скоро я знал, что глаз — стырга, солнце — лмар, гора — гар, а баран — маж. Ну и конечно, Ахмад — дост. То есть друг. Но это слово я знал и раньше. Конечно, их гар стала нашей горой — потому что у нас-то никаких гор не было.

Чтобы зря не тратить это томительное лежачее время, я стал с помощью Ахмада активно учить язык пуштунов. Скоро уже знал, как называются все

предметы, окружавшие меня в пещере, а также все, что оказалось в поле моего зрения за ее стенами. С абстрактными понятиями было сложнее. Ахмад тоже с увлечением изучал русский. Некоторые слова его очень смешили. Особенно верблюд. Каждый раз он кочевряжил его по-иному. Даже Дурханый, завидев меня, начинала хихикать и пыталась выговорить это слово вместо простого и привычного ей уш. «Велблуд!» — выговаривала она, наконец, и, покраснев, убегала. С глазами, обведенными сурьмой, она казалась старше своих лет.

Увлекшись изучением языка, я даже упросил Ахмада давать мне уроки письменной грамоты. Он единственный из своих ровесников в кишлаке умел читать и писать. Чего не умел даже его отец. Сайдулло при каждом удобном случае подчеркивал, что сын у него грамотей. Особенно мне понравилось начертание слова «папа» — вертикальная палочка и треугольник, повторенные дважды. Я объяснял свое стремление тем, что хочу во что бы то ни стало прочитать Коран, эту великую книгу, без переводчиков.

Ахмад некоторое время разглядывал меня с удивлением, словно пытаясь понять, в какой степени мое заявление соответствует действительности. Помолчав, он с гордостью сообщил, что прочитал Коран уже семь раз. Теперь бы ему хотелось читать другие книги. Но в кишлаке никаких книг больше нет. А в городе, где он иногда бывает с отцом, книги стоят очень дорого.

После этого моего заявления Ахмад стал иногда появляться со священной книгой и зачитывал мне места, которые ему очень нравились. С горем пополам он объяснял смысл этих отрывков. Даже судя по тому немногому, что я понял, было очевидно, что Мухаммед — большой поэт. Видимо, именно этим объяснялся невероятный успех его учения, которое, разумеется, тоже появилось в нужное время и в нужном месте.

Позже, когда знание языка окрепло, я еще раз убедился в точности и выразительности образов Корана. «Знайте, что жизнь ближайшая — забава и игра, и красование и похвальба среди вас, и состязание во множестве имущества и детей, — наподобие дождя, растение от которого приводит в восторг земледельцев; потом оно увядает, и ты видишь его пожелтевшим, потом бывает оно соломой». Это очень близко по духу к библейскому Экклезиасту. Я еще раз убедился, что мудрость едина и носители ее всегда братья.

6

Только несколько лет спустя мой дост Ахмад признался в порыве откровенности, что тогда, во время моего долгого лечения, он ухитрялся еще и зарабатывать на мне. «Да, да, взял на душу этот грех, а вот теперь освобождаюсь от его гнета!» Бизнес его заключался в том, что Ахмад показывал меня кишлачным мальчишкам — строго по очереди и группами по пять человек — за небольшую мзду. Годилось все, в основном съедобное. Так что когда Ахмад меня чем-нибудь угощал, — груши, апельсины, инжир, — то просто молчаливо делился со мной прибылью, полученной с моим тайным участием.

Со временем его торговая жилка дала и реальный результат. После женитьбы на молодой и богатой бездетной вдове из Ургуна — бывшей жене его двоюродного брата — Ахмад основал довольно прибыльное и необычное дело. А занялся он сбором металлолома, оставшегося в изобилии после шурави. На всех доступных ему кладбищах военной техники он однажды разом выставил охрану из таких же парней, как он сам, и в одночасье прекратил бесплатное расхищение ничейной собственности. Таким образом он приватизировал эту новую отрасль. При этом его фирма ничем не занималась на этих свалках — она только за плату разрешала к ним доступ людей с техникой и

транспортом. А за качественным металлоломом приезжали даже из Пакистана, Ирака. Свалки были его любимым местом еще с самого детства.

Однажды Ахмад и меня увлек на кладбище нашей советской техники. От этого зрелища у меня брызнули слезы из глаз. Сколько же труда потребовалось нашему народу, чтобы создать эти могучие машины — танки, бэтээры, грузовые автомобили, вертолеты. Теперь они беспомощно лежат под чужим небом и покрываются ржавчиной. Когда же люди одумаются и прекратят это взаимное безумие — бессмысленную гонку вооружений, преступную растрату человеческого ума и таланта.

К пятнадцати годам Ахмад сумел насобирать на свалках все нужное для сборки собственной машины. Она возникла на базе нашего уазика. «Шуравиджип» — такое звучное имя присвоил он своему первому автомобилю. Когда двигатель, наконец, заработал и машина дернулась с места, вся кишлачная детвора пришла в восторг. Бачата тут же набились в кузов и катались, пока не кончился бензин. Со временем Ахмад стал классным водителем и гонял как сумасшедший, на предельной скорости. И, как ни странно, без аварий. Ограничивала его только постоянная нехватка горючего — ведь оно стоит денег. Какое-то время ему удавалось выдаивать кое-что из старых бензобаков на свалках.

Теперь у Сайдулло в доме появился не только раб, но и собственный транспорт, пришедший на помощь трем осликам. А в семнадцать лет Ахмад укатил на своем джипе в Ургун, строить собственную жизнь. Благо у отца появился надежный помощник — то есть я. Немного забегая вперед, скажу, что к тридцати годам Ахмад превратился в холеного упитанного господина, имеющего счет даже в швейцарском банке. Теперь никто не вспоминал, что он сын бедняка Сайдулло. Сегодня это человек, к мнению которого прислушиваются даже седобородые. Правда, выслушивать их степенные мнения ему уже часто недосуг.

Когда Ахмад с двумя охранниками навещал отца на своем японском джипе, то всегда со смехом любил вспоминать, что впервые именно благодаря нашему шурави и почувствовал вкус к бизнесу — к возможности что-то иметь, не тратя никакого труда. «Так что, Халеб, — не ленился повторять он мне при каждом появлении, — тебя мне послал Аллах, чтобы направить на путь истинный. В этом нет никакого сомнения!»

У него сложилось твердое убеждение, которым он делился только со мной, что работают на земле — таскают камни, мотыжат, устраивают террасные поля и поливные системы, выращивают скот, и даже мак — только те, у которых не хватает ума. Аллах подарил некоторым людям больше разума, чем другим. Это очевидно. Но для чего он это сделал? Думаю, что только для того, чтобы они давали работу чужим рукам. Говорить такие вещи родному отцу Ахмад никогда бы не отважился. Но со мной — разница у нас была всего в шесть лет — он позволял себе выговариваться без обиняков.

Ум у него был живой, изобретательный. Ахмад быстро и легко научился читать у местного муллы. Без особого труда освоил письменность. Внимательно изучил Коран и скоро стал задавать ученейшему и почтеннейшему мулле такие вопросы, какие никогда не приходили тому в голову. И естественно, что и ответов на эти вроде совсем простые вопросы в той же голове не обнаруживалось. Конечно, Ахмаду надо было бы учиться дальше, получать настоящее образование. Именно такие простые парни в свое время приезжали в Советский Союз, чтобы приобрести основательную профессию, которая со временем позволяла им занять у себя на родине привилегированное положение. Образованные люди в Афганистане до сих пор ценятся очень высоко и пользуются всеобщим уважением. Даже само умение читать и писать резко

выделяет человека, особенно в крестьянской среде. Но на дальнейшую учебу сына, хотя бы в Кабуле, не говоря уже об Америке или Европе, у крестьянина Сайдулло денег не было.

Возможно, Ахмад, если его бизнес и дальше будет находить все новые формы, — сейчас он еще и владелец нескольких заводов по переработке опиума-сырца, — а конкуренты не пристрелят, все же сумеет дать образование своим собственным сыновьям. Правда, пока с сыновьями проблема: жена дарит ему только дочек. А тратить большие деньги на серьезное женское образование все еще не популярно. Четыре красивые избалованные девочки, которые не знают слова «нет», растут белоручками и лентяйками. Так что выдать замуж их будет тоже непросто. Не помогут и папины деньги. То, что Аллах не дает ему сына, вызывает у Ахмада огорченное непонимание. Это единственная брешь в его основательной и благополучной жизни. Правда, Сайдулло всегда знает, чем утешить своего дорогого Ахмада: «Дочери — это прекрасно. Их не убьют на войне, и ты дождешься множества внуков!» — «Да, да, — грустно соглашается Ахмад, — может, и дождусь».

Впрочем, признался он как-то по секрету, что ждать милостей от Аллаха не намерен: серьезно подумывает о второй жене. Свахи уже работают. Изучают родословные лучших семей от Кандагара до Кабула. Вполне возможно, что со временем сможет дотянуть и до мусульманского стандарта — до четырех, как заповедано пророком. «И все это, дорогой Халеб, станет возможным только благодаря тебе, твоему появлению в нашем кишлаке! Хотя, честно говоря, и с одной женой хлопот хватает. Если бы отец только знал, что мне приходится терпеть в собственном доме! А сколько забот с ее родственниками!» Ахмад крепко обнимал меня на прощанье и, махнув рукой, водружался на свой джип и исчезал в клубах серой пыли.

Последний раз мы долго стояли, обнявшись, и плакали безутешно, как малые дети. Хотя еще не было сказано ни слова, но, видимо, Ахмад тоже чувствовал, что мы больше не увидимся. Ничто больше не удерживало меня в кишлаке, а переезжать в Ургун, чтобы помогать Ахмаду делать деньги на героине, мне совсем не хотелось.

Да, действительно, может сложиться такое впечатление, что вся моя жизнь оправдана только тем, что в свое время пересеклась с жизнью паренька из богом забытого кишлака Дундуз. Можно сказать, что волей Аллаха, милостивого, милосердного, как-то согласованного с волей нашего христианского Бога, я был оставлен в живых, чтобы, в свою очередь, спасти жизнь мальчишке из чужого и даже враждебного племени. Вера в предопределенность — основное в исламе. Но как об этом узнала змея, которая притаилась в прибрежной траве, куда Ахмад бросил свою одежду?

Выскочив из ледяной воды, где он плескался с кишлачными ребятами, Ахмад обхватил себя руками и, сжимаясь от холода, присел на теплый холмик своей одежды. И тут же вскочил с криком, как ужаленный. Я сидел в нескольких шагах от него, приковыляв с палочкой вместе с мальчишками к их обычному месту купанья — у синего камня. Мне тоже хотелось окунуться, но пока не было полной уверенности в своих силах. Я успел заметить скользнувшую между камней змею. Времени на раздумья не оставалось. Я неловко вскочил, ковыльнул пару раз в сторону Ахмада. Повернул его спиной к себе. Четкие проколы — следы укуса — остались у него на пояснице. Я осторожно выдавил ранку пальцами, до крови, а потом не колеблясь приник к ней губами. Коротко посасывал и выплевывал, посасывал и выплевывал, пока ранка не перестала кровавить. Потом тут же доковылял до берега, лег на камень у воды и начал полоскать рот.

Приказал Ахмаду, чтоб тот не волновался, — адреналин усиливает действие яда, — и спокойно шел домой к бабушке. Та, рассказал он потом, усадила его перед собой, твердо взяла за руки и что-то пошептала, властно глядя ему в глаза. Потом дала выпить козьего молока, смазала ранку своей мазью с мумие, тепло закутала и уложила спать. Проснулся он на следующий день, пощупал немного саднящее место. Обнаружил только небольшую припухлость, которая прошла через пару дней. Да и со мной, к счастью, все обошлось — зубы еще были в порядке.

После этого случая Сайдулло, выкурив косячок, часто любил порассуждать примерно в таком духе:

— Вот, видишь, Халеб, Аллах наградил меня за то, что я не оставил тебя умирать. Теперь я твой должник. Но ты должен понимать, что ты все-таки мой раб. Нет, ты мне уже как сын, но для других людей — все-таки остаешься рабом. А так как они приходятся мне родственниками — кто в большей, кто в меньшей степени, — то я должен учитывать их мнение, считаться с ними. Может случиться, что я при чужих людях буду вынужден крикнуть на тебя или даже ударить. Но ты всегда помни: никакого зла я тебе никогда не желал, а теперь тем более. Я живу с этими людьми, делю повседневные заботы, тяжелый крестьянский труд. Я должен уважать законы их общежития, которые отводят тебе в этом мире очень малое и страдающее место. Практически, тебя может убить любой, кто захочет. И если бы не Шах, то, вполне возможно, я бы нашел тебя однажды утром с перерезанным горлом. Законы кровной мести никто не отменял. И на тебе, как и на любом, кто пришел к нам с оружием, лежит пролитая кровь множества пуштунов. Они гибли без счета. Тебя спасает только то, что ты мой покорный раб. Но мой внутренний голос говорит мне, да и последний случай с Ахмадом явно показывает, что ты не случайный человек в нашей жизни. Почему-то я на тебя очень надеюсь. Даже сам не знаю, почему...

Сначала я улавливал только общий смысл его слов, но понемногу, с помощью того же Ахмада, стал понимать почти все — или скорее догадываться, о чем он говорит. Чувства не требуют перевода, а они светились в его глазах, в интонации, в сердечных жестах и постоянном благодарном внимании. Иногда мне казалось, что я снова нашел своего отца — так далеко от дома, в этом суровом краю. Тогда в ответ на речи Сайдулло и мои глаза увлажнялись.

Первое время в моем убежище, пропахшем овцами, я каждый вечер сочинял перед сном мысленные письма своим дорогим Регинам — бабушке и маме. А также и деду Гаврилке, деревенскому философу и чудаку.

Все любили постоять около нашего дома, поговорить, посмеяться вместе с дедом. Определенную популярность он имел всегда. Его острые словечки быстро расходились по деревне. Но по-настоящему он прославился, когда однажды наткнулся в лесу на неруш — нетронутую грибную поляну. А на ней — боровики один к одному, без червоточинки. Те, что поменьше, стояли группками, а посолиднее, явно чувствовавшие свою значимость, — поодиночке. Дед с полчаса расхаживал, любовался таким подарком судьбы. Потом с полчаса сидел возле самого большого — шляпка как сковородка. Сидел, курил свою «приму», сигарету за сигаретой, и предавался размышлениям. Была у него с собой только небольшая корзинка. Ясно одно: оставлять поляну нетронутой, чтобы прийти завтра с большим коробом, — это случилось далеко от дома, — никак не годится. Да и не только потому, что кто-то мог бы его опередить и тоже наткнуться на это место. Не забрать с собой такой подарок судьбы — значило бы смертельно обидеть высшие силы, показать, что он вроде бы и не очень ценит оказанную ему милость.

Дед мой докурил последнюю сигарету из пачки — только недавно расстался с самокрутками из собственного табака и все жаловался, что в магазинных нет никакой крепости, — и решительно снял брюки. Остался в белых солдатских подштанниках — признавал только их. Завязал штанины своих плотных брюк и начал аккуратно срезать боровики. За всю свою жизнь такое чудо даровано было ему впервые. Будучи человеком острого и скептического ума, ни в каких богов он не верил, подсмеивался над женой, что по праздникам ходила в церковь, но сейчас впервые задумался: а вдруг действительно есть некий разум, который распределяет что-то между людьми? Одним дает счастье, а другим беду? Но все-таки пришел к выводу, что даже если такое распределение и существует, то все это происходит случайно, без никаких пристрастий со стороны высшей и тайной силы. Просто эта неведомая сила бросает счастье в одну сторону, беду в другую, а часто и вперемежку. И сегодняшней удачей гордиться особо не следует: кто как не он и должен был наткнуться на эту сказочную поляну? Ведь в лесу-то он почти каждый день, особенно в грибную пору.

Когда спросил, а почему он не использовал для грибов подштанники, дед Гаврилка пояснил, что, во-первых, он бы извазюкал их так, что бабушка и не отстирала бы. Ну, а во-вторых, конечно, ну а, может, и во-первых, никто бы не обратил на него никакого внимания. Ну, прошел человек с белым мешком, понес что-то из магазина.

Чего-чего, а внимания деду хватило — после появления на деревенской улице в исподнем со штанами, набитыми грибами и висевшими на нем, как хомут. К тому же в каждой руке он держал по громадному боровику. Историческое явление народу произошло как раз тогда, когда бабы стояли у ворот и ждали коров с поля. Но тут уже надо говорить не просто о внимании, но, разумеется, о славе. Она скоро перешагнула границы не только родной Блони с ее сотней дворов, но и целого сельсовета. И начала расползаться по району, принимая формы уже совсем фантастические.

Тут уж отцовская байка про тайменя потускнела и навсегда ушла в тень. Да года через два и сам отец тоже ушел. Случилось это, когда я был в предпоследнем классе и уже старался учиться так, чтобы иметь аттестат без «троек». Погубило моего отца то, что он так любил: рыбалка. Там он старался проводить любую свободную и даже не очень свободную минутку. Откровенно уклонялся от назревших дел по хозяйству — очистить хлев от навоза, поправить забор — подождут! Некогда, сегодня рыба сама будет выпрыгивать на берег — погода-то какая! Дед Гаврилка ругал его, всячески высмеивал пресловутых карасиков, вербовал в свои сторонники мою маму Регину. Но с этим у него ничего не выходило. Мама никогда ничего не говорила отцу, ничего у него не просила и уж тем более не требовала. Словно героиня сказки: «Что ни сделает муженек, то и хорошо!» Хотя в доме и не было скандалов, — я никогда не слышал, чтобы они ругались, — но напряжение последний год присутствовало и даже понемногу возрастало. Иногда заставал маму в слезах. Тогда сжималось сердце от жалости к ней и бесконечной любви. «Зато хоть не пьет, как другие!» — случайно подслушал однажды ее разговор со школьной подругой Вероникой, которая иногда навещала нас. Она жила в Минске и одна после развода с пьющим мужчиной растила дочь. Тогда я впервые понял, что семейная жизнь очень сложная штука. И самое главное, зависит, конечно, от женщины.

Отец смело и торопливо ступал по мартовскому льду в костюме химзащиты и распахнутом полушубке к своим удачливым воскресным лункам — ради окуней он и отпросился в будний день с работы пораньше, сразу после обеда.

Быстро перекусил дома, собрал причиндалы и, невзирая на мамины просьбы никуда не ехать сегодня, отмахнулся от нее и рванул на водохранилище.

Навсегда запомнилась какая-то очень просительная, необычная интонация и самые последние слова, которые мама сказала отцу: «Игнат, мне надо с тобой поговорить, посоветоваться…» Отец только отмахнулся: «А, делай что хочешь!» — «Игнат!.. » — очень нежно окликнула она. Он обернулся: «Ну, ладно, ладно — вечером!» Мать еще постояла на крыльце, глядя вслед отцовской машине, лихо разбрызгивающей лужи, и, смахнув слезу, ушла в дом.

Солнышко и течение за сутки сделали свое дело — лед истончился, а кое-где уже темнели широкие полыньи. Но явные сигналы опасности не остановили отца. Он упрямо шел навстречу своим окунькам.

Колхозный грузовик так и остался дожидаться на берегу. Машину обнаружили на следующий день, а тело нашли только когда сошел лед. В разбухшем отцовском кулаке застыла зимняя удочка, а на мормышке оказался небольшой и живой окунек. Его осторожно отцепили и бросили в воду — живи, ты ни в чем не виноват.

Потом мужики долго судачили: «Вот ведь как получилось — не поймешь, кто на рыбалку пошел: то ли Игнат, то ли окунек. Какого мужика к себе утянул. Это ему наказание вышло за то, что столько рыбы перевел…»

Но письма отцу я тоже писал. Или просто разговаривал с ним о том, чего сам не понимал. И как ни странно, эти разговоры помогали разобраться во многом. С постоянной отцовской помощью мне удавалось отыскать какой-то смысл в происходящем, поверить, что моя сегодняшняя жизнь не случайность, но необходимое звено в той цепи событий, из которых она и состоит. Я пытался взглянуть на все, что произошло со мной, с какой-то почти запредельной вершины. С этой высоты ничего особенного со мной не случилось: ведь я был жив, сыт и здоров. Занимался физическим трудом на свежем воздухе, общался с незнакомыми людьми, пытался понять их жизнь и характеры. В сущности, это была школа, даже университет, если судить по тому количеству практических знаний по психологии, языкознанию, строительству, земледелию, которые невольно усваивал и повторял изо дня в день. И что толку, если бы я предавался бесконечной печали и относился ко всему равнодушно и высокомерно-презрительно?

На какое-то время, — надеюсь, что не навсегда, — в силу сложившихся обстоятельств мне дана именно такая жизнь. Но ведь все-таки жизнь. А некоторых моих товарищей уже нет на этой земле. Их матери получили похоронки и цинковые гробы. Они лишены счастья дышать, любоваться рассветом, есть козий сыр с помидорами и свежей зеленью, с пшеничными лепешками. Я сам видел, как, наткнувшись на фугас, взлетел в воздух многотонный бронетранспортер, который возглавлял колонну, и тут же от прямого попадания вспыхнул и замыкающий. Мы оказались в ловушке — на самом узком участке дороги. Ни свернуть, ни развернуться уже не могли — застыли обреченными мишенями. При всей секретности операции — подняли ночью по тревоге — ясно было, что нас уже ждали. Последнее, что сохранила память: оглушающая вспышка и ударная волна, сдувшая меня с брони, как пылинку.

После этих писем-разговоров с отцом мне казалось, что я тоже становился таким же мудрым, как и он, таким же все молчаливо понимающим и печальным. Вскоре плакать по ночам я тоже перестал. Плачь не плачь — ничего не изменишь. Да и сил на слезы уже не хватало: после рабочего дня, который начинался на рассвете с того, что я доил коз и коров — они были немногим больше, чем козы, и давали только пару литров молока, — а заканчивался

поздно вечером с мотыгой в руках, я засыпал сразу, как только бессильно растягивался на своей кошме.

Зато в разговорах на расстоянии с дедом Гаврилкой я учился думать и поступать только по-своему, не оглядываясь на то, что скажут другие. Ведь другие не знают моих проблем, не имеют моего опыта, не знают моих чувств и мыслей. Правда, в практическом применении этих знаний я был очень осторожен. Ведь даже земляки не всегда понимали моего деда, а что касается чужих людей, то мои оригинальные и независимые поступки могли бы стоить и жизни. Но варианты своего возможного поведения я все-таки прокручивал в голове. И, как ни странно, это тоже скрашивало жизнь.

Дед Гаврилка очень переживал смерть отца. Сразу куда-то ушли его задор и способность не задумываясь найти точное и хлесткое слово. По неделям ходил небритый, понурый. И все корил себя, что не назвал сына Глебом, как положено, — так испокон называли первенцев в их роду. Вот назвал Игнатом, пошел на поводу у своей упрямой Регины и — потерял.

— А в каждом поколении Березовиков должен быть Глеб! Ведь на нашем деревенском языке, на мове, «глеба» — значит, почва, — упрямо твердил дед. — А где почва — там и хлеб! А где хлеб — там и жизнь. Обязательно назови сына Глебом. Вот у тебя, Глебушка, все будет хорошо!

— Хорошо, хорошо, — ворчала бабушка, — уже третий цинковый гроб из Афганистана привезли. Даже и не открывали. Кто там знает, кого похоронили, по кому там мать слезы проливает. Чувствую, что и на его долю этой бодяги хватит…

Да и я тоже думал, что имя именем, а судьба судьбой. Вот старший брат деда тоже был Глеб, а с войны не вернулся. Но Афганистана я не боялся, даже думал, что неплохо бы испытать себя на настоящей войне. Тем более за правое дело.

После гибели отца бабушка Регина сразу лет на десять постарела, сгорбилась. Теперь любая мелочь, на которую раньше она бы и не обратила внимания, вызывала раздражение, какие-то непонятные обиды и бесконечные слезы. Только у матери не было слез, она словно закаменела в своем горе и стала резкой в словах и решительной в поступках. В итоге они с бабушкой рассорились и прекратили всякое общение. Только благодаря деду и мне родственные отношения все-таки сохранялись. Дед Гаврилка регулярно доставлял банку утреннего молока, а к празднику и разные подарки. Ну и конечно, когда колол кабана, то приносил и свежину, бабушкины колбасы, окорок. Мед на столе был тоже от деда. После грибной эпопеи он потерял былой интерес к грибам и завел пяток ульев. Теперь только с ними он и находил успокоение. Разумная организация их жизни вызывала постоянный интерес и восхищение.

В это время мать явно махнула на себя рукой. Перестала покупать обновки и стала ходить на работу в каких-то серых балахонах. Приходя домой, сразу натягивала старый просторный халат. О поездках в районную парикмахерскую больше и речи не было. Первые седые пряди появились в ее густых каштановых волосах именно тогда. А старшая Регина, свекровь, тем временем открыто и громогласно, на всю деревню, винила невестку в том, что та не любила ее сына. «Ох, зачем я поддалась на ее уговоры! Обман сотворила! Такой грех на душу взяла! Жил бы себе на своей Катуни, таскал бы этих тайменей! Игнатушка мой ненаглядный!» Дед брал ее за руку, вел на диван, отсчитывал сорок капель корвалола в рюмку, садился рядом, обнимал за плечи, что-то негромко говорил. С трудом сдерживая слезы, я уходил домой, чувствуя себя тоже виноватым в смерти отца. Если бы он остался на Алтае,

то меня бы не было, но зато тогда с ним ничего бы не случилось. Но меня бы тогда не было? Ну и пусть.

Начало последнего года в школе оказалось очень трудным. Только дружба с Аннушкой, которая сама собой завязалась в прошлом году, — дом их был через улицу, тоже из белого кирпича, как все на этом конце деревни, — помогла мне как-то войти в напряженный учебный ритм, снова заставить себя учиться. Я запомнил материнские слова и надеялся, что удастся ее обрадовать. Хотя бы поступлением в вуз. Летом я работал в колхозе пастухом — два дня в поле, один дома. Заработал хорошие деньги, даже не хотел больше идти в школу. Но мама сказала, как отрезала: «Будешь учиться, и не абы как! Должен поступить в институт. Без образования сейчас никуда и не ткнешься. Хочешь всю жизнь коровам хвосты крутить или за баранкой гнуться? Учись, пока есть возможность. Кто знает, как жизнь повернется? Да и в армию пока не попадешь. А там, может, Горбачев и Афганистан этот прикроет».

7

Да, вот так благодаря Аннушке, матери, да еще увлечению историей, которым заразил нас молодой, только что из института, преподаватель, и обязан я тому, что все-таки закончил школу с приличным аттестатом, без «троек». А если бы взялся за ум пораньше, то была бы и медаль. Учителя истории звали Мирон Миронович. Или, как мы его ласково переименовали, — Мырмыр. Еще и потому, что он всегда начинал говорить с трудом, с какого-то мурлыканья, но когда расходился, речь его лилась ясно и увлекательно, все завороженно замолкали, и звонок на перемену звенел очень скоро и всегда некстати. Некоторые ребята в нашем классе были на голову выше его, но когда наш Мырмыр раскочегаривался, то казался выше всех. Мы с Аннушкой предложили организовать исторический кружок. Решили вместе, но подошла поговорить к нему она одна, — и Мирон Миронович не стал ссылаться на занятость, на то, что дорога в школу отнимает у него много времени, сразу согласился. Она была очень довольна, что сумела убедить нашего Мырмыра. Даже немного загордилась.

«Такая девушка уговорит кого хочешь!» — как-то очень легко и совсем неожиданно для самого себя выдал я свой первый в жизни комплимент. Аннушка вспыхнула и быстро бросила на меня взгляд, от которого у меня дрогнуло сердце. Тут и я в свою очередь покраснел и сделал вид, что куда-то тороплюсь. Такой неловкости в отношениях со своей соседкой я никогда не испытывал. В этот день даже не пошел с ней домой — нарочно задержался после уроков с учителем физкультуры Наумом Яковлевичем. Чем тут же сумел воспользоваться мой сосед Егорка.

Из окна учительской я наблюдал, как он пристроился к Аннушке и, что-то весело рассказывая, скрылся с ней за углом. Пришлось утешиться тем, что, в конце концов, они ведь тоже соседи. Дома их не только рядом, но даже и на одной стороне улицы.

Возможно, я потому и слушал Наума Яковлевича так невнимательно, что мысленно был третьим, рядом с Аннушкой и Егоркой, моим постоянным соперником с самого детства. И если влипал куда-то, то всегда благодаря ему. Потом сам недоумевал, как он мог подбить меня на такую глупость. Чертик в заднице у Егорки никогда не отдыхал и всегда ловко перебирался в его голову, все продумывая и рассчитывая. И как ни попадало ему дома от отца, — Егоркины крики часто оглашали улицу и доносились до нашего двора, — и от

старших ребят в школе, своих проделок сосед мой не оставлял. Или, скорее, они не могли оставить его. Ведь он был такой увлеченный и старательный их исполнитель.

А у Наума Яковлевича появился ко мне свой интерес. Он тоже заметил, что чаще всех попадаю в баскетбольную корзину, и загорелся мечтой приобщить меня к большому спорту. Хотя, конечно, с мячом у меня были не такие идеальные отношения, как с простыми камнями. Видно, мои древние предки не имели возможности играть в эту игру. На каждом уроке Наум Яковлевич давал мне отдельное задание и очень радовался, когда у меня получалось. Обычно насмешливый и даже ехидный, он пылко убеждал, что я талант. А талант его никак нельзя зарывать в землю.

— Конечно, — с улыбкой говорил он, — признаюсь, что я, старый скромный еврей с ужасной немецкой фамилией Борман, день и ночь мечтаю, чтобы в биографии олимпийского чемпиона было упомянуто о его первом учителе физкультуры. Пускай даже без фамилии. Тем более, что ее уже так прославили — никакими заслугами не отмыть. Но само сознание того факта, что я, Борман, сумел первым разглядеть талант обычного деревенского паренька, будет согревать душу до конца моих дней.

Никогда нельзя было понять: шутит наш Борман или говорит всерьез. Видимо, это была его защитная реакция. Так же, как и те еврейские анекдоты, которые он нам травил в перерывах. В его пересказе они почему-то переставали быть смешными. Так же ничего смешного я не видел и в фильмах знаменитого Чаплина — его герой вызывал только чувство жалости. Да и в жизни самого Наума Яковлевича тоже не обнаруживалось ничего смешного.

Он чудом остался жив. В то время, когда всех евреев местечка согнали на площадь и увезли в гетто, он вместе со своим другом Мишей ловил щук на пескарика. Ушли они с утра и возвратились только к вечеру. Когда с тремя солидными рыбинами Наум гордо задержался у соседской калитки, то Мишкина мама, тетка Ядвига, неожиданно позвала в дом и его. Видно, подумал он, опять что-то испекла и, как это часто бывало, хочет угостить. Наум пристроил свой улов на жердочке под стрехой — чтоб коты не достали — и вошел в хату вслед за Мишкой. Пятеро младших уже сидели за столом и аккуратно черпали деревянными ложками кислое молоко из большой глиняной миски. Черпали строго по очереди. Чугун с картошкой в мундирах стоял с краю стола. Каждый держал в левой руке по очищенной картофелине. Ядвига усадила рыбаков за стол, отрезала по ломтю черного хлеба. Науму хотелось скорее домой, показать добычу и заказать маме фаршированную щуку. Но свежеиспеченный хлеб с простоквашей и картошкой были так вкусны, что он не мог оторваться. Да и не обратил внимания, что за столом сегодня как-то очень тихо. Когда он поблагодарил за угощение и уже собирался вставать, Ядвига подошла к нему и положила руку на его стриженую голову. Погладила и сказала, что теперь он будет жить у них. Слава богу, что ее детки тоже темненькие, а сколько их — не важно.

Никто за всю оккупацию и не выдал Ядвигиного приемыша немцам. Даже местный полицай. Хотя тот все же сумел получить за это компенсацию: регулярно наведывался, чтобы попробовать Ядвигиного самогона. Она меняла его на продукты — прокормить семерых было непросто. После войны Наума отыскал родной дядя и забрал к себе. Ядвига долго показывала его подарок — тяжелый золотой кулон с камнем. А потом поменяла эту ненужную ей и даже опасную драгоценность на очень удойную корову, патефон с пластинками и настенные часы с боем.

До сих пор Наум Яковлевич вспоминает о своей маме Ядвиге со слезами на глазах. И прибавляет, что, может, только благодаря ей он так и не выучил иврит и остался там, где родился. И что такое какая-то другая, историческая родина? Родина одна — там, где ты родился, и никто его в этом не переубедит.

Да, вот тебе живая история, которая еще рядом, помнит боль и радость, слезы и кровь. История обычных людей, которые всегда не столько творцы, сколько жертвы этой самой истории. На следующий день мы опять шли домой вместе с Аннушкой и даже не вспомнили о Егорке.

Вскоре начал работать и наш исторический кружок. Пару раз там появился и наш общий сосед. Правда, на большее его не хватило — чертику в заднице было явно скучно. Мы с Аннушкой, конечно, не пропускали ни одного занятия. А после них, еще возбужденные и разговорчивые, провожали Мырмыра к последнему автобусу в райцентр. Потом пешком, целых три километра, часто уже затемно, возвращались в свою Блонь.

Здесь мне еще до сих пор снятся иногда наши вечерние прогулки. А в последнее время все чаще. В них мы держимся за руки, как дети. А иногда Аннушка даже берет меня под руку, прижимается ко мне, сталкивает на обочину. И я уже не знаю, было ли это на самом деле или только приснилось.

По дороге, конечно, продолжали обсуждать проблемы, которыми нас забрасывал учитель. Столько всего неожиданного и нового для нас было в его голове. Мы часто не могли понять, что же на самом деле правда, а что только домыслы и выдумки досужих, лукавых или даже откровенно враждебных умов? Но ясно было только одно: чтобы самим во всем разобраться, нужно учиться. Решили, что будем тоже поступать на исторический. В БГУ или в педагогический. В общем, мы сходились с ней во мнении, что большей частью углубление в историю ставит целью прежде всего изменение настоящего. Именно такая задача была поставлена партией.

Перестройка — как много мы ждали от этого слова. Да, история, как ни верти, всегда на службе у политики. Как говорил Мырмыр, историкам доступно даже то, что не по силам и самому Господу Богу. Только они в состоянии изменять прошлое, а тем самым и будущее.

Собственно, о чистой истории можно говорить только тогда, когда ее отделяют от нас тысячелетия. В то время я впервые прочитал в журнале «Вокруг света» о выдающемся ученом Викторе Сарианиди. На раскопках золотого холма — Тилля-Тепе — на севере Афганистана он нашел более двадцати тысяч золотых предметов.

Древняя и таинственная Бактрия открыла свои сокровища советскому исследователю. Но с началом войны в Афганистане раскопки прекратились. Именно об этом я увлеченно рассказывал Аннушке, когда пригласил ее однажды в свой «штаб» на сосне. Уже смеркалось, глаза ее сияли, как звезды, пленительно белел овал лица. Твердые кулачки ее грудей волнующе приподнимали кофточку. Мне хотелось прикоснуться к этим холмикам — просто накрыть их ладонями. Она глядела на меня нежно и доверчиво и, казалось, была полностью захвачена моим повествованием.

Когда сбился от волнения, вызванного тайным желанием, и замолчал, она заметила вдруг, что я, оказывается, могу рассказывать так же увлекательно, как и Мырмыр. «Но почему ты никогда так не говоришь при всех?» Я смутился. Неожиданно мне стало ясно, что испытываю к соседке не только привычные дружеские чувства. Мне хотелось трогать ее, обнимать, прижимать к себе, целовать в губы.

Именно от этих еще непривычных мне чувств и хотелось часто поколотить одноклассника и соседа Егорку, когда он в классе хватал Аннушку за

руки, пытался обнять. Она лежала на помосте, вольно раскинув руки, а я, свесив ноги, сидел с краю. Аннушка глядела на меня, чуть улыбаясь, и как будто ждала чего-то. Пауза затягивалась, а я не мог ни слова сказать, ни рукой пошевелить. Молчание нарушила Аннушка: «Пора, Глеб, завтра в школу. Хорошо здесь у тебя…»

Приподнялась, сидя поправила волосы. Я спускался первым. На земле протянул ей руки, чтобы поддержать. Она ловко спрыгнула и толкнула меня обеими руками в грудь так сильно, что я чуть не упал, и, хохотнув, запетляла по лесу. Когда я медленно вышел из чащи, быстрая фигурка ее мелькала уже на середине луга.

А потом в нашей семье случилось чудо. Я давно заметил, что мама неожиданно помягчела, стала хорошеть, тайком улыбаться. Помню, ее первая улыбка в зеркале застала меня врасплох. Это была прежняя, счастливая мама. Но как же, ведь отца уже нет, а она улыбается все так же? Неужели она совсем забыла его? Но скоро стало ясно: моя мама ждет ребенка. Я понял это раньше всех. Да и ее балахоны уже не могли ничего скрыть. Новость эта быстро разошлась по деревне и, как бывает в таких случаях, начала обрастать домыслами и предположениями. И когда Егорка, с раннего детства мастер на разные штуки, у которого что в голове, то и на языке, — это бабушка заметила, что у него «черт в заднице», — сказал мне с ухмылочкой: «Мамаша твоя времени не теряет!», то тут же ударился своим мягким местом — вместе со своим чертиком — о цементный пол в туалете.

Левой в печень и правой в челюсть — после трех месяцев в секции бокса это получалось у меня автоматически. Поднявшись, пошатываясь, он все же не стер с лица своей поганой ухмылки. Дорого бы она ему стоила. Да и мне тоже. Если бы ребята не оттащили, то вместо аттестата зрелости я получил бы хороший тюремный срок. Хотя, кто знает, возможно, это было бы и к лучшему: уже давно бы вернулся и снова любовался своими березками да ольхами, обнимал бы маму и бабушку, деда Гаврилку. Да и, может, снова сидел бы в своем «штабе» рядом с Аннушкой и делал бы с ней все, что так мне хотелось в тот вечер. И она больше не толкала бы меня в грудь и никуда бы не убегала. И тогда…

Ах, эти бесконечные «если бы», которые мучили меня первое время. Если бы, если бы! Что от нас зависит, а что нет, — понять совершенно невозможно. Не знаешь, какой поступок, как малый камешек, способен вызвать лавину, уносящую тебя в неизвестность. Чтобы похоронить там тебя навсегда. И остается это беспомощное и будто бы все объясняющее слово — судьба.

Так что же такое судьба? Результат нашего осознанного или интуитивного выбора? Или наоборот — готовности принимать все, что прибивает к нашему берегу? Правда, часто мы просто лишены возможности выбирать. Большие события захватывают нас и уносят. Накладываются на судьбу и случайности природных катаклизмов. Выбирать себе судьбу может только человек с феноменальным нюхом. Да и то оказывается часто у разбитого корыта. Обычный человек не дергается — спокойно, далеко не заглядывая и ничего не просчитывая, принимает все, что сваливается на него. В лучшем случае выбирает меньшее зло из тех нескольких, что предлагаются ему. Или вообще уклоняется от выбора, пуская все на самотек, чтобы потом, в случае особенной неудачи, только тяжело вздыхать и повторять это магическое и завораживающее слово — судьба.

Никаких мужчин возле матери я в то время не замечал. На людях она ни с кем не любезничала, отсидит в конторе за своей бухгалтерской работой —

и сразу домой. Когда слухи о маминой беременности дошли до старшей Регины, — мол, невестка у тебя «того», оскоромилась, — появился на разведку явно смущенный дед Гаврилка. Долго ходил вокруг да около, а потом придумал причину и послал меня к себе домой — мол, банку с медом забыл: да-да, в кладовке, на нижней полке.

Не знаю, о чем они там говорили, видно, недолго — встретил деда уже на обратной дороге. Впервые после гибели отца он улыбался в свою месячную щетину, улыбался сам себе, какой-то тихой и трогательно-детской улыбкой. Прошел мимо меня и не заметил — ни меня, ни трехлитровой банки с медом.

Через день, как раз в воскресенье, пришла к нам нарядная бабушка — так она наряжалась в исключительных случаях — и с гостинцами. Они сразу обнялись с мамой, прильнули друг к другу, как сестры, немного поплакали, потом уединились в зале — так мы называли самую большую комнату с телевизором — и занялись своими женскими разговорами. После переговоров, судя по их улыбкам, явно прошедших в атмосфере доброжелательности и взаимопонимания, мы мирно пили чай с моими любимыми пирожками с яблочной начинкой. Получались они у бабушки всегда очень вкусными, но в этот раз она превзошла сама себя.

С удивлением я впервые не видел никакого соперничества, даже намека на него, между этими двумя властными и сильными женщинами. А к Новому году у меня появилась сестричка — Наденька. С лица — копия отец. Это было так удивительно: снова увидеть человека, которого уже больше нет с нами. Все деревенские слухи и досужие разговоры сразу утихли, а в нашем доме начало разгораться маленькое тихое счастье.

Такое же маленькое счастье разгоралось несмотря ни на что и в моем глиняном жилище на этой чужой земле, которую никак не оставляют в покое жестокие и сильные страны. Бедную, красивую, измученную землю, хранящую в себе несметные богатства, к которым и тянутся чужие и жадные руки.

Тот день, когда я впервые спустился без палочки от своей пещеры к жилищу Сайдулло, стал нашим общим праздником. Правда, небольшая хромота у меня все-таки сохранилась и поныне. Но жить и работать она мне не мешала. В честь этого события я подарил Сайдулло свои часы с голубым циферблатом и автоматическим подзаводом. Подарок тронул его — тем, что я угадал его тайное желание иметь такие часы, каких не было ни у кого в деревне.

Мы долго сидели под смоковницей во внутреннем дворике. Я научил его обращаться с календарем, ставить дни недели. Особенно ему нравилось, что можно обходиться без батареек и не нужно заводить — заводятся во время хода. Его радость показывала мне, что этот уже достаточно взрослый и даже старый по моим тогдашним понятиям человек, хотя было ему немногим за пятьдесят, все-таки оставался в душе ребенком. Когда я поднялся, чтобы отправиться к своим овцам и баранам, от которых удалось немного отделиться с помощью камышовой стенки, Сайдулло застенчиво признался, что мои чудесные часы — это первый подарок в его жизни. Никто никогда ему ничего не дарил. Все то немногое, что у него есть, заработано тяжелым трудом или осталось от родителей. Конечно, часы ему в кишлаке ни к чему — здесь никто никуда не торопится и не опаздывает. Часы станут самым дорогим украшением его дома — после того, как он пройдется пару раз по кишлаку, чтобы показать всем мой подарок.

— Наши часы — это солнце. И завтра, дорогой мой Халеб, мы встанем с тобой вместе с солнцем, чтобы начать настоящую мужскую работу. Хватит

доить коз и полоть грядки. И так уже мой сосед и родственник Вали слишком часто спрашивает, с какой целью я вылечил этого неверного. До каких пор он будет только весело похрамывать и нахально глазеть на наших дочек? А они только и знают, что шушукаются о его голубых глазах. Но мы, дорогой Халеб, должны понять Вали. Каждый, как заповедал нам наш пророк, должен стараться понять другого человека. Вот у нашего Вали дочка хромоножка, хотя и красавица. Но красота — это для богатых. Простой человек ищет помощницу в жизни, которая не ленится и готова постоянно трудиться на благо семьи. Правда, замуж его дочке пока рановато, да скоро может оказаться, что и поздно. Никто не возьмет ее в жены. Если только с доплатой. А тут у него перед глазами еще одна хромота. В его голове две этих хромоты сразу же складываются, и получаются крепкие внуки с голубыми глазами и свежей кровью. Так что, Халеб, прошу тебя, веди себя очень осмотрительно и не заглядывайся на черные глаза и мелькающие щиколотки. Но если станет невмоготу, скажи мне — я добавлю тебе работы и перестану давать молоко. Не обижайся, шучу. Есть тут у нас одна вдова, моя родственница. Думаю, что смогу ее уговорить на благое дело. А то ведь так и до греха недалеко. Аллаху прегрешения не нужны: ни рукоблудие, ни скотоложство. Итак, завтра мы начинаем с тобой строительство еще одного поля. Дело богоугодное, мы не только увеличим наш достаток, но и укрепим гору. Ты не смотри на то, что речка наша маленькая. В пору дождей она становится грозной, несколько раз по ней сходил сель. Каждый раз гибли люди и скот. Лет двадцать назад сель прошел в десяти шагах от моего дома. Тогда погибла семья моего старшего брата. Сель катится быстро, а честные люди спят крепко. После того, как мы начали укреплять склон своими террасами, сажать на них плодовые деревья, несчастье стало нас обходить. Аллах принял во внимание наши труды. Я уверен, что труд — самая лучшая молитва. Правда, некоторым легче бить поклоны. Но, думаю, Аллах таких людей не очень любит...

Видимо, поэтому Сайдулло и не совершал намаз так часто, как это предписывается. Во всяком случае, в поле он предпочитал работать без перерывов на молитву.

На следующий день, с рассвета, как и обещал Сайдулло, началась наша мужская работа. С помощью ослика мы доставляли камни к намеченному месту и старались как можно надежнее укрепить их на склоне. Работали мы часов шесть, пока солнце грело еще милосердно. Потом ушли обедать. Впервые я сидел, скрестив ноги, рядом с Сайдулло под уже знакомой смоковницей возле низенького столика и ел то же, что и он — рассыпчатый шафранный рис с кусочками баранины, помидорами и сладким перцем.

Если в работе я почти не отставал от него, то за едой, как ни старался, управляться без ложки и вилки, было трудновато. Периодически из-за двери на женскую половину, немного приотворенной, доносился сдавленный детский смех. Дурханый, как всегда, тайком наблюдала за мной. Ее интерес к голубоглазому шурави не угасал. Я был ее постоянным развлечением. Теперь ее смешило, как неловко я управляюсь со своими собственными пальцами.

Потом жена Сайдулло принесла блюдо с мелким виноградом сорта кишмиш, два чайника с зеленым чаем, две лепешки, сушеный урюк. Очень нескоро я смог увидеть ее лицо. Шесть лет она так и оставалась для меня только тихим приятным голосом и теплыми ореховыми глазами.

После дневного сна в моей прохладной пещере мы с хозяином продолжили наши труды. Когда вечером, возвращаясь в кишлак, я оглянулся на сделанное, то увидел ровный длинный ряд камней, плотно пригнанных друг к другу. Еще утром они валялись каждый сам по себе, не догадываясь, что очень скоро

мы изменим их судьбу, дадим их существованию, как любил говорить мой дед Гаврилка, новый смысл. Чувство удовлетворения от сделанной работы уравновесило усталость. Все тело приятно ныло, а шрамы на спине даже побаливали и зудели. Так и хотелось почесаться спиной о какое-нибудь дерево или скалу. А лучше всего похлестать бы себя березовым веничком в парилке.

Неужели эта простая и такая привычная раньше радость навсегда ушла из моей жизни? Согласен заменить ее обычным контрастным душем. Да хотя бы таким, какой был у нас на точке — от спецмашины на базе Газ-66. Какое счастье было после недели, а то и двух, вымыться под горячим душем. А иногда мы даже делали баню — просто в палатке. Вносили внутрь раскаленные на костре камни и поливали их горячей водичкой. А в Бамиане парились в бане, сделанной из фюзеляжа сбитого духами самолета. Но в кишлаке ничего похожего на баню не было.

Все мылись в тазах с очень небольшим количеством воды. Хотя умывались довольно часто — руки, лицо. А женщины, как мне стало известно намного позже, совершали интимный туалет после каждой близости. Оставалась, правда, река. Но в ее ледяную купель можно было окунуться только на несколько мгновений. Пока я не рисковал этого делать. Подхватить здесь воспаление легких — значило просто погибнуть. Тут уж никакая мазь заменить антибиотики не смогла бы. Бесконечно испытывать судьбу не годится. Свой лимит, судя по всему, я пока исчерпал.

Место нашей дневной работы еще освещалось опускающимся в седловину солнцем, а кишлак уже накрыла тень от горы. Прямо на глазах граница тьмы и света двигалась нам навстречу. И, наконец, мы тоже оказались в тени, хотя еще недавние наши следы все еще четко выделялись на солнце — в горячей и серой пыли. По кривой глухой улочке без единого окошка наружу мы проходили в густом сумраке. Сердце сжалось оттого, что я, возможно, больше никогда не увижу сияющие окна и невысокие сквозные заборы моей родной Блони. Только теперь ощутил, как глубоко сидит во мне привычка к открытой, доступной всем взглядам жизни.

Первое время я никак не мог понять, что же они прячут за своими глиняными дувалами: ведь у всех все одно и то же. Но позднее склонился к мысли, что, видимо, бесприютность и враждебность пространства — беспощадное солнце, пыльные бури — требовали прежде всего постоянной психологической защиты, чего-то маленького и абсолютно своего. Кстати, дувал, эта простая глинобитная стенка, не так проста — от снаряда остается на ней только небольшая вмятина.

8

Под смоковницей во внутреннем дворике Сайдулло горел масляный светильник, а на низком столике ждала простокваша с зеленью — блюдо почти белорусское. Потом появились те же помидоры, творожный солоноватый сыр. То ли овечий, то ли козий. И, конечно же, лепешки с горячим зеленым чаем и темными крупными смоквами. От усталости есть не очень хотелось, но, к счастью, простоквашу не пришлось хлебать горстями — оказались в наличии даже ложки. Кстати, тоже из солдатской столовой.

Хотя солнце только что село, холод уже властно струился по теплым камням внутреннего дворика. К концу трапезы я даже немного озяб. Так что горячий чай оказался кстати. Забыл упомянуть, что перед принятием пищи Сайдулло каждый раз молитвенно складывал руки и произносил скороговоркой положенные и привычные слова. Я тоже делал паузу и, невольно подра-

жая ему, что-то проборматывал. Типа «иже еси на небеси хлеб наш насущный даждь нам днесь». Эту молитву бабушка Регина повторяла так часто, что она отпечаталась в моем мозгу навечно. Сайдулло отнесся к моим молитвенным попыткам явно одобрительно.

Со слипающимися глазами я вышел после ужина на улочку кишлака, где царил уже абсолютный мрак. Зато звезды сияли так пылко и страстно, как будто их томило неизбывное любовное чувство к нашей Земле. Вспомнились строки одного молодого поэта, который выступал у нас в школе: «Вербы в небо забросили сети. Нынче крупные ловятся звезды. Что-то манит их к нашей планете через все миллиардные версты». А может, это только мы тянемся к их далекой и загадочной красоте? Хотя, скорее всего, наше тяготенье взаимно.

Вспомнилась дорогая соседка Аннушка, тот вечер в моем штабе на сосне, звездное сияние ее глаз, мои скромные — по сегодняшним меркам — желания. Вспомнилась и та последняя встреча в родной Блони, когда она, уже на сносях, с темными пятнами на отчужденном лице, шла из магазина с кульком пряников и, никого не стесняясь, жевала их прямо на ходу. Она бесстрастно кивнула мне, как случайному, совсем чужому человеку, и тотчас затворила за собой высокую калитку.

Почему-то это очень обидело тогда. Хотя, конечно, ей уже было не до меня. Да и едва ли она помнила, что когда-то именно со мной простаивала у этой калитки часами. Разлучал нас обычно только громкий голос ее матери: «Аня! Наши все дома! Дверь запираем!» Тогда она протягивала свою ладошку. Я сжимал ее между своих ладоней и какое-то время держал на весу, пока очередное мамино «Аннушка!» не разлучало нас окончательно.

На проводы в армию моя соседка не пришла. Можно сказать, по уважительной причине — находилась в роддоме. Но если бы и была дома, то все равно бы не появилась. Какие тут проводы с таким животом — деревне хватило бы разговоров на полгода. Потом, еще в карантине под Витебском, получил письмо от мамы, где она упомянула, что соседка наша родила сына и назвала его Глебом. Теперь по деревне пошли досужие разговоры. «Сын, напиши мне четко и ясно — это твой ребенок?»

Ах, мама, мама… Ну что ты такое спрашиваешь? Ведь всем давно известно, что ребенок от Мырмыра. Аннушка сама мне сказала, что скоро выходит за него замуж. Правда, особого счастья на ее лице не заметил. Наш Мырмыр пристроил ее после поступления в пединститут на квартиру к своей тетке. Ну а там, видимо, все получилось само собой. Тем более, что говорить наш учитель мог. А слушать мужские речи Аннушка всегда любила. Но замужество отчего-то не состоялось. Учебу тоже пришлось прервать. Впрочем, как и мне.

По новому приказу министра обороны, лишались отсрочки от призыва студенты вузов без военной кафедры. Зато последнюю сессию — прошли призывную комиссию пятеро — мы сдавали классно: всем, кого забирали служить, слова не давали сказать и тут же требовали зачетку, чтобы поставить «отл». Жали на прощанье руку, говорили, что после армии обязательно ждут нас обратно. Да еще и повышенную стипендию дали за лето.

Когда я протянул матери неожиданные деньги и показал повестку, она бессильно опустилась на лавку: «Как же так? Ведь ты студент? Да и один сын, без отца растила. Завтра же поеду в военкомат, добьюсь, чтобы тебя оставили! Думают, что если одна мать, так и некому ребенка защитить? Я им покажу! Своих-то сыночков порассовали куда надо, попрятали от армии! А ты, серая скотинка, отдувайся за них! Сволота! Жиреете на нашей крови! Нет на вас Сталина!»

Столько неожиданного ожесточения было в ее голосе и словах, что я даже растерялся. Я увидел свою мать словно впервые. Имя Сталина от нее тоже никогда не слышал. Тем более Сталина-заступника, вершителя высшей справедливости.

С большим трудом удалось немного успокоить маму. Как же буду глядеть в глаза своим однокурсникам и преподавателям после того, как товарищи уйдут служить, а я останусь? Да и ребенок-то — без малого метр девяносто! В конце концов, ведь кто-то должен идти в армию, защищать интересы страны, обеспечивать мирную жизнь. Хотя бы за тех, кого попрятали. Ведь мы кто с тобой, мама? Мы ведь с тобой и есть тот самый народ, на котором всегда все держится. Неужели хочешь, чтобы и про меня говорили: мамка от армии отбила! Под мамкину юбку спрятался!

Мать ночь не спала, слышал, как она несколько раз вставала, принимала успокоительное, плакала, но утром все же никуда не поехала.

Я, вообще-то, сразу хотел поступать в БГУ, там и военная кафедра была. Но дорогая соседка Аннушка поступала в педагогический — туда уговорил ее подать документы наш Мырмыр. Мол, там у него знакомство. Ну и я потянулся за ней. Думал, что в новой студенческой жизни станем еще ближе и неразлучней. Конечно, поступил не по-мужски. Первым делом самолеты, а девушки потом. Какой бы ни была девушка, для мужчины важнее дело, которым он будет заниматься в жизни. А к человеку, занятому настоящим делом, самые лучшие девушки проходу не дают.

Оказалось, что влияния нашего школьного учителя хватило только на то, чтобы с трудом пропихнуть мою соседку на вечернее отделение. На дневное ей не хватило двух баллов. К девушкам на экзаменах в пединститут относились строже, чем к парням, — те были на вес золота. Пять-шесть человек на сотню. В итоге получилось, что видеться с ней мы стали очень редко — только в выходные и на праздники в той же родной Блони.

Я чувствовал, как с каждым разом мы отдаляемся. Кроме учебы она еще и работала в детском саду нянечкой. Ах, Аннушка, Аннушка, первая моя любовь. Тогда в учебке меня почему-то обрадовало, что Аннушка назвала сына моим именем. Это как-то утешало и давало пусть маленькую, но все же надежду. Мне казалось, что впоследствии смогу полюбить и ее сына. А на что мне надеяться теперь?

Я обогнул дувал хозяина и начал осторожно подниматься по тропке в гору. Глаза уже немного привыкли к темноте. То, что кишлак полностью растворился во мраке, казалось мне чем-то неестественным, неправильным. Помню, что именно этот мрак под крылом самолета, сменивший веселую россыпь огней на таджикской стороне, вызвал первое беспокойство и пока еще скрытую тревогу. Возможно, даже страх. Этот огромный массив темноты внизу грозил поглотить и наш транспортный самолет, и те сотни молодых жизней, равнодушно уносимых им во мрак неизвестности.

Редкие огоньки на земле появились снова только на подлете к Кабулу, перед самой посадкой. Сразу стало немного легче, и страх перед неизвестностью отступил. Теперь, стоя над темнотой, сгустившейся до предела над кишлаком, трудно было поверить, что там теплится какая-то жизнь. Мрак и тишина были абсолютны, и если бы не редкий собачий лай, то ничто не выдавало бы таящуюся в кромешной тьме жизнь.

Там в полном мраке мужья привычно обнимали жен, чтобы очевидный и единственный смысл жизни являл себя со временем свету. Цель жизни — сохранение рода. А в чем смысл того же рода, человеческого присутствия

на Земле? Немного смысла находил в жизни и сам Мухаммед: «Знайте, что жизнь ближайшая — забава и игра, и красование и похвальба среди вас, и состязание во множестве имущества и детей…» Неужели этим смыслом и готов удовольствоваться всемогущий мировой разум? Творец бесчисленных миров и обитателей их.

Телевизор в кишлаке был только у муллы, но пока не работал — нуждался в спутниковой антенне. Но на нее требовались большие по местным меркам деньги. Хитрый мулла потихоньку зомбировал своих правоверных, чтобы они сами пришли к мысли, что спутниковая антенна — дело, угодное Аллаху. Хотя телевизор, конечно, зло. Но ведь нам не нужны развратные фильмы. Ведь Аллах, милостивый, милосердный, желает, чтобы верующие могли видеть все мусульманские святыни, а главное — священный камень в Мекке, Каабу. Ведь не у всех есть средства на хадж, обязательный для каждого верующего. Раньше или позже, но тот должен его совершить. Иначе не удастся отсечь греховный хвост и попасть в райские кущи с гуриями.

У некоторых крестьян были батарейные приемники, японские магнитофоны. Первое время в этой стране бросалась в глаза непривычная для нас картина: пара волов волочит соху, кое-как ковыряющую землю, а рядом с крохотным полем на большом камне стоит роскошный японский кассетник и выдает тягучие, знойные мелодии. Так встречались здесь век четырнадцатый и двадцатый. В Союзе за умопомрачительно дешевый здесь видеомагнитофон можно было купить квартиру. Некоторые офицеры активно занимались таким бизнесом. Особенно из так называемых советников. Зарплаты были у них приличные.

Из отверстия моей пещеры — вот и стал я тоже собственником — шел живой, теплый и такой деревенский, привычный с детства запах. Именно деревенские запахи примиряли меня с этим все еще чужим для глаз миром. Я думаю, что если бы потерял зрение, то мне было бы намного легче. Даже в жилище Сайдулло сразу почудился тоже очень знакомый запах. Это оказался тонкий запах коровьего навоза, который добавляют в глину, когда делают пол. Этот запах отпугивает насекомых.

Вообще, коровьи лепешки здесь большая ценность, так как идут не только на строительство и удобрение, но и на топливо. А сколько этого добра пропадало у нас. Вот бы подбить Ахмада на поставку наших лепешек в Афганистан. Тут бы у них скоро возник рай на земле. Использовали их и как лекарство — свежие — при радикулитах. Коровья моча тоже была в списке лекарственных препаратов. В ней купали детей, лечили многочисленные кожные болезни.

В общем, в этом чистом и экологически сбалансированном мире ничего не пропадало, а постоянно превращалось в спасительную противоположность. Простота этой жизни невольно успокаивала человека. Время ускорялось и исчезало незаметно и безболезненно. Если бы я не делал, как Робинзон на своем острове, отметки недель, а потом только месяцев, то сразу и не смог бы сказать, сколько времени тут нахожусь и какое сегодня число.

Успокаиваясь, человек акцентировался только на самом главном: рождении, работе, смерти. И все это оказывалось Аллахом. Он-то и являлся, в конце концов, хранителем этого незыблемого покоя. Аллах — гарант того, что все существующее разумно. Поскольку существует. Даже при моем еще очень небольшом знакомстве с философией я находил, что Аллах, несомненно, похож на Гегеля. Или Гегель со своим мировым разумом — на Аллаха.

Уже настоящий холод, опускающийся с высоты, заставил прервать размышления и поторопиться. Почуяв своего соседа, который иногда баловал их каким-нибудь деликатесом, овцы поприветствовали меня обычным и немного ленивым блеянием. Шах ткнулся мордой в живот. Видимо, учуял запах плова. Я принес гостинец и для него. Сайдулло передал несколько больших костей и для верного Шаха.

До сих пор помню состояние того вечера: блаженно усталый после рабочего дня, сытый, со вкусом инжира во рту, со слипающимися глазами, стоящий в глухой, плотной, как черный бархат ночи, под торжественно-звездным небом. Полный мрак настоящего и все-таки успокоительный, обнадеживающий свет сверху. Свет будущего. Которое обязательно станет когда-нибудь радостным настоящим. Без твердой веры в это я бы просто погиб.

На следующий день после первой мужской работы меня ломало и корежило. Кажется, болели все мышцы. Каждое движение давалось с трудом. Хорошо, что Сайдулло заметил мое состояние и не подгонял. А может, и сам тоже был не в лучшей форме после вчерашних подвигов. Но через пару дней мышцы перестали болеть. Через недельку я уже втянулся, привык к возрастающим нагрузкам, явно окреп. А еще через две недели начали приходить соседи — посмотреть, как тружусь на своего хозяина.

«Да уж если работать, так работать! — любил повторять мой дед Гаврилка. — А так, чтобы только делать вид, как некоторые, — лучше и не браться». Но для меня работа стала еще и спасением. Она оказалась наркотиком посильнее, чем самокрутки Сайдулло. Я доводил себя до изнеможения, чтобы ни о чем не думать, а потом только есть и спать. Тем более что дни летели тогда один за другим, и времени для праздных и болезненных размышлений не оставалось.

После нескольких визитов заинтересованных и, конечно, седобородых наблюдателей, когда Сайдулло для вида покрикивал на меня и командовал, что делать и как, а я суетливо подыгрывал ему с подобострастной улыбкой, тут же бросаясь выполнять указания, по кишлаку пошли завистливые разговоры и пересуды о том, что Сайдулло — настоящий тиран. Оказывается, вот для чего он так старательно выхаживал этого несчастного шурави. Теперь он выжимает из него все соки. От парня остались только его голубые глаза. Да и те скоро растворятся в небесах. Сайдулло хочет убить его работой. Вот вам добряк и бессребреник. Как долго мы не подозревали о его подлинной и подлой сущности. Теперь он того и гляди просто озолотится.

Когда эти слухи, подправленные десятками языков, доходили до моего командира и повелителя, который только для вида становился иногда сержантом Гусевым, тот довольно улыбался. Каким бы он ни оказался тираном и деспотом, но, обретя собственного раба или просто бесплатного помощника по хозяйству, хозяин мой сразу поднялся на несколько ступенек по социальной лестнице. Рабовладельца-тирана стали приглашать на собрания старейшин кишлака Дундуз, где он пока благоразумно помалкивал и только солидно поддакивал самым седобородым и влиятельным.

Началась и незаметно пролетела зима — жымай. Общее с нашей зимой — только в созвучии. А на самом деле она оказалась похожей на нашу слякотную осень. Дожди шли почти каждый день. Когда выдавались погожие деньки, мы с хозяином продолжали обустраивать новое поле. Теперь возили туда на ослике землю. Много сил отняли у меня ямы для плодовых деревьев, которые

долбил в каменистом грунте. Вот сюда бы экскаватор. Пару раз черпанул ковшом — и порядок. Только теперь я оценил, как облегчила жизнь крестьянина техника. Но экскаватору здесь было бы не повернуться: ширина нашего четырехступенчатого поля была немногим больше одного метра, а иногда доходила всего до двух ступней. Оно шло, послушно огибая базальтовые выступы и самые большие валуны. Но все же поле получилось самым большим из всех, что принадлежали моему хозяину и которые он создавал в одиночку. Да, на таких полях с комбайном нечего делать. Все работы производятся вручную — мотыгами и серпами. Такой бабушкин серп с деревянной полусгнившей ручкой, помню, ржавел в сарае, воткнутый одним концом в стену.

Мы трудились почти два месяца, чтобы создать поле размером в полторы сотки. С одним рабом здесь не разбогатеешь. Правда, семьи у всех большие и дети с ранних лет приучены помогать взрослым. Но учитывая, что снимают здесь как минимум по два урожая в год, можно соотнести новое поле с нашими тремя сотками. Это как бабушкин огород перед домом, где она выращивала огурцы и помидоры, морковку и свеклу.

С наступлением зимы в пещере стало сыровато, но я уже привык к своему жилищу, где был самый главный — после Шаха, — и перебираться в темную конурку одной из пристроек дома Сайдулло не согласился. После этого мне выделили жаровню. Но я ей тоже редко пользовался. Тепла от моих мохнатых и блеющих соседей вполне хватало. Чтобы оно не выветривалось, проем в пещеру я закрывал сплетенной из тростника циновкой. Освоил я это ремесло с помощью хозяина.

А моя целительница, Маймуна-ханум, оказывается, умела ткать и настоящие ковры. Какая же это кропотливая и требующая огромного терпения работа! На ковер уходил у нее почти целый год. Но зато глаз от него было не оторвать, и ковру этому жить предстояло столетия. В доме Сайдулло висело на стенах даже несколько ковров работы его прабабки. Он говорил, что в случае крайней нужды всегда может продать их за большие деньги. Правда, сейчас с богатыми туристами плохо. Так что лучше до крайней нужды дело не доводить. Со временем Сайдулло нравился мне все больше и больше, особенно его тонкий, ненавязчивый юмор, выдающий доброго и мудрого человека.

Когда погода портилась окончательно и только скот радовался свежей зелени, — присматривал за ним в основном Ахмад, — Сайдулло присаживался за свой гончарный круг. Большой запас глины был у него в яме под стеной заднего двора. Он размачивал ее и уверенно шлепал бесформенный кусок на вращающийся с помощью ноги небольшой круглый столик. Я с интересом наблюдал, как из этого невзрачного куска вскоре возникал изящный кувшин или небольшая пиала. Как и все старые ремесла, гончарное дело держалось тоже благодаря туристам, и сейчас, во время войны, понемногу начало угасать. Видя мой живой интерес, Сайдулло охотно уступал мне свое место. Проводил небольшой инструктаж, показывал что и как, поправлял, подсказывал. И через какое-то время я держал в руках свое первое глиняное творение — небольшую вазу.

Податливость влажной и приятной для ладони глины постоянно вызывала желание что-нибудь из нее делать. Я вылепил для Дурханый ослика, барашка, двугорбого «велблуда» и даже самолет, который потом забрал себе Ахмад, — мол, это игрушка не для девочки. «А может, она станет стюардессой?» — возразил я Ахмаду. «Кем, кем?» — удивился паренек неслыханному слову. Пришлось потратить много времени, чтобы растолковать, что

это такое. Но поверить, что есть женщины, которые ходят внутри летящего самолета и обслуживают пассажиров, Ахмад все-таки не смог. А уж тем более такой женщиной никогда не сможет быть его сестра. Потому, что муж не разрешит ей ходить в небе среди чужих мужчин. Дурханый слушала нас, широко распахнув свои светло-ореховые и подведенные сурьмой глаза. В этот момент она тоже казалась глиной, из которой жизнь может вылепить все что угодно. Если, конечно, будет на то воля Аллаха — милостивого, милосердного.

Видимо, податливость глины и подсказала Господу тот материал, из которого легче всего вылепить даже человека. Можно сказать, что всевышний тоже пошел по пути наименьшего сопротивления. Тем более что и образец не стал долго искать, а просто вылепил по своему образу и подобию. Так какие у него после этого могут быть претензии к человеку? Все наши недостатки — это и его недостатки тоже.

А что такое глина? Это всего лишь бывший камень, что прошел через горнило времени, стал песком, а потом и глиной, чтобы снова в человеческих руках и с помощью воды да огня — первичных стихий — вернуть себе бывшую твердость, горделиво посягающую на вечность. Но что остается от этих претензий? Только груды черепков. Как и от всех претензий вообще.

Копая землю в долине около реки, я тоже натыкался на россыпи самых разнообразных глиняных обломков. Некоторые были даже цветными. Я показывал их Сайдулло. Да, подтверждал он, здесь этого добра хватает, только копни. Раньше он возил их на базар, продавал по дешевке туристам. После этих своих геологических находок, у меня возникла мысль более основательно исследовать этот участок, точно обозначив границы, где попадаются черепки. Хотя там, возможно, могла находиться просто свалка битой посуды.

Я невольно вспомнил о выдающемся открытии Виктора Сарианиди, раскопавшего Тилля-тепе — золотой холм. Жаль, что за время службы я ни разу не попадал в те места. Хотя, когда сказали, что нас посылают в Афганистан, я все-таки надеялся побывать на этом знаменитом холме. Пока же побывал в Бамиане и видел вырубленные в скале еще целые статуи Будды величиной с двадцатиэтажный дом. Когда постоял у такой фигуры возносящегося и подавляющего тебя гиганта — голова на уровне щиколотки, — то невольно почувствовал себя маленькой и бесправной песчинкой, удел которой — смиренное повиновение. Как небесным, так и всегда более могущественным земным владыкам.

Теперь, говорят, талибы взорвали эти статуи. Так как они против всякого идолопоклонства. Библия тоже против, но талибы гораздо принципиальнее в этом вопросе. Да и сам Мухаммед, завещавший похоронить себя на том месте, где прервутся его дни, высказывался радикально: «Проклят народ, который поклоняется могилам пророков!» Да и классики марксизма тоже высказывались в этом плане: «Меньше бы нас почитали, а больше бы читали!» Но почитать, постоянно примыкая к большинству, гораздо проще, чем самому в чем-нибудь разобраться. Да если бы наш Ленин знал, что его тело превратят в мощи новой религии, то призадумался бы: а стоит ли класть жизнь ради блага тупой и невежественной толпы? Толпа никогда ничего не хочет читать, а только жрать, размножаться и поклоняться идолам, периодически сбрасывая с постаментов одних и тут же водружая других. Сегодня она поклоняется Перуну, завтра Христу, а послезавтра автомобилю и доллару.

Возвращаясь к Мухаммеду, добавлю, что кровать, на которой скончался пророк, отодвинули и на ее месте выкопали могилу с боковой нишей. Ночью туда поместили тело, могилу засыпали и пол в комнате выровняли. Правда,

теперь на месте смерти Мухаммеда большая чудесная мечеть. Со временем религиозный смысл выветривается из гробниц и величественных изваяний. Они перестают быть идолами и остаются только памятниками культуры, образцами человеческих свершений.

Перебирая черепки, которые хранил в дальнем углу пещеры, я с грустью думал, что вот еще одна моя юношеская мечта уже никогда не найдет дороги к воплощению. Слава великого археолога меня явно обошла. Пора прощаться с фантазиями, пора прочно врастать в простую и единственную реальность — ту, которая доступна тебе сегодня. Да, Халеб, надо взрослеть. Ведь если трезво взглянуть на то, что с тобой произошло, то можно сказать, что все не так уж плохо.

Вместо желанного погружения в бумажную и призрачную историю, с постоянным и спасительным возвращением в комфортное настоящее, жизнь дала тебе неожиданное и глубокое погружение в абсолютно незнакомую реальность. Погружение рискованное. Но кто как не ты любил пылко повторять на студенческих диспутах, что «жизнь не засчитана, если без риска»! Вот тебе и риск, и засчитанная, подлинная твоя жизнь домашнего раба.

Такое впечатление, что кто-то коварный постоянно прислушивается к нашим словам и дает нам все, о чем мы бездумно говорим, не представляя себе полного текста, из которого вырваны наши просьбы и пожелания. А когда нас вместе с этими словами возвращают на ту же самую страницу, мы готовы на все, чтобы вернуться в привычный мир, из которого нас так неожиданно вырвали.

Но все же, так или иначе, из двадцатого европейского века ты пока успешно добрался до четырнадцатого азиатского. Видимо, в этом путешествии во времени тоже есть какой-то смысл, который, возможно, в скором будущем откроется и самому путешественнику. А может, так и останется сокрытым. В том и другом случае ты примериваешь на себя совсем чужую жизнь. В сущности, твое желание проникнуть в глубины неизведанного, давно исчезнувшего времени исполнено нынче в гораздо большей степени, чем предположить в состоянии юношеской и самоуверенной близорукости.

9

Мой первый праздник на этой земле — навруз. Праздник весны, радости и любви, равенства и нравственной чистоты. Подготовка к нему начинается за месяц. Ему предшествуют четыре вторника — вторник на воде, вторник на огне, вторник на земле и последний вторник. Именно в эти вторники и обновлялись вода, огонь, земля. А в последний вторник — распускались почки деревьев, и наступала весна, а с ней и начало трудов земледельца. Именно навруз неожиданно открыл мне, что жители нашего кишлака могут не только работать не покладая рук, завистливо сплетничать, но и отдыхать после тяжелых трудов, по-настоящему радоваться жизни.

Все население от мала до велика высыпало наружу, и оказалось, что в этих игрушечных глиняных домиках-кубиках помещается огромное количество народа, особенно детей. Их веселый гомон озвучил мартовский день весеннего равноденствия нотами счастья и чистой, беззаботной радости. Ведь чем веселее и радостнее он пройдет, тем щедрее будет к людям природа, тем большие урожаи созреют на их полях. Навруз действительно оказался праздником добрых мыслей, добрых слов и деяний. Все одевали чистые одежды и ходили друг к другу в гости. Юноши соревновались в беге, в метании камней.

Девушки собирали букеты из тюльпанов. Молодые мужчины катали валуны, боролись. Хороши были и седобородые старики, рискнувшие прыгнуть через костер. Некоторых огонь дерзко хватал за бороды, — ему все можно! — но грехи, смеялись лихие и жизнерадостные старцы, грехи все тоже сгорели.

Столько неожиданно детского обнаруживалось в этих суровых на первый взгляд людях. Да ведь и жестокость, с которой они часто решают свои проблемы, тоже, по сути, детская. Так же как и обидчивость. В душе каждого человека, живущего в этом первозданном пространстве между горами и небом, прописаны чистые и наивные — то есть с нашей точки зрения просто примитивные — законы человеческого общежития. Глаза этих людей светятся искренним дружелюбием, живым интересом к другому человеку. Своему случайному гостю пуштун-дуррани отдаст последнюю лепешку. Пока гость в его доме, с ним ничего не может случиться, он под надежной защитой хозяина.

Я не принимал активного участия в этом празднике, но внимательно следил за ним. На душе становилось теплее. Тем более, что Дурханый принесла мне утром чистую белую рубаху, которую надел после того, как старательно умылся и пригладил свои волосы и небольшую русую бородку. Чувствуя себя чуть ли не франтом, я смело разглядывал молоденьких девушек. И даже позволил себе улыбнуться дочке нашего соседа Вали. Но она стыдливо опустила голову и, хромая, прошла мимо. Я последний раз видел ее гордое и красивое лицо — вскоре после праздника ей исполнилось четырнадцать лет, и она тоже надела чадру.

А вечером в доме хозяина зажгли шесть свечей — по числу членов семьи. Я был растроган тем, что свечу зажгли и для меня. Потом мы отведали круглые, как солнце, ритуальные лепешки из разных злаков, кушанье из пшеничных проростков и хафт мива — компот из семи видов сухофруктов. Такого вкусного компота мне не доводилось пить даже дома. Обрадовало, что слово компот оказалось для наших языков общим. Но все-таки впервые оно появилось, конечно, у них — там, где обилие сухофруктов. Фрукты здесь могли высохнуть даже на дереве. Тогда как нашим оставалось только сгнить.

Вечером, в конце небольшого праздничного застолья, Сайдулло торжественно произнес главную заповедь навруза: «Так будем же говорить только добрые слова, совершать только благие дела, думать только о хорошем, и тогда Добро обязательно восторжествует над злом!» Да, этот праздник еще раз подтверждал, что человек всегда стремится быть лучше, чем он есть. Но виновен ли он в том, что это не всегда у него получается?

Растроганный почти до слез, я уносил с собой в пещеру трехлитровый глиняный кувшин компота — почти такой, что висел на заборе в нашей Блони. Под мышкой прижимал несколько лепешек, а в левой руке все еще горящую самодельную восковую свечу. Пламя колебалось из стороны в сторону, но горело уверенно и сильно. Ведь его отец-солнце снова победил тьму и начал свой обновленный путь. Хотя я был немного в стороне от общего веселья, но все же ощущение праздника надолго осталось и во мне. В нем было что-то от Нового года в детстве, с доверчивым ожиданием Деда Мороза и его подарков.

Свеча еще долго горела на камне у изголовья, служившем мне тумбочкой, и тревожила моих соседей. Блики света выхватывали из темноты то один, то другой угол пещеры. Шах, быстро похрустев своей лепешкой, опустил голову на лапы и спокойно следил за колеблющимся светом. После сегодняшнего праздника, где люди от души радовались жизни и заражали этой радостью и меня, совсем чужого им человека, мне было особенно одиноко в привычном убежище.

Невольно думалось о красавице-хромоножке, о том, что и ее не захлестнуло высокой волной всеобщей радости, что и она тоже была немного в сторонке. А теперь, возможно, как и я, мается без сна на твердом и одиноком ложе. Но если жениться на ней, осуществив тайное желание нашего соседа Вали, то это значит, что надо навсегда забыть о своей родине, о матери, о бабушке и навсегда проститься с тем миром, в котором я родился и вырос.

Спалось в ту ночь беспокойно. Снились жаркие ласки, поцелуи, но лица женщин расплывались, перетекали из одного в другое, а потом и вовсе скрывались за черной чадрой. Только их тела, красивые, сильные и молодые, готовые дарить любовь, влекли к себе неудержимо. Проснувшись и допив компот, я подумал, что с этим напитком надо вести себя осторожнее. А то скоро можешь оказаться так повязанным по рукам и ногам, что ни о какой родине и вспоминать не захочется.

После навруза начались весенние крестьянские хлопоты, мало чем отличающиеся в любой части огромной земли. Вставали мы с Сайдулло на рассвете, пару часов отдыхали после обеда, а потом снова тянулись на лоскутные ступенчатые поля. В конце рабочего дня сил хватало только на то, чтобы с трудом донести мотыгу и наскоро проглотить ужин в компании с тоже уставшим и молчаливым Сайдулло. Потом оставалось совершить еще одно, последнее и самое трудное усилие — подняться в темноте по крутой тропке в свое убежище. Засыпалось сразу и спалось без сновидений, пока не раздавался хриплый голос хозяина, уже совершившего намаз и готового к новым трудам.

Начинался новый день, снова мотыга, зной, снова пот, заливающий глаза. Жизнь стремительно катилась почти без какого-либо личного участия. Казалось, что не я живу, а меня живут. Только непонятно кто и зачем. Я стал просто маленькой шестеренкой в отлаженном веками механизме. Простой временной приставкой к вечному полю и такой же вечной мотыге. И этой приставке было иногда хорошо, но очень часто — грустно. У Сайдулло был смысл так самоотверженно трудиться — во имя любимой жены и детей. Мне этого смысла не хватало. Я понимал поколение наших отцов и дедов, которые героическим напряжением всех сил сумели за десятилетие пройти путь, на который другим странам понадобились столетия. Ведь у них был смысл, ради чего они так трудятся. Но мне в моей работе не хватало именно смысла — как бы я ни работал, все равно останусь рабом. А работа раба не дает ему самого главного в жизни — счастья созидания.

Зато, когда окончилась посевная страда, краткие часы досуга казались невыразимым и огромным счастьем. Тогда я снова любовался миром, куда попал, его дикой, первозданной природой, являющей свою мощь и гордую красоту. Но тогда оживали и мысли. Ведь надо же что-то решать. В таком подвешенном состоянии жить невозможно. Если ты соглашаешься на эту жизнь, неожиданно предложенную тебе поворотом судьбы, то тогда ты должен идти ей навстречу, и жить так, как живут все. Опасно оставаться белой вороной. Но я все еще находился в состоянии ожидания: как будто что-то должно случиться само собой, помимо моей воли, что вдруг снова изменит мою судьбу и решит тем самым все мои проблемы. Я почувствовал, что незаметно начал проникаться восточным мировосприятием, верой в некую предопределенность, рождающую пассивность и готовность принять существующее, каким бы убогим оно ни казалось. Но на то, чтобы выбраться из этой трясины уже ставшего привычным существования, просто не хватало сил. Ни физических, ни душевных.

Видя мое угнетенное состояние, Сайдулло несколько раз протягивал косячок с анашой: «Халеб, попробуй! Помогает жить!» Помню, ребята на заставе в горах тоже покуривали и мне предлагали. Я пару раз затягивался — не пошло. Видно, не мое это. Не нужна мне муть в голове и искусственная радость. Зато каждую свободную минуту я стал посвящать разработке плана побега. Это заметно взбодрило — любая цель прибавляет смысла нашей жизни, а значит, и повышает уровень энергии.

Прежде всего, я не имел представления, где находится наш кишлак Дундуз. Ясно было только, что где-то между Кабулом и Кандагаром. Или судя по мягкому климату, скорее ближе к Джелалабаду.

Помню, как-то в декабре мы рванули из морозного Кабула в Джелалабад — со своего высокогорного плато, где минус двадцать, в теплую цветущую долину. Через пару сотен километров наш взвод оказался в тропическом раю — бананы, апельсины, обезьяны. Одна молоденькая обезьянка даже привязалась к нашему старшему сержанту Гусеву и вернулась потом с нами в Кабул. Какое-то время она скрашивала наш казарменный быт и активно нарушала устав армейской службы. Но нарядов вне очереди, конечно, не получала. К сожалению, она скоро простудилась, начала кашлять, совсем как ребенок, и неожиданно умерла. Не помогли ей и уколы в санчасти, куда носил ее обеспокоенный Гусев. Тогда я впервые видел нашего старшего сержанта со слезами на глазах. Обезьянка не зря выбрала именно его. Видимо, почувствовала, что он не только самый главный, но и добрый. Скорее — сентиментальный. А сентиментальность, как известно, всего лишь отдых грубой души. Но в эти тонкости обезьянка не вникала. Ей вполне хватало отдыхающей души нашего сержанта.

Кстати, именно с расспросов о Джелалабаде и надо начинать. Ведь Сайдулло там долго работал. Расспрашивать в открытую, конечно, нельзя — это может вызвать подозрение. А когда оно появляется, то от него уже просто так не избавиться. Оставалось внимательно и внешне совсем равнодушно прислушиваться к разговорам, выуживать нужную информацию по крупицам.

Вскоре усилия мои дали первые результаты. Ближайшим крупным городом оказался Ургун. До него километров сто двадцать, сорок из них — узкими горными дорогами. Но чтобы добраться до Ургуна, надо было стать таким же, как все, не выделяться ничем — ни одеждой, ни прической, ни внешностью. С этим пока было слабовато. Армейские, выгоревшие почти до белизны, китайские штаны. Чуть живые, разваливающиеся кроссовки. Старая длинная рубаха Сайдулло, солдатская широкополая шляпа песочного цвета. Хватило бы одного взгляда, чтобы определить, что это за фрукт. Но главными предателями были моя русая бородка и голубые глаза. Если бородка могла еще показаться седой, — в конце концов, можно было бы и подкраситься, — то глаза оставалось только выколоть. А что — выдать себя за слепого? Иду, постукивая себе посохом с повязкой на глазах. Но далеко так не уйдешь.

Ну а что в Ургуне? Ведь наши войска держали заставы по периметру огромного круга, максимально приближенного к границам. Но из-за сложного рельефа местности удавалось задерживать только пятую часть караванов с оружием и снаряжением. В самом Ургуне наших могло и не оказаться. Оставался Кабул или Кандагар. Добраться до них было не легче, чем до Луны. Но потом пришло в голову, что не нужны мне никакие города. Только бы наткнуться на какую-нибудь большую дорогу. А на ней, конечно, пусть себе и редко, все же иногда появляется наш транспорт. Я залягу неподалеку от трассы и дождусь появления спасительной колонны.

Некоторое время я был очень доволен своим простым решением, но потом понял, что и оно не идеально. Все дело в пыли, которую поднимает даже одна машина. Целые облака пыли еще издалека выдавали наше приближение. А разглядеть в этом облаке, кто передвигается, практически невозможно. Также и меня, глотающего пыль на обочине, никто не увидит. Тогда оставалось караулить на каком-нибудь извилистом и каменистом участке дороги. Но неожиданное появление такой необычной фигуры, как я, могло вызвать просто рефлекторное нажатие курка, и колонна спокойно проследовала бы дальше. К тому же до этой дороги еще надо было добраться.

Чисто теоретически побег возможен. Но требовал очень большой подготовительной работы. И проводить ее надо очень осторожно. После того, как Сайдулло поднял меня на ноги, испытал в работе, убедился, что я для него незаменимый помощник, расставаться со мной по доброй воле он, конечно, не собирался. Видимо, мысли о том, что я могу убежать, тоже навещали моего хозяина. Поэтому он несколько раз, словно ненароком, возвращался к этой теме. Рассказывал неправдоподобно жуткие истории о полумифических пленниках, которые пытались сбежать от своих заботливых хозяев. Одного загрыз барс, другой свалился в трещину на леднике — там и оставили, третьего поймали, посадили в яму и кормили только мясом — умер в страшных мучениях через месяц.

— Так что, Халеб, если такие мысли завелись в твоей голове, то выбрось их сразу. С твоей внешностью дойдешь только до первого перевала, а там уже никто не сможет поручиться за твою жизнь. В лучшем случае тебя пристрелят на месте. Должен понять, что у тебя только единственный выход — честно работать и спокойно ждать моей смерти. Тогда ты получишь заслуженную свободу. И если к тому времени у тебя еще останется желание воспользоваться ею, то никто не будет чинить тебе препятствий в этом.

Перспектива оставаться рабом Сайдулло — пусть даже любимым рабом — еще минимум лет двадцать приводила меня в ужас. Бежать, во что бы то ни стало бежать! Но, конечно, сделать это так, чтобы меня не смогли вернуть. Да и погибать во время побега тоже не хотелось. Ни от барсов, ни от волчьих стай.

Для начала стоило подыскать в окрестностях какое-нибудь убежище, чтобы переждать в нем пару дней, пока будут искать меня особенно активно. Надо также создать запас еды — его можно хранить и в моем жилище. Тех же высушенных лепешек, они могут храниться долго. Хотя создать его не так просто — надо отрывать от самого себя. Нельзя сказать, что я голодал, но кормили меня, как в армии, по норме. Что-нибудь пожевать был всегда не против. Впрочем, так же питался и сам хозяин. Никакого чревоугодия не наблюдалось. Да и во всем кишлаке только мулла обладал избыточным весом. Какое-то пропитание можно добыть и охотой. Или рыбалкой. Но как ловить рыбу на этих сумасшедших реках, пока не представлял. А для той же охоты нужно оружие. Или хотя бы хороший и острый нож.

Задавать Сайдулло вопросы о моем автомате считал неуместным. Тем более, я уже слышал, как его кто-то спрашивал об этом, предлагал купить. Мой хозяин пылко и многословно уверял, что никакого автомата он не видел — слишком с большой высоты падал его шурави. Может, где-то на дереве и висит до сих пор его калашников. Но я-то помнил, что автомат был у меня на ремне и я падал, крепко прижимая его к себе.

Не оказалось в моей растерзанной куртке и документов. Сайдулло не упоминал о них, а я не спрашивал, так как это явно не имело смысла и тоже могло вызвать ненужные и преждевременные подозрения.

С началом летней жары почти всех овец кишлака перегнали выше в горы, где трава только начала зеленеть. На летнем пастбище стояла прокопченная каменная хижина с очагом, дым от которого уходил через дыру в сводчатом куполе. На этом пастбище жители кишлака дежурили по очереди, помогая постоянным пастухам. Отвел меня туда Ахмад, переночевал со мной, а утром отправился обратно. Когда мы добирались до этого летнего пастбища, я старался запомнить каждый поворот, каждый ручей, который переходили по камням. Уже с перевала, на котором явно чувствовалась нехватка кислорода, открывался вид на ярко и свежо зеленеющий далекий склон. Маленькими темными пятнышками далеко внизу угадывались и наши овцы, а на горизонте, как грозовые тучи, стояли горы с ослепительно белыми гребешками вечного снега.

Пожилому пастуху Али помогали два его сына. Один уже взрослый, чернобородый, а другой только на пару лет старше Ахмада. Но основную работу выполняли три огромные кавказские овчарки. Они сразу подошли к нам, деловито обнюхали одежду и мешки с провизией. Мы доставили все, в чем нуждались пастухи. Была там мука, соль, крупы, свежие лепешки, лук, зеленый чай, огурцы, помидоры, свежие абрикосы и даже арбуз. Ослик, который притащил всю эту кладь, стоял спокойно и собак явно не боялся. Он дождался, пока его разгрузили, и тут же принялся щипать свежую и сочную траву. Надо было подкрепиться, ведь обратный путь был у него тоже с поклажей.

Пастухи регулярно отправляли в кишлак овечий сыр, производство которого также входило в их обязанности. Теперь, видимо, и мне предстояло освоить искусство приготовления этого сыра. Но пока нас с Ахмадом ждал ужин, горячий зеленый чай с изюмом и урюком. Мы вышли рано утром, самую жару переждали в прохладной пещере и теперь были готовы к заслуженному отдыху. Уже со слипающимися глазами передавали новости и отвечали на расспросы соскучившихся по дому пастухов. Спали так крепко, что не будил нас ни волчий вой, ни глухой собачий лай. Овцы ночевали недалеко в загоне, сбившись тесной и тревожной массой. Когда лай становился особенно сильным, пастухи периодически выходили наружу с колотушками и поднимали шум, который должен отпугнуть хищников. Тогда мы на мгновенье приоткрывали глаза и снова засыпали.

Утром я проводил немного Ахмада и занялся своим основным, как мне объяснили, делом — заготовкой топлива для очага. Впервые за долгое время оказался в лесу, один, даже с топориком в руках. Никто за мной не следил, я был свободен. Если бы вздумалось убежать, я мог бы это сделать. Эта возможность, несмотря на все предусмотрительные и долгосрочные приготовления, взволновала меня. Соблазн тотчас рвануться в гущу леса — к долгожданной свободе — казался неодолимым. Но единственное, что я позволил себе, была небольшая пробежка. Обливаясь потом, без сил прислонился к могучему кедру. Да, высота, тут особо не побегаешь. Бухало сердце, я хватал воздух ртом. Сколько всего неожиданного сторожит меня в этой чужой стране, где ничто не хочет помогать — даже воздух.

С приличной вязанкой сухих сучьев подошел к жилищу и попал как раз на спектакль, который прямо перед нашими глазами разыграла волчья стая. Атака хищников, спланированная по всем законам партизанской войны — с несколькими отвлекающими маневрами, — закончилась успешным похищением упитанного годовалого барашка.

Когда одураченные овчарки, опомнившись, рванулись за разбойником, забросившим добычу на спину, догнать его уже было невозможно. Тогда старый пастух быстро прилег за камень, не торопясь прицелился из старой

длинной винтовки и сделал один выстрел. Я с удивлением увидел, как волк перевернулся через голову и замер на месте. До него было километра полтора. Даже с оптическим прицелом я не смог бы повторить такой выстрел. Но белого барашка с черной головой спасти не удалось. Его тут же подхватил другой волк, бежавший в небольшой группе за первым.

Али с сожалением показал единственный оставшийся патрон. Удивительной винтовкой оказался тот самый мифический бур, о котором много слышал еще в крепости Бала-гиссар. Но увидел его только сейчас. Я уважительно подержал его в руках — да, с такой тяжестью не побегаешь по горам. Да и зачем? Ее пули достают врага на расстоянии трех-четырех километров. А если к ней еще добавить современный оптический прицел, то ею смог бы пользоваться даже я, человек с обычным, равнинным зрением. В горах я постоянно ошибался с определением расстояния — чистый прозрачный воздух имел иные, непривычные характеристики преломления.

Али попросил меня отнести винтовку в хижину, поставить в углу за дверью. Разглядывая это примитивное жилище, я подумал, что именно оно и смогло бы стать временным прибежищем и помощником в осуществлении самых тайных планов. Месяца через два пастухи его покинут, и тогда это убежище будет в моем полном распоряжении. Но пока старый пастух послал меня со своим младшим сыном — Салемом — за убитым волком.

Салем взял с собой какие-то грязные тряпки и один из прислоненных к стене ореховых шестов. Такие, только потоньше, шли в нашей Блони на удочки для щук. Оглянувшись, я заметил, что старший сын Али заторопился к отаре. Видно, хочет как-то успокоить взволнованных животных.

Как-то так получилось, что я раньше никогда не видел волков вблизи. Даже мертвый зверь внушал опасливое уважение. Пуля вошла ему в левый бок и пробила насквозь. Ручеек крови еще струился через аккуратное выходное отверстие. Ведь это были старинные честные пули, а не подлые сегодняшние, которые, попадая в живое существо, начинают кувыркаться и вырывают на выходе громадную дыру. Попав в человека, такая пуля, изобретенная, кстати, женщиной, может намотать на себя все его кишки и разом вырвать их из тела. Господи, куда движется наш мир, если сегодня даже женщины изощряются в изобретении подобных вещей!

Матерый волчара лежал, вытянувшись в прыжке и оскалив зубы. В мертвом звере чувствовалась устрашающая сила и неукрощенная ярость — шерсть все еще стояла дыбом. Салем привычно окинув взглядом добычу, быстро связал ему лапы жгутами из тех самых грязных тряпок и ловко продел под ними шест. Положив концы прогибающейся жерди на плечи и сразу ощутив приличную тяжесть, мы двинулись в путь, делая передышки каждые метров триста. Оглядываясь, я видел запрокинутую к земле лобастую голову зверя, его широкую могучую шею. Еще час назад он был полон сил и жизни, нес добычу своей самке и волчатам, но маленькая свинцовая пулька сумела остановить его бег, прекратить жизнь. В этом была чудовищная несправедливость, которая всегда присутствует в насильственной смерти любого живого существа.

Когда принесли волка, старший сын уже наполовину спустил шкуру с подвешенного на перекладине молодого барашка. Теперь мне стало ясно, с какой целью он торопился к взволнованным овцам. Хитро улыбаясь, — в его оскале мелькнуло уже что-то знакомое, волчье, — Худодад подмигнул мне и с наигранной печалью сказал: «Какой нехороший этот волк: сразу двух барашков унес!» И сразу засмеялся, уже ничем не маскируя свою радость и предвкушение скорого пиршества. Мне эта неприкрытая радость показалась какой-то нечистой. Я подумал, что сегодня попробуют молодой баранины не только

волки, но и двуногие шакалы. Хотя, с другой стороны, у меня нет никакого права судить этих бедных людей, так надолго оторванных от дома и пытающихся хоть чем-то скрасить свою не очень разнообразную жизнь.

Пока старший сын ловко превратил недавно еще живое и вполне счастливое существо в груду аккуратно нарезанного мяса — его совсем не волновало, что всевидящий Аллах может заметить не совсем благовидный поступок, — мы вместе с младшим помогали Али снять роскошную шкуру с принесенного волка. Видно было, что старый пастух занимался этим делом часто — все движения были точны и выверены, а нож мелькал в его руках без остановки. Однажды мы с дедом Гаврилкой снимали шкуру с теленка. На это у нас ушло полдня. А разговоров потом хватило на неделю. Но сейчас все происходило очень быстро, и эта скорость по-своему впечатляла. Всегда приятно смотреть на человека, который не просто хорошо, но даже артистично выполняет свою работу. Потом так же быстро он протер распластанную на траве шкуру крупной солью и распял на перевязанных жердях. Шкурой вполне можно было укрыться. Или сделать шубу для не очень крупного человека. Для той же Дурханый. Я на мгновенье представил ее с подведенными сурьмой глазами и в роскошной волчьей шубе на фоне сугроба. Прошло всего два дня, как я не видел ее, а уже немного соскучился по прелестной и лукавой мордашке. Подумал, что сестренка Наденька сейчас тоже очень хорошенькая. А когда ей показывают мою фотографию, она, наверное, ее долго рассматривает и мечтательно произносит: «Бра-а-тик!» Неужели я никогда не увижу ее?

10

Окровавленную волчью тушу мы с Салемом на том же шесте отнесли метров на триста от жилища — к оврагу, в который сбрасывали весь мусор, в основном кости. Там ею занялись уже давно рычавшие неподалеку от нас и дыбившие шерсть овчарки. С такой праведной яростью они начали крушить останки обманувшего их врага, что я даже немного задержался возле них. Зрелище оказалось впечатляющее — перехватило дыхание, в животе похолодело. Не знаю, сколько бы я наблюдал это кровавую и завораживающую расправу, если бы не Али. Он несколько раз громко и повелительно крикнул, чтобы я возвращался.

Когда подошел к нему, ожидая, что Али собирается дать какую-нибудь работу, он немного встревоженно объяснил мне, что в таких случаях надо держаться от собак как можно дальше. Если им покажется, что человек претендует на их добычу, то собаки могут наброситься и на него, — такое случается часто. Свежая кровь мутит им разум. А тут еще вдобавок они расправляются со своим вечным врагом-родственником и так заводятся, что уже никого не признают. Еще недавно послушные и ласковые собаки иногда совсем забывают, что должны служить человеку. Они стремительно возвращаются в свое вольное звериное прошлое. Бывает, что после такого пиршества надолго убегают в лес. Проходит несколько дней, пока они успокаиваются и возвращаются. А то случается, что переходят в волчьи стаи, — когда женятся на волчицах. «Однажды, — сказал Али, — я выследил очень хитрого и наглого волка, уложил его, а когда подошел, то узнал в нем своего самого лучшего волкодава. Несколько лет назад его сманила волчица. Прямо из кишлака. Потом выследил и волчицу, нашел ее логово, застрелил, а щенят забрал. Вот они, трое, — кивнул пастух в сторону собак у оврага, — красавцы мои, цены им нет. Но когда гон у волков, я их запираю в кошаре».

Благодаря визиту волчьей стаи и шакальей хитрости Худодада я тоже попробовал, что такое свежее мясо молодого барашка, приготовленное самым древним способом — на крупных, малиново мерцающих углях. Думаю, что такое питание не могло не ускорять эволюцию человеческого рода, явно совершенствуя первоначальный глиняный образец. Вероятно, именно поэтому Аллах глядел на такие людские прегрешения — ради брюха — сквозь пальцы. Ничего вкуснее я никогда не ел — ни до, ни после.

В разгар нашего пира улыбающийся и разговорчивый Худодад плеснул мне в мою небольшую алюминиевую кружку чего-то из своей большой. Я, думая, что это тот же зеленый чай, помогающий справиться с жирным мясом, сделал спокойный и уверенный глоток. Но от обжигающей жидкости чуть не задохнулся. Я надолго закашлялся, а потом непонимающе обвел взглядом окружающих.

Пастухи только весело смеялись. Именно такой реакции они и ожидали. «Шароп! Шароп! — хохотал Худодад. — У своего праведника Сайдулло ты такого не попробуешь!» Шароп — афганский самогон, типа чачи. Старшему сержанту Гусеву иногда доставляли и такой напиток — за какие-то не совсем понятные заслуги. Раз в месяц он позволял себе расслабиться и на краткое время выпустить нас из-под своего железобетонного колпака.

«Вот, смотри!» — Худодад радостно приподнял одной рукой вместительный бурдюк литров на пять, который, оказывается, тоже приехал на нашем ослике, надежно спрятанный в мешке с мукой. Миф о мусульманской трезвости оказался неожиданно поколеблен. Официально, при всех, они, конечно, трезвенники, но в своих домашних компаниях, все же могут себе кое-что позволить. Но тоже вполне умеренно. Пили только Али и Худодад — неторопливо, маленькими глотками. Салему не наливали — и не только потому, что кому-то надо было выходить проверять овец. Не наливали потому, что мал еще. Он не выказывал никакой обиды, а спокойно уничтожал абрикосы и запивал их зеленым чаем.

Сегодня собакам можно было полностью доверять: они разорвали бы на части всех волков, только вздумай они появиться поблизости. Да и волки, видимо, тоже активно дегустировали мясо молодого барашка — ведь охота оказалась удачной. После такого сытного ужина, да еще с шаропом, вволю наговорившись и насмеявшись, пастухи мои спали как убитые. И храпели так, что все волки, вдруг оказавшись поблизости, разбежались бы далеко и надолго.

Быстро разомлев от съеденного, я вначале заснул, не обращая внимания на храп. Но вскоре, ощутив сильную жажду, проснулся. Выпил холодного зеленого чая, подбросил заодно в огонь несколько узловатых суков. Ожившее пламя неожиданно высветило очень простую мысль: уходить надо сейчас. Не медля. Пастухи проснутся, начнут доедать барашка — я ведь всего с собой не унесу, снова промочат горло, снова заснут — у меня в запасе около суток. Да и едва ли они будут меня искать — лишние заботы им не нужны. Пусть сам Сайдулло сторожит своего раба. Хотя кто его знает — ведь они лишаются помощника. Но, так или иначе, в кишлаке узнают о моем исчезновении только через две недели, а за это время…

От волнения заколотилось сердце. Плохо, что я не знаю точно, куда идти. Только очень приблизительное направление — на северо-запад. Но ведь это не прогулка по равнине. Я вспомнил тропу, что сворачивала вправо от основной, по которой пришли сюда с Ахмадом. Ведь она тоже куда-то ведет. Жаль, что не поинтересовался тогда, куда. Никакие другие тропы, кроме ведущих к пастухам, тогда меня не интересовали. Кто ж мог поду-

мать, что всего через сорок восемь часов этот поворот в неизвестность будет меня так волновать.

Я поднялся, решительно высыпал из мешка половину огурцов, положил туда пять лепешек. Помешкав, добавил еще три — муки у них достаточно, испекут себе еще. Туда же опустил свою кружку, от которой все еще разило шаропом, — сивушных масел, видно, в нем хватает. Потом добавил переднюю ногу барашка и часть бока. Огляделся в поисках спичек — их не было. Захватил топорик и, бросив прощальный взгляд на спящих, осторожно вышел. Собаки лежали у двери, через которую и к ним доходило какое-то тепло, — щель под грубо сколоченной дверью была с ладонь величиной. Они лениво приподняли головы и снова опустили. Растерзанный волк вроде не оказал на них дурного влияния — дичать они пока не собирались.

Край неба на восходе начинал розоветь. Утренняя прохлада отдавала хорошим морозцем. Я опустил топорик и мешок на траву, снова осторожно вошел в жилище и снял с гвоздя на двери старый засаленный халат на вате. Когда, отойдя метров на сто от моих беззаботно храпящих хозяев, я влез в него, то почувствовал себя гораздо комфортней и увереннней. С таким халатом никакой мороз не страшен. Хотя первое время, пока не привык, чуть не задыхался от запаха бараньего жира, обильно пропитавшего не только верх, но и цветастую подкладку. «Главное, — довольно усмехнулся я, — чтобы волки не приняли меня за барана». Краешек солнца уже показался далеко внизу, но тепла от него пока не ощущалось. Я шел спиной к нему по тропе, что еще позавчера привела нас с Ахмадом на летнее пастбище.

Странное животное человек: я устремлялся в полную неизвестность, но каждая клеточка моего тела кричала только об одном — о нечаянной радости, что переполняла меня. Я свободен! Свободен! То есть волен поступать так, как заблагорассудится. Или вообще никак не поступать. Даже то, что свобода может обернуться гибелью, сейчас меня совсем не пугало. Лучше умереть свободным человеком, чем жить рабом, исполняя чужие, пусть себе и разумные, указания.

Да, эти указания могут дать тебе покой, сытость, даже благополучие, но лишают главного — счастья быть самим собой. А за мгновения этого счастья люди всегда готовы жертвовать и самой жизнью. Эйфория бездумной свободы захлестнула меня, как периодически захлестывает и целые народы, долго томившиеся в реальной или только кажущейся неволе. Свобода — осознанная необходимость? Нет, мы разрываем оковы сознания и бросаем их в бездну неведомого. Свобода — это свобода! Я так долго ходил по струнке — в армии под Гусевым, а здесь под Сайдулло, — что каждый сегодняшний вольный шаг — туда, куда хочется — был просто наслаждением.

Сегодня думаю, что это была все же только воля, по которой стосковался. Я был опьянен и одурманен ею, как не был опьянен вчерашним шаропом. Возможно, было бы лучше, если бы я, как и пастухи, оказался в пьяном забытьи. Но мне нужно было не «как лучше», а «как хочется». Именно последнее так давно не мог себе позволить. Правда, за любым опьянением, даже свободой, — тогда это не приходило мне в голову, — следует отрезвление, а часто и очень тяжкое похмелье, снова требующее спасительного глотка. В итоге реальность просто исчезает. А если человек не видит реальности, то и она в свою очередь не замечает его.

Часа через три я обнаружил ту самую тропу, которая сворачивала в сторону от уже знакомой дорожки в кишлак — только уже не направо, а налево. Весело

и свободно я повернул в сторону от моей сегодняшней и порядком надоевшей жизни. Она угнетала, как и армия, тем, что все повторялось изо дня в день. Но в армии я с каждым днем приближался к заветной цели — с каждым днем до приказа оставалось все меньше. А здесь цель оставалась в далеком тумане, и любое движение к ней выглядело бессмыслицей. Чтобы ты ни делал, ничто тебя не могло к ней приблизить. Оставалось только убить себя. Или поменять цель. Что в какой-то мере тоже оказывалось самоубийством. Ведь человек — это в большой степени именно то, к чему он стремится.

Прощай, мой спаситель Сайдулло, прощай, моя суровая целительница Маймуна-ханум, прощай, моя кормилица с теплыми ореховыми глазами, лица которой я ни разу не видел, уважаемая Хадиджа, прощай, мой дост Ахмад, прощай, сестренка Дурханый! Больше я никогда не увижу вас. Спасибо за все, что вы для меня сделали. Но я ведь из другой страны, из другого мира. Ведь я все-таки Глеб, а не Халеб. У меня есть своя мать, своя сестренка, свои дед и бабушка. Они тоже ждут меня и надеются еще увидеть и обнять своего Глеба. Мой долг перед ними — гораздо больший, чем перед вами.

Стало немного грустно, что я уже никогда не вернусь в свою овечью пещеру, под надежную охрану Шаха. Никогда не услышу «велблуд» и чистого детского смеха Дурханый, не увижу ее глубоких темных глаз, обведенных сурьмой — для защиты от трахомы и прочих болезней. А вечера под смоковницей с чайником зеленого чая, с изюмом и урюком? С неспешной беседой Сайдулло, старающегося быть мне понятным. Жизнь — это прощанье со всем, к чему привыкли, привязались глазами и сердцем. Да, вечное прощанье, как ни печально.

Еле заметная тропа, — видно, пользовались ею редко, — скоро вышла к ручью. Он весело катил с ледниковых высот чистую и необыкновенно мягкую, очень вкусную воду. После вчерашней непривычно сытной и жирной трапезы постоянно хотелось пить. Я часто останавливался, черпал кружкой ледяную воду и медленно, маленькими глотками, согревая во рту, утолял жажду.

Когда через несколько часов ущелье, в котором бежал ручей, начало сужаться и каменные стены пугающе нависали надо мной, я стал внимательно оглядываться по сторонам, надеясь, что тропа, которая становилась все незаметней, наконец куда-нибудь свернет. Но она медленно и неуклонно поднималась ввысь. Уже становилось трудно дышать — я все чаще делал вынужденные остановки. Несколько раз замечал небольшие ответвления, но они оказывались отпугивающе крутыми, чтобы я рискнул карабкаться по ним. Тем более, неизвестно куда. К счастью, вскоре стена справа расступилась и открыла достаточно широкий и вполне безопасный проход.

Через какое-то время он вывел меня из зябкого сумрака на достаточно открытое и уже прокаленное солнцем плато, протянувшееся до горизонта. Только на самом его краю темнели горы с вечными снеговыми шапками. По-прежнему едва заметная тропинка петляла между каменных глыб. Выглядели они довольно странно. Как будто кто-то нарочно окрасил их в самые причудливые цвета. Красные, фиолетовые, буро-желтые, коричневые, черные, голубовато-зеленые — вначале я внимательно разглядывал эти скалы, а потом от жары и обилия необычных красок почувствовал усталость и желание поскорее где-нибудь притулиться, перекусить и, возможно, даже поспать.

Через какое-то время нашлось уютное местечко в тени голубоватой скалы. Я уселся, вытащил из мешка пару огурцов, лепешку и половину бараньего бока. Незаметно разобрался с ним и пристроился подремать. Но про-

спал целый день и проснулся только в сумерках, от холода. Видимо, сказалось то, что последнюю ночь практически не спал.

Солнце еще немного выглядывало из-за дальней горы и, казалось, плавило своим жаром ее розовеющий снег. Я с неожиданной тревогой подумал о наступающей ночи. Что могло ждать меня среди этого космического пейзажа? Едва ли здесь могли находиться какие-нибудь хищники. Нигде никакой растительности: ни кустика, ни травинки. А может, какой-нибудь барс уже давно осторожно крадется по моим следам? Или за волнующим запахом моего халата бредет отощавший волк? Ждет только мрака, который сделает его добычу совсем беспомощной?

Да, свобода начала показывать мне свое коварное лицо. Как не замерзнуть в этих доисторических глыбах? «Спокойнее! — повторял сам себе. — Спокойнее!» Но беспокойство только возрастало. От хищников как-нибудь отобьюсь — топорик острый. Теперь надо перейти на противоположную, нагретую солнцем, сторону моей уже темно-синей в сумерках глыбы. Да, ее отвесная стена оказалась еще достаточно теплой. Но стоять возле нее всю ночь? Нет, надо найти такое место, где можно лечь.

Я начал подыскивать место для ночлега уже не столько с помощью зрения, сколько ощупью. Наконец на уровне плеч обнаружил довольно широкую ступеньку на одной из темных скал и осторожно забрался на нее. Там вполне можно было вытянуться во весь рост. Благодатное тепло, накопленное камнем за день, скоро согрело и успокоило меня.

Кромешная ночь наступила сразу, как только солнце скользнуло за величественную, в белом чепчике, гору. Я протягивал ладонь перед собой, и она исчезала, растворялась во мраке. Но зато, подвинувшись на самый край своего ложа, мог лицезреть великолепное сияние ночного неба. Звезды казались еще ближе и крупнее, чем возле моей пещеры. Млечный Путь — вид нашей галактики сбоку — пересекал окоем слева направо. На много километров вокруг только я один, малая человеческая песчинка, любовался этой вечной картиной. Но чувствовал таинственную связь и с теми миллионами людей, что еще до моего рождения поднимали глаза к небу и застывали в немом восхищении, завороженные тайной этого небесного света.

Вспомнились слова, которые, не вдумываясь, я бойко цитировал на экзамене по философии: «Две вещи наполняют душу всегда новым и все более сильным удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительней мы размышляем о них, — звездное небо надо мной и моральный закон во мне». Грандиозность звездного зрелища снова вселила в меня спокойствие и уверенность: со мной ничего не может случиться — звезды не допустят! — и я все-таки дождусь нового дня. А вместе с ним и какой-то новой жизни.

Чтобы быть более уверенным в таком исходе, решил снова перекусить. Холодное мясо оказалось, конечно, не таким вкусным, как вчера, но все же вполне аппетитным. На завтра пропитания мне тоже должно хватить. Окончательно расправившись с бараньим боком, я какое-то время лежал, похрустывая сочными и сладкими огурцами. Почти такими же, как с бабушкиной или маминой грядки в родной Блони. Одновременно все еще гордо смаковал остатки своей неожиданной свободы — все-таки отважился, смог преодолеть рутину будней, по-настоящему рискнуть. Хотя, конечно, и обстоятельства тоже подтолкнули. А может, я просто пошел на поводу у случайности, устремился за мигающим болотным огоньком? Сам этот вопрос, неожиданно всплывший в сознании, немного насторожил, обдал холодком. Но, к счастью, блаженный сон снова увлек меня в таинственные глубины.

Проснулся уже от настоящего холода. Особенно замерзли ноги в старых кроссовках. Млечный Путь лежал немного наискосок, да и привычные звезды прошли свой путь на подвижной карте неба. С трудом повернул окоченевшее тело, осторожно спустился вниз — теперь меня может спасти только движение. Пошарил на том месте, где были ноги, чтобы взять свой мешок с остатками провизии, — я им прикрывался. Но там его не оказалось. Подумал, что сбросил во время сна вниз. Нагнувшись, пощупал внизу. Тоже безрезультатно. Ладно, рассветет, потом найду.

Засунув руки в рукава халата — как бы я без него? — начал энергично расхаживать возле места ночевки. Первого в свободной жизни. Основательно застывшее тело никак не хотело отогреваться. Пришлось вспомнить армейские отжимания в упоре лежа. Только после десяти подходов по тридцать раз в хорошем темпе жизнь решила ко мне возвратиться. Тут бы опять перекусить, но мешка моего все никак не обнаруживалось. Я пошарил на ложе у самой стены, где положил топорик. Нет, оружие на месте. Занятый этой согревающей возней, я как-то перестал замечать уже несколько утомительное великолепие звездного неба. Теперь готов был молиться кому угодно, чтобы только скорее кончилась эта стылая ночь и наступило простое и такое обычное здесь солнечное утро.

К рассвету я так устал, как не уставал и на сельхозработах у хозяина. Единственное, чего мне теперь хотелось, — надо быть честным перед самим собой, — так это вернуться в свой овечий хлев с шерстяным одеялом и овчинным тулупом. И под надежной охраной Шаха проспать в блаженном тепле часов десять. А потом сидеть с Сайдулло под его смоковницей во внутреннем дворике, пить горячий зеленый чай с изюмом и рассказывать о той глупости, на которую подвиг меня не иначе как сам шайтан. Это словечко — глупость — тоже выскочило само собой, помимо моей воли.

Когда рассвело, я осмотрел все места, куда мог свалиться мешок. После тщательного обыска ближайших окрестностей удалось обнаружить только один огурец — в глубокой расщелине между камней. С помощью топорика его удалось извлечь. Хотел было тут же его съесть, но передумал — спрятал в карман жилетки.

Неожиданно стало ясно, что мое положение очень серьезно ухудшилось. Время поиска нужной дороги сокращалось минимум на сутки, а то и на двое. Речь уже шла не столько о свободе, сколько о самой жизни. Если в ближайшие день-два не выйду к людям, то выбраться из той западни, в которую угодил по собственной неосторожности, едва ли удастся.

Первым делом надо вернуться к ручью. С водой можно голодать достаточно долго. Но к своему ужасу я не мог точно определить, откуда вчера пришел. Солнце было слева, когда шел, или справа? Но я столько раз поворачивал среди разноцветных каменных глыб, что оно оказывалось и справа, и слева.

Взобравшись на одну из самых высоких скал, пытался разглядеть хоть что-то обнадеживающее. Но куда ни глянь — всюду одно и то же: безмолвно вздыбленное множество скал всевозможных цветов и форм. Казалось, что я находился посреди застывшего моря. И застыло оно во время шторма. Или скорее всего, это был пейзаж какой-то неведомой планеты, куда перенесли меня вездесущие и коварные джинны. В этом безумном пейзаже я — единственное живое существо. Не считая той подлой твари, что стащила у меня мешок. Она, конечно, ошивается где-то неподалеку, с надеждой еще чем-нибудь поживиться.

Такая свобода нравилась мне все меньше.

Мама, бабушка, неужели я больше никогда не увижу вас? Неожиданно вспомнил, что в тот день с барашком и шаропом мне исполнилось двадцать

лет. Да, седьмое июня. Как любила повторять мама: у Пушкина шестого, а у тебя на следующий день. Судьба устроила мне праздник с угощением. Видимо, последний. Наверное, в родной Блони тоже отметили мой день рождения — со слезами на глазах, с тайной надеждой, что я все-таки вернусь.

Я обманул твои ожидания, мама. Совершил непростительную глупость. Не плачь, дорогая, не плачь. Я недостоин твоих слез. Не иначе как их самогон, дурацкий этот шароп, все-таки ударил мне в голову и лишил рассудка. Да и несчастный барашек тоже сыграл свою роль — впервые наелся, как говорят, от пуза. А лишние калории коварны — зовут к простору, тянут на подвиги. Зато теперь голод мне обеспечен. Если добраться до воды, можно продержаться довольно долго. Даже без массажа и регулярных клизм. С методикой голодания нас тоже знакомили достаточно основательно. Но чисто теоретически. Оставалось надеяться, что голод обостряет разум. Да, ему придется поработать. Компенсировать ту глупость, на которую я сумел его подбить. Хватит киснуть. Надо двигаться, пока солнце глядит еще ласково. Цель — простая и понятная: добраться до ручья. Или до любого источника воды. Вперед!

Я выбрал направление — так, чтобы солнце оставалось справа, — и, собрав все свое мужество, начал движение. Шел час за часом, но каменная пустыня не отпускала меня. Я то и дело упирался в отвесные, тоже разноцветные стены. Укрывшись от полуденного солнца в нише под валуном, снова заснул, сжимая в руках свою единственную надежду — небольшой топорик.

Проснулся с сосущей пустотой в желудке. Нестерпимо хотелось пить. Солнце клонилось к закату. Очевидно, что меня ждала еще одна холодная ночь под звездным небом. Только уже без спасительного мешка. Но все-таки с одним огурцом. Пощупал карман — огурец на месте. Пусть остается как неприкосновенный запас. На крайний случай. Хотя от чего может спасти единственный огурец? Да к утру он просто сгниет. Я решительно достал свой неприкосновенный запас и быстро уничтожил его. Стало немного легче. Потом принялся искать место для ночевки. Оно должно быть более защищенным, чем в прошлую ночь. Теперь, если та подлая тварь наведается, то, не обнаружив ничего съестного, может попробовать и меня самого.

Сегодня я взобрался повыше, захватив с собой и с десяток камней — на случай, если придется обороняться. Черная базальтовая глыба, которую предпочел на этот раз, должна была нагреться сильнее и медленнее отдавать свое тепло.

Так же, как и вчера, резко опустилась ночь. Так же, как и вчера, высыпали величественные и равнодушные звезды. Но любоваться ими больше не хотелось. Немного утешало лишь то, что многих из этих звезд тоже нет в живых, а к нам все еще идет их прощальный свет. А от меня скоро может и вообще ничего не остаться. Только топорик. Да и то не мой. Шакалы обглодают мясо и растащат кости. И прервется ниточка моей жизни, не сплетется с другой, не даст спасительного продолжения. И даже та малая цель человеческого существования, что доступна нам, окажется не достигнутой. Ах, Аннушка, Аннушка! Если бы ты не возникла в моей жизни, то, наверное, я бы и не попал в этот Афганистан, не оказался бы в рабах у хорошего человека Сайдулло, ну и, конечно, не было бы меня и на этом черном, пока еще хорошо греющем базальтовом ложе. Подумал, что я уже совсем раскис — стал искать виноватых в собственной глупости. Нет, в этом бездумном броске к свободе виноват только сам. Да и совсем не по-мужски обвинять в своих бедах девушку, которую любил. Нет, Аннушка, ты ни в чем не виновата.

В конце концов, устойчивое и сильное тепло, идущее из глубины камня, разморило меня. Прибавилась усталость, накопившаяся за день, и спасительный сон снова надолго выключил меня из реальности. Проснулся, когда начало светать.

Спина еще улавливала остатки тепла, хотя немного в стороне камень был покрыт инеем. Тут меня осенило: иней — это же вода! Я начал лизать камень. Когда совсем посветлело, обнаружил недалеко от себя углубление, куда стекла конденсировавшаяся в ночном воздухе влага. Наклонившись, приник к ней губами. Хватило на четыре небольших глотка. Горьковато, но вполне терпимо.

Исследовав приютившую меня скалу, нашел еще немного воды. Потом занялся изучением соседних глыб. Через какое-то время я почти утолил жажду. Теперь мне уже не просто хотелось пить — я мечтал о мягкой и вкусной воде из того самого ручья, который встретил меня первым в моей новой и свободной жизни. И эта новая жизнь, несмотря ни на что, все-таки продолжается. А может, все и обойдется? Может, наш христианский бог замолвит словечко местному? Может, Аллах смилостивится? И разрешит продолжить мою жизнь, ведь никаких особых грехов нет на мне. Хотя и не мне решать вопрос о греховности, но все же к моему слову тоже могли бы прислушаться создатели и повелители миров. Если бы не я — то кем бы вы повелевали, и кто бы развлекал вас в вашей бесконечной смертной скуке?

Немного подискутировав с богами, выбрал новое направление — под углом к вчерашнему. Главное, дойти до самого конца. Тогда буду точно знать, что там меня ждет, и постараюсь больше туда не попадать.

К вечеру все-таки добрался до ручья — возможно, даже того самого. Благоговейно опустился перед ним на колени. Наклоняясь и черпая воду горстями, старательно прополоскал рот, смыл тошнотворную горечь, что после утреннего водопоя осела на языке и небе. Потом опустил обгоревшее лицо к самой воде, несколько раз погрузил его в бегущие ледяные струи. И только после этого — понемногу, маленькими глотками — начал утолять жажду. Потом, не вставая, отполз на четвереньках в нишу под стеной. Никуда больше не пойду, буду пить эту воду и бессильно дремать, проживая хотя бы в сновидениях тот остаток жизни, что будет мне дарован. Простите, дорогие мои мама и бабушка, нет больше сил у меня, чтобы жить, чтобы вернуться к вам, стереть слезы с глаз и подарить хоть немного радости. Не плачь, мама, не плачь, я не достоин твоих слез…

Готовый больше не просыпаться, блаженно заснул в обнимку со своим топориком. Не знаю, сколько провел в этой небольшой пещере — день, два, три? Сознание покинуло меня, и только красочные и лихорадочные сновидения сторожили мою жизнь, все еще пульсирующую, мерцающую — как угли под ветром.

Перевод с курдского Валерия Липневича.

Окончание следует.



ГЕННАДИЙ ПАШКОВ

Мотылек души

* * *

В снег — белый, как и встарь —
ступай
легко и смело.
Он душу на алтарь
ведет,
ведет и тело.

В пушистый снег ступай,
лечи себя озоном.
А горькое пускай
отсеется со звоном.

Держи в своих руках
Небесное причастье.
В Крещенья светлых днях —
мороз,
огонь
и счастье.

* * *

А если жизнь
тревожною окажется,
а если жизнь —
как бурная река,
то в ней должна тогда —
мне это кажется —
быть рядом друга крепкая рука;
друг преданный
да верные товарищи,
с какими путь осилить — не беда…
И что тогда
метели и пожарища,
Распутица,
и слякоть,
и года?!

И что они,
коль есть душа нетленная,
и радость есть,
и крылья,
чтоб поднять.
Есть край родной,
земля благословенная,
и горизонт —
глазами не обнять!..

* * *

В облаках еще
ты сладко спишь.
Луч тебя щекочет осторожный.
Во Вселенной всей
такая тишь —
чтоб тебя
ничем не потревожить!

* * *

Зима, помоги.
Душу мне заморозь.
Окутай скорее
корой ледостава,
чтоб то, что прожгло
мое сердце насквозь,
тиранить однажды меня перестало.

Не нужно так много мне счастья!
Давно
я жизни отмерил-прошел
половину.
Зачем так незвано-нежданно оно
свалилось, как снег
на согбенную спину?

Не думал я, дни проводя не спеша,
Что буду от счастья
отыскивать средство.
Горит мотыльком на кострище
душа…
Зима, помоги!
Остуди мое сердце!

* * *

Не перепишешь жизнь на чистовик,
проверив — и не раз — черновиками.

Идешь судьбой —
как полем — напрямик:
то в яму ступишь,
то упрешься в камень.

И все,
что делал ты,
все,
где хитрил,
за что расплачивался
собственною кровью;
во что так верил,
все,
что так любил
той безоглядно
чудною порою;

кого когда-то погубить не дал,
душой поверив в слезную молитву,
того, кто после в грязь тебя втоптал
с усмешкою кривой иезуита —

не вычеркнешь от злости,
не сотрешь,
нигде,
ничто
не убережь,
не спрячешь;
победу, пораженье или ложь
не перепишешь набело иначе.

…Вот ты споткнулся…
Вот пошел на дно…
А вот живешь — аж сердце замирает!..
Судьба идет,
как Богом мне дано,
и все болит,
щемит
и укоряет…

Гудевичи: май, сиреневый туман

Заблудись в сиреневом тумане —
и услышишь у притихших хат,
как звенит,
звенит — не перестанет —
васильковым звоном саду сад.

Спит притихший и уставший Неман
после наводнения —
в траве.

На земле — испарина-истома
и туман счастливый в голове.

С житной песней хлебосольно примут —
каждый гостю в Гудевичах рад —
дядька Белокоз и дядька Климуть,
и еще есть дядька —
депутат.

Как нашествий лютые навалы
уничтожить душу не смогли?
Как такие песни сохранили,
как сердца такие сберегли?

Тут и к предкам близкие дороги,
тут пролег и в будущее путь,
ибо знает ветер быстроногий
всех столетий истинную суть.

Тут парнишка, чарами объятый,
с глубиною Немана в очах,
подымает в млечный космос хаты,
как и все поэты — по ночам.

Соловью жалейка подпевает —
где хранится музыки исток?
И внезапной нежностью пронзает
вытканный на поясе цветок.

От любви не развевай пожары,
а склонись пониже — до земли,
поклонись — да в пояс — хлебодару,
птице-соловью поклон пошли.

И проси —
как истинную милость
на судьбы
последнем рубеже,
чтоб сирень тебе еще
приснилась,
чтобы этот май звучал в душе…

* * *

Земля моя —
зеленая планета,
и слышу я,
разбуженный весной, —
пчелой гудит
дыхание рассвета
и пахнет день
проталиной лесной.

Я собираю
все цвета и звуки
и сердцем выверяю
грусть и боль.
…Как матери,
моей Отчизны
руки
мне в душу сеют
радость и любовь.

* * *

Тишина.
Ни шороха.
Ни слова.
Сам себя на музыку настрой.
Пробудил рассвет весенний, новый,
с хвойною горчинкою, настой.

Мир наполнен радостною песней.
И как будто утром
солнца свет
на луга сошел из поднебесья —
светляки усыпали твой след!

Чуть журчит холодная криница.
Наклонись —
и пей,
и пей до слез.
Можно этой влагой остудиться.
Можно и прожечь себя насквозь.

* * *

Юная… Юная!..
Ветром обвитая,
жаждешь скорее познать неизвестное.
Груди — как яблоки, солнцем налитые, —
как напрягается блузочка тесная!

Книги забыты.
К чему наставления?
Ранний расцвет угрожает бедой.
Словно бы чайки,
белеют колени
над вечереющей темной водой.

Верно, и ветер подвластен девчонке…
Лодочки в руки.
Смеется:
— Бежим!..

А пересуды обходит сторонкой:
Главное в жизни — богатства души.

…Мокрый песок
Глухо озеро бьется
в берег, стирая последний твой след.

…Боже, неужто и мне остается
памятью греться
на этой земле?

* * *

Словно в шторм долгожданный маяк,
звал тебя я —
отчаянным криком.
Ты сквозь даль мне шептала:
«Никак
я к тебе, мальчик мой, не привыкну».

Окликал я зимою дожди,
ручейками звенел и арыком.
Только ты мне опять:
«Погоди,
я к тебе все еще не привыкла».

Билась в клетке тревожно —
как быть?! —
моя горечь оленихой дикой
(тут бы кстати и волком завыть):
«Не привыкла еще…
Не привыкла…»

А когда догорел мой костер —
со щемящей горчинкою воли
свои серые крылья простер
едкий дым над пустеющим полем.

И тогда, в целом мире один,
догонял меня голос поникший:
«Я прошу…
Я прошу…
Подожди…
От тебя я теперь не отвыкну…»

Перевод с белорусского Елизаветы Полеес.



РАИСА БОРОВИКОВА

Ангел-хранитель

Рассказы

Метеоритное железо

До сегодняшнего утра, а это был восьмой час одной из августовских пятниц, Ольга Петровна считала себя довольно-таки преданной женщиной одному-единственному мужчине — своему мужу. И сейчас, запихивая продукты — многочисленные свертки, пакеты, банки — в дорожную сумку, не без злорадства (жаль только, что муж не может проникнуть в ее мысли), рассуждала: «А почему я думаю, что все случится именно сегодня, если оно уже произошло значительно раньше. Ну, конечно же, еще тогда, в ноябре, в прошлом году в поликлинике…»

Место, откровенно говоря, совсем не предназначенное для деликатных знакомств, но ей выпало встретиться с Павлом Николаевичем именно там, в коридоре у двери в кабинет, куда она пришла на прием к невропатологу. Стояла у стены, морщилась от боли, потом, прихрамывая, прохаживалась вдоль коридора, и он, наблюдая за ней, несколько раз порывался встать.

— Да сядьте же вы наконец! Не проще ли было обратиться в «скорую помощь», чем ожидать приема здесь?

— А какое вам дело, что мне проще, а что не проще?

— Логично, не мое дело. — И, сделав паузу, спросил: — Радикулит?

В больницах и поликлиниках есть только одна категория людей: больные, с той только разницей, насколько больны, поэтому, не смутившись, она ответила:

— Грыжа позвонковая. Частник не помог.

Девушка, что сидела рядом с Павлом Николаевичем, поднялась, отошла подальше от них, к окну, и Ольга Петровна села на ее место. Он повернулся к ней, невзначай коснулся плечом ее плеча, и в глазах Ольги Петровны на мгновение застыло смятение. Если бы ей теперь было не сорок девять, а семнадцать лет, она, не исключено, зарумянилась бы.

— Смотря какой частник, — тем временем говорил Павел Николаевич. — Могу дать телефончик одного моего знакомого доктора, сделает пять-шесть инъекций… Мне помогло, думаю, и вам поможет. Если хотите, вот моя визитка. Вечером позвоните, отыщу в записных книжках нужный номер.

Она позвонила вечером. И хотя услугами того доктора так и не воспользовалась, это случайное знакомство с Павлом Николаевичем переросло в отношения затянувшегося флирта, наверное, так сказала бы кокетка. Но Ольга Петровна не была кокеткой. Ей хотелось глубокого чувства, сладкого пьянящего дурмана, пылкости, трепета, что пока в ней только тлело. Но тлело настойчиво и неотступно. И когда, после стипендии, дочь попросила у нее денег на обед, объяснив, что все до рубля отдала за итальянский лифчик, кото-

рый вчера приобрела в «Бюстье», она тут поинтересовалась, где находится тот магазинчик.

Последнее время Ольга Петровна, кроме итальянского нижнего белья, никакого другого уже для себя и не представляла. В мыслях она все чаще и чаще приближала тот момент, когда Павел Николаевич наконец решится и, чего уж, наверняка, давно не делал с женой, начнет расстегивать на ней какие-то кнопки, пуговки, крючочки…

Сумка уже была полная, а Ольга Петровна все еще стояла у холодильника и что-то запихивала и запихивала в нее. Оторвалась от этого занятия только тогда, когда в кухню заглянула дочь.

— О-го! — Она попробовала поднять сумку. — И ты это все потянешь на электричке? Я даже на вокзал не смогу тебя подбросить. Вчера поставила машину в гараж к Вадику, а Вадик появится в городе только к обеду. Куда-то уехал.

— Не объясняй так долго. Я же не прошу, чтобы ты подвезла меня к вокзалу. И вообще, Катенька, сделай одолжение, пойди к себе, не то я еще что-нибудь забуду.

Ольга Петровна действительно боялась что-нибудь забыть. Тот столик на двоих, который она хотела накрыть сегодняшним вечером, должен быть безукоризненным во всех отношениях. Но об этом не расскажешь дочери, пусть себе и взрослой, как и о том, что вчера она позвонила Павлу Николаевичу и пригласила его к себе на усадьбу, в тот райский уголок, как когда-то шутливо называли они с мужем тридцать соток земли с обычной крестьянской хатой, которые приобрели три года назад в небольшой деревеньке, — с десяток хат, не более.

— Гм-м, очень даже заманчиво. — Павел Николаевич что-то в мыслях прикидывал, это она чувствовала по голосу, уже научившись разбираться в его оттенках. — Так, говоришь, километров шестьдесят от Минска? Буду стараться… Правда, загвоздка одна есть, бензин где-то просачивается, нужно будет на СТО заехать. Если зацепил где-то бак, придется заваривать. Сама понимаешь, пока его снимут, просушат… Хорошо, — наконец сказал он, — говори конкретно, куда я должен ехать?

И они договорились, что в девять вечера она будет ждать его на повороте дороги, которая вела к деревне, откуда они уже вместе подъедут к усадьбе, чтобы ему не пришлось искать хату и ни у кого ничего не расспрашивать…

Все! Кажется, сумка упакована! Ольга Петровна решительно подняла ее, и, когда уже была готова покинуть квартиру, из своей комнаты вышел ее муж, спросил:

— Уже едешь?

Ольга Петровна молча кивнула головой.

— Завидую тебе. Я, возможно, тоже поехал бы, но у нас сегодня… Вчера иду, а в холле опять черная рамка…

Она поставила сумку на пол, поинтересовалась:

— И кто же на этот раз у вас помер?

— Кулеш! Ты же знала его. Хотя и давно разбежались мы в разные стороны, а на похороны идти нужно. Двенадцать лет в одном бюро отсидели. И во-от как оно! Конец всегда непредсказуем. Был человек — и нет человека. Помню, тогда, в начале девяностых, он будто с цепи сорвался. Бизнес! Бизнес!

— Ты говорил, у него все хорошо складывается.

— Складывалось! Вначале. А потом оказалось, что не в тот вагон сел. Нужно было в плацкартном ехать и ехать, а ему в мягкий захотелось. Пока едешь в своем — все в норме, а как только пересаживаешься, тут и начина-

ется… Но хватит о Кулеше, земля ему пухом. Ты вот что… Будешь в воскресенье возвращаться, позакрывай все хорошо и грыжу свою не надрывай. Огород — огородом, сотки — сотками, но помни: они — не твой вагон…

Он любил поучать, и она позволяла ему это делать, хотя в конце концов все устраивала по-своему. И уже где-то через час, когда за окнами электрички мелькали леса, деревеньки, картофельные поля да острова уже вызревшей ржи, в мыслях вернулась к этому разговору. А в каком вагоне теперь они? Но имела в виду не плацкартный и не мягкий вагон, в их жизни был и тот, и другой, а совсем иное. В каком бы вагоне им ни случалось ехать, они всегда были вместе. Их места были рядом — локоть к локтю… Но в жизни нет ничего вечного. Эта истина только подтвердилась тем ранним вечером два года назад, когда они сели за праздничный стол, чтобы отметить первую публикацию дочери в студенческой газете «Молодой журналист». Дочь вскоре оставила их, поехала показать публикацию подруге, а они включили телевизор… Потом он подсел к ней, обнял за плечи, что, как выяснилось через минуту, было исключительно иезуитским жестом, и сказал:

— Знаешь, Олечка, а у нас с тобой проблемы!

— У тебя что-то случилось на работе? — забеспокоилась она.

— Да нет. — Он принялся крутить в руках вилку, будто ему вдруг захотелось что-то проткнуть. — Все гораздо сложнее. Понимаешь… Прости и не задавай никаких вопросов. Девушка, Леночка, практикантка наша, забеременела, — и он забарабанил вилкой по столу.

Она насторожилась и как будто услышала не свой, а чужой голос:

— Хм-м, Америку мне открыл! Они теперь ранние и беременеют, как кошки!

— Олечка, ты не так поняла. Леночка забеременела от меня. Третий месяц, и я не могу ее бросить. Возможно, она родит. Вы уж тут с Катериной без меня… Я регулярно буду приносить деньги.

Он произносил все это без запинки, как актер, который вышел на сцену своего сотого спектакля, а у нее удушающий ком перехватывал дыхание. И все же она смогла произнести:

— Ты из-за этого вилкой начал стучать? Шумовое оформление! И сколько же практикантке Леночке лет?

— Двадцать два. Она только на год старше нашей Кати.

— Ну и когда же ты нас с Катей покинешь?

— Сегодня. — И тут его подвел голос. Он закашлялся, отодвинулся от нее, опустил голову. — Прости, Ольга. Ты пока не будешь приезжать на усадьбу, а-а? Мы с Леночкой с… С месяц поживем там, пока практика не закончится. Она потом поедет к родителям в Витебск. А я… Я тут что-то подыщу. Думаю, снять квартиру проблемы не будет.

У нее самым натуральным образом задрожали руки, и, чтобы не показать этого, она сжала пальцы в кулаки, и какая-то сила подняла ее с кресла. Она стояла перед ним со сжатыми кулаками, и он понял это по-своему.

— Ты что, Ольга? Приди в себя, мы же интеллигентные люди…

— Пошел ты! — Она уже не в силах была сдерживать слезы и выбежала в спальню.

Через полтора месяца муж вернулся. Леночкины родители вмешались в их отношения и с последнего университетского курса перевели дочь на учебу в Витебск. А Ольга Петровна за это время из трепетной, солнечно-улыбчивой, доброжелательной женщины превратилась в строгую матрону, которая гневным взглядом сверлила каждую молоденькую девушку, будто она была не матерью взрослой дочери, а старой девой. К возвращению мужа

она отнеслась с полным безразличием. Он волновался и, видно, заранее подготовил целую тираду:

— Олечка, ты можешь не прощать меня, но понять-то должна! Будем считать это… Ну… Все, что произошло… Временным разладом. Ты же посмотри… Народы конфликтуют, нация с нацией ужиться не могут, а мы… Мы, утомленные, взвинченные, угнетенные этим земным хаосом! Мы только две песчинки во вселенском масштабе. Прости за выражение, я, видно, должен говорить проще. Ну, давай, давай… Сорви на мне обиду, возьми и влепи мне в харю, я стерплю… Я даже очень хочу этого!

Она как-то непривычно странно, по-новому для него улыбнулась и сказала:

— Васенька, ты же не выписывался из квартиры. Живи. Но никакой общей спальни. Я себе диван купила, сплю в гостиной.

Для чужого глаза ничего в их жизни не изменилось. Они вместе садились за семейный обеденный стол, случалось, вместе что-то покупали, и все же жили скорее как соседи. Даже на усадьбу выезжали порознь. Он — в одни выходные дни, она — в другие. Сейчас была ее очередь, и, сойдя с электрички, Ольга Петровна беспокоилась: хоть бы в хате не было беспорядка! Муж провел на усадьбе прошлые выходные дни и обычно оставлял после себя горы разбросанного по углам хлама. Сумка была непомерно тяжелая, а тащить нужно километра два. Проще было взять частника-таксиста, что она и сделала. И, как только поднялась на крыльцо хаты, мгновенно забыла обо всех жизненных неурядицах: о муже, о практикантке Леночке, о своей городской квартире — в райском уголке о земном не думают. Вот только Павел Николаевич… «Понравится ли ему здесь? — думала она. — Сад не может не понравиться, газоны с клумбами и клумбочками, которые, благодаря Васиным стараниям, всегда аккуратно выкошены».

Ольга Петровна доставала из сумки пакеты и баночки, укладывала их в холодильник и невольно радовалась: «Паша любит паштет из телячьей печеночки, и вот он как раз здесь! И салат с черносливом приготовлен, и баранина на косточке! Боже, а где маслины? Забыла! Не-ет, вот они. А тут, что у нас? Ага-а, палтус, запеченный в тесте. А это — морсик!..» Она восторгалась своими кулинарными способностями, представляла Павла Николаевича и время от времени поглядывала на настенные часы. Ей казалось, что стрелки уж больно медленно двигаются. Потом, когда все продукты были сложены в холодильник, Ольга Петровна обошла все четыре комнаты, собирая разбросанные мужем вещи: старые брюки на диване, из которых сыпалась сухая газонная трава, рубашки, измазанные глиной и цементом, свитер, плащ-дождевик на спинке стула, шорты, майки… И когда уже собралась целая охапка, она решила, что до поры до времени все это нужно убрать в старый сундук, что стоял в клети. Он им достался в наследство от бывших хозяев, навсегда уехавших в город.

Пошла в клеть, подняла крышку, швырнула туда всю одежду и увидела растерзанный сверток, который то ли забыли, то ли просто оставили прежние хозяева. Нужно бы его давно выбросить, но муж не позволил, мол, зачем выбрасывать пусть и чужую, но жизнь. В том свертке действительно была упакована целая жизнь, и, может, даже не одного поколения: письма, открытки, фотографии, телеграммы, разные квитанции, справки… Все это было расколошмачено, разбросано.

«Видно, мыши где-то прогрызли в сундуке дырку, — подумалось ей. — Они уже чувствуют близкую осень, убегают с полей к человеческому жилью. А может, даже крысы?» И Ольга Петровна, отбросив крышку к стене, начала собирать разбросанные бумаги. Взгляд задержался на пожелтевшем листе,

который уже кое-где тронуло тление. А вот еще один, такой же. Взяла в руки бумагу, подошла к небольшому оконцу…

Почерк был мелкий-мелкий, как бисер, да еще и с загогулинами на отдельных буквах, но чернила не поблекли.

Цифры прочитала сразу же, они были крупные, по центру листа: 1841 от Рождества Христова. И ниже, более мелко, но не бисерно: протоиерей Никодим, раб Божий. И еще ниже: Свято-Покровская церковь милостью Божией… Далее строчки были где стерты, где размыты, сохранились только отдельные буквы. Глаза уже привыкли к ним, и на обратной стороне листа она кое-что смогла прочитать, додумывая неразборчивые слова.

«3.3. Из местечка вернулся диакон Осип. Привез два посеребренных кадила и сорок свечей. По моим подсчетам, свечей должно было быть шестьдесят две. Но как могу подумать неблагопристойное о диаконе, если Святым Днем его пожертвование было наибольшим.

15.3. Из Дубенцов привезли крестить дитя. Девочку. Записал, как и надлежало в этот день, именем святой Евфалии. И крестная сделала большие глаза, спросила: «Как же нам теперь называть ее, батюшка? Разве что Фанею?»

19.3. Приходила на исповедь молодая пани из панского имения. Ее глаза — находка для богомаза. Но молодой пан не видит ее глаз. Он видит только ее правую ногу. Хромую. Так же, как видел те сто сорок десятин земли, которые дали за ней. А еще пан видит грудастую Зоньку, что при хлевах у них. У Зоньки легкая рука. Она принимает отелы и первотелок. Пани плакала: у пана воняет сюртук хлевом и, наверное, пусть не слышат меня ангелы, Зонькою. Прости, сто раз прости, Отец наш Всевышний, что доверяю чужую исповедь бумаге.

23.3. Местные люди говорят, что кара небесная низринулась, а на деле — природное явление. Вчера после утренней службы, когда прихожане покидали храм Божий, с неба упал метеорит. Размерами небольшой, но беды наделал много. Сгорели хлевы панские, он как раз туда угодил, и много пристроек к дому панскому. А сам дом уцелел, только одна колона треснула. Взрыв большой был, много соломенных крыш вокруг разметало. А в саду панском деревья из земли повыворачивало. Но самое страшное, что в хлевах сгорел молодой пан, а еще конюх панский, и Зонька сгорела — досмотрщица за скотиной панской. И много скота погорело. Теперь на месте одного из хлевов — яма. Посмотреть на нее люди ученые аж из самого Менска приезжают.

26.3. На исповедь приходила молодая пани. Услышанное сильно впечатлило меня. Только в себе ли она? Печаль большая. Веди руку мою, Отче, а когда не желательно Тебе, то останови ее. Молодая пани тем страшным днем стояла у окна, видела, как молодой пан с Зонькою заходили в хлев. Зонька развязывала пояс на юбке, а пан расстегивал сюртук. Тут и скажи молодая пани: «Чтобы на вас камень с неба упал!» И в одно мгновение все так и случилось. Просила она снять грех с души ее, а я считаю, с умом у молодой пани не все в порядке. Большое горе мутит его.

30.3. Отпевал покойника в Рогочах. Приехали за мной на повозке, а лучше бы на лодке приплыли. Паводок большой. От ямы на панском подворье жаром до этого времени отдает».

Ольга Петровна услышала, как звякнул засов, заскрипела входная дверь. Она быстренько сунула этот пожелтевший лист бумаги, что трепетал у нее в руках, в сундук, будто ее застали за чем-то нехорошим. Опустила крышку и вышла в сени, где увидела соседку Веру, которая уже открывала дверь в переднюю комнату.

— Петровна, вы что-то сегодня рано? Василий Антонович говорил, что сегодня можете приехать. А у нас тут в среду гроза была. Взглянула я через

забор, а у вас помидоры погнуло. Я три кустика перевязала. А может, не нужно было? По чужому огороду ходила.

— Почему же не нужно? Спасибо, Вера. Я вам перец-горошек черный, как и просили, привезла…

Соседка задержалась у нее недолго. И как только она ушла, Ольга Петровна начала делать, как это она называла, обход усадьбы. И по ходу находила себе работу. Пересохшие кустики давно созревшей фасоли связала в пучки и подвесила на солнечной стороне хаты. Убранный лук занесла на чердак, пусть подсыхает… И между этими, такими уже привычными хозяйскими хлопотами, время от времени заходила в хату, смотрела на часы: «Хоть бы не опоздать!» А время как будто стояло на месте. Но вот наконец можно все отложить на потом: до приезда Павла Николаевича остался один час. Она минут пятнадцать отдала зеркалу. И уже такая, какой он привык ее видеть, вышла за калитку. Решила идти напрямик через картофельное поле, через лог, поросший густым орешником, за которым уже недалеко был и желанный поворот.

Она пришла в назначенное место ровно в девять. Машины пролетали мимо нее одна за другой… Вглядываясь, она выходила на шоссе навстречу им и только тогда, когда рядом остановилась темно-серая «Мазда» и из приоткрытого окна послышалось: «Вам куда? А то еще заночуете здесь!», она поняла, что Павел Николаевич не приедет. Все вокруг уже окутали густые сумерки, и близкий лог заплыл туманом, но Ольга Петровна пошла прежним путем. «Проклятый бак! Видно, пришлось все-таки его заваривать, — думала она. — Сколько раз говорила Паше, чтобы не связывался лишь бы с кем, обращался только к профессионалам! А он все чтобы подешевле! К халтурщику какому-то поехал. Сколько там нужно того времени бак заварить! Лучше с умелым потерять, чем с бестолковым сэкономить!» — срывала она всю свою горечь на неизвестном автослесаре. В темноте шла наугад и вышла не к своей калитке, а к крайней хате. Обошла ее и оказалась на узкой гравийке… И в то же мгновение сердце ее взлетело куда-то высоко-высоко: возле их усадьбы стояла машина. Но сердце как взлетело, так и опустилось. Ольга Петровна узнала свою машину. В окнах хаты горел свет. И когда она вошла, увидела за столом дочку. Катя намазывала на булку паштет… Муж стоял у раскрытого холодильника, будто прикидывал, чтобы ему такое достать оттуда.

— Ты у соседей была? — спросила дочка. — А мы тут уже минут пятнадцать. Паштет у тебя вкусный получился. Что на тебя нашло, ма-а? Такой вкуснятины наготовила!

— Это, Катерина, интуиция маму вела, — отозвался муж, захлопывая холодильник. — Она думала, что едет на усадьбу одна, а подсознательно чувствовала, что мы двинемся следом… Вот и наготовила всего. Интуитивно! Даже на грыжу свою махнула рукой, такую сумку тянула.

Ольга Петровна сухо улыбнулась:

— И чего же это вы двинулись следом? Что случилось?

Муж сел за стол рядом с дочкой, отломил кусочек булки, намазал паштетом…

— Понимаешь, страшная штука похороны. В голову всякие мысли полезли о тленности человеческого бытия и все такое… Я даже на поминальный стол не остался. — Откусил булку, пожевал. — Жена Кулеша, точнее, уже вдова, сознание теряла. Хотя, в принципе, и не жена, и не вдова. Говорили, они давно развелись.

Ольга Петровна опять сухо улыбнулась, подошла к окну, задернула гардину.

— Было очень вкусно. — Дочь поднялась из-за стола. — Мне нужно ехать. Целую всех! Провожать будете?

И когда, проводив дочку, они снова вернулись в хату, Ольга Петровна сразу же сказала:

— Я пойду укладываться. За день утомилась. А ты поужинай, если хочешь. Я не буду.

И, зайдя за перегородку в небольшую комнату, где она обычно спала, начала расстилать постель. Подняла подушку и невольно вздрогнула: на простыне лежали три черных камешка, довольно-таки крупные. Круглые и приплюснутые, словно раздавленные шарики из пластилина. «А это еще что такое?» — подумала она.

— Ольга, слышишь? — подал голос из-за перегородки муж. — Мясо на косточке? Это же не свинина!

— Баранина! — звучно отозвалась она. — На Комаровке купила.

С этими словами Ольга Петровна и вышла к мужу, держа подушку в руках. Он ел. Она помолчала и сказала тихо:

— У меня там камни какие-то под подушкой. Откуда они могли появиться там?

— Э-э, это не камни, Олечка. Это — метеоритное железо. Рассказывают, когда-то здесь метеорит упал. На усадьбе кругляшки эти нашел… Ну и положил под подушки. Три — тебе, три — мне… Как говорится, на счастье. Все-таки с неба. Оттуда, — показал рукой вверх. — Подарок небес…

Она задержала на нем долгий взгляд и, ничего не сказав, пошла за перегородку. Бросила подушку на кровать и легла. За перегородкой хлопала дверка холодильника, звенела посуда, из крана лилась вода… Ольга Петровна проваливалась в сон, такой же неспокойный, как теплая, полная таинственных звуков и шорохов августовская ночь. Правда, еще успела подумать: «Нужно будет завтра же выбросить из-под подушки этот мусор!»

Да, мусор…

2006 г.

Ангел-хранитель

Они встретились, как и договаривались, поздним вечером и сейчас стояли недалеко от скамейки, время от времени поглядывая на распахнутое окно на втором этаже.

— А если она будет как раз в этой комнате? — спросил пятнадцатилетний Юрка у своего приятеля-ровесника Вадима. — Она же не будет молчать, сразу поднимет крик.

— Конечно, поэтому я и взял у брата газовый пистолет. На-а, бери, он понадобится в любом случае. Ее все равно придется отключать. Потом сразу откроешь входную дверь, я уже буду стоять на лестничной площадке. Только хорошо ухватись за подоконник.

Юрка взял пистолет, засунул его в карман легкой куртки-ветровки, посмотрел на окно, потом на козырек крыльца.

— Я вчера ночью залезал, — сказал он. — Окно так близко, что особо и подтягиваться не нужно. С ходу вскочу.

— Сперва вскочи! — оборвал его Вадим. — Ну, иди… Я постою здесь, пока взберешься на козырек.

И Юрка пошел к крыльцу.

Лида лежала на диване. В раскрытое окно комнаты плыл приятный холодок, и это было единственное, что доставляло удовольствие этим вечером.

Пробовала читать Шелдона, и не читалось. Более того, уже само название романа вызывало ироничную улыбку: «Когда наступит завтра». Она пока не знала, что там будет происходить в этой книге, а вот то, что она сама завтра навсегда откажется от Андрея, ей было уже хорошо известно. Она все выскажет ему, а может, и не будет высказывать: просто бросит трубку, как это уже делала не однажды. То, что еще совсем недавно казалось солнечным ударом, жарким, головокружительным подарком жизни, обернулось обычной любовной интрижкой. Ну и хватит, с нее достаточно! Возможно, и Андрей так же думает. Потому что уже не первый раз они договаривались встретиться и все срывалось. Вот и сегодня Андрей позвонил в последний момент: «Лето наших надежд — впереди! Не приеду. Нагрянули неожиданные гости, и как оставить своих домашних?» А она же оставила? — мужа, сына — там, в доме отдыха на Нарочи. Напридумывала всякой всячины, мол, позвонила соседка, которой она оставила ключи от квартиры, чтобы поливала цветы, пока они будут отдыхать. Мол, залили соседи сверху — прорвало водопроводную трубу. Нужно ехать, посмотреть, в каком виде теперь квартира!

Соседка действительно звонила Лиде, но совсем по другому поводу. Приезжал двоюродный брат Василий, привез вещи, которые ей достались от бабушки Мани. В прихожей до сих пор стоит этот мешок, а могла бы и распаковать его, так нет же — ждала Андрея! И ее охватила прежняя, жгучая недавняя горечь, еще не успевшая остыть, припорошиться временем.

Бабушку они похоронили три недели назад, и смерть ее была странной и загадочной. Бабушка умирала дважды. Лиде вспомнилось, как тогда, первый раз, ей позвонила жена двоюродного брата, мол все, нет у нас бабуси Мани, — собирайтесь, приезжайте! И они быстро собрались. Должны были ехать ночным поездом. А потом вечером — опять звонок, невероятно, но это было так, бабушка ожила. Ее уже помыли, но гроб еще был не готов, поэтому положили на лавку под иконы. И кто-то начал поправлять, сложенные на груди бабушкины руки и чуть не потерял сознание — руки были теплые: «Она живая!» И это было правдой. Скоро бабушка сама поднялась с той лавки и еще прожила целую неделю, но все время была будто не в себе. К докторам в райцентр отказалась ехать. Правда, местный фельдшер сам приходил, и хотя бабушка говорить с ним не захотела, пояснил, что, видно это у нее был такой глубокий сон. Одним словом, короткое летаргическое забытье. Сама же бабушка от всяких разговоров отмахивалась, только собрала для нее, Лиды, то да се в этот мешок, который и привез ей двоюродный, да еще написала письмо. И просила, чтобы обязательно передали ей. Но родственники куда-то его запрятали и потом, как ни искали, никак не могли найти, ошеломленные тем, что происходило: умерла, ожила, а ровно через неделю попросила, чтобы согрели воды, дескать, сегодня я уже действительно умру, как только обедня в церкви отслужится, потому и хочу сама помыться и одеться во все новое. Лиде рассказывали, что бабушка долго бродила по саду, по двору, будто прощалась, или, может, хотела как следует все запомнить на какую-то свою другую жизнь, а потом легла на кровать и… действительно померла.

Лида невольно вздрогнула, даже приподнялась, так громко хлопнула оконная рама, и сразу подумалось о сквозняке: «Наверное, поднялся ветер». Она и вставать не будет, чтобы закрыть окно. А может, все-таки почитать? — и снова взяла Шелдона. Если бы не сонная разомлелость, она еще сегодня достала бы вещи, которые привез в том мешке двоюродный брат. А что там было, Лида хорошо знала, просто не взяли мешок с собой, когда ездили на похороны бабуси. Двоюродный отговорил, дескать, когда-нибудь поеду в

Минск на машине, так и привезу. Что вы теперь будете таскаться с этим мешком! И Лида невольно заулыбалась: «Родненькая ты моя бабусенька, и как это ты сохранила то, о чем я уже давно забыла?!»

Завтра утром она достанет из мешка маленькое креслице, которое давно-давно для нее смастерил дедушка Федор, чтобы она, маленькая, могла присесть и дать отдых ножкам, которые только-только начали ходить. На спинке этого креслица дедушка выжег вензель, две буквы «Л. Н.» (Лидочка Нупрейчик), и украсил эти буквы замысловатым узором. Было в мешке и зеркальце в рамке, которую тоже сделал дедушка и пометил ее все тем же вензелем. А еще там был засов с глубокими зарубинами и длинный ключ с металлической капелькой, которая болталась на его конце. Когда-то этот засов был прибит к двери в бабушкиной хате, и как же она, маленькая Лидочка, страдала, открывая дверь, потому что та капелька должна была обязательно попасть в зарубину, только тогда засов отодвигался, а это не всегда получалось у Лиды.

И бабушка смеялась над ее неумением и приговаривала: «Когда вырастешь, я обязательно отдам тебе этот засов…» И вот отдала — и засов, и ключ лежат в мешке в прихожей, а бабушки уже нет. Похоронили, поплакали, но таков закон жизни, закон природы. Уже самим рождением человек осуждает себя на смерть. И она еще подумала о том, что когда закончится отпуск и они вернутся с Нарочи, то попросит мужа, чтобы прикрепил это зеркальце где-нибудь здесь, на стене этой комнаты, а засов и ключ они пристроят на кухне, — и уснула уже, наверное, глубокой ночью.

А утром ее разбудил звонок. Кто-то настойчиво звонил в дверь, и это был не Андрей, о ком она сразу же подумала. У него не было привычки приезжать, если накануне не договаривались. Так, может, кто из соседей? Открыла дверь и не могла поверить глазам: перед ней стоял человек в милицейской форме. «Наверное, ошибся подъездом или дверью», — промелькнула у нее мысль, а вслух спросила:

— Вам кого? Что случилось?

— А это я должен у вас спросить, что здесь произошло?

И милиционер вошел в квартиру, и все, о чем он говорил потом, Лиде казалось невероятным сном, самым настоящим абсурдом.

Они уже стояли у того окна, которое захлопнул сквозняк вчерашним вечером, и милиционер втолковывал ей:

— Ну, а шпингалет? Вы же сами видите, окно на шпингалет закрыто. Так что получается? Как это вы не подходили к окну? Кто же мог закрыть его на шпингалет?

И Лида не знала, что ему отвечать. Даже более, она все еще никак не могла поверить в то, о чем рассказывал ей этот молоденький лейтенантик, ну, а шпингалет…

— Он сам соскочил, — сказала Лида. — Рама захлопнулась с таким громким треском, внезапно… Я даже приподнялась с дивана, но ей-богу, ничего не видела.

— Неправда! Быть такого не может! — не верил милиционер. Он рассматривал шпингалет, закрывал и открывал окно, выглядывал во двор. — Ну, допускаю, пусть себе вы лежали на диване… А потом увидели руки, кто-то ухватился за подоконник. И вы все поняли и, слава Богу, не растерялись в тот момент. Вскочили, подбежали к окну и с размаху захлопнули раму! Сопляк и сорвался… От боли разжал руки… Он сам все рассказал доктору, нам и позвонили… Я уже был у него в больнице, он мне и адрес ваш назвал.

— Я не знаю, что он там рассказывал, — отвечала Лида, — но я действительно ничего не видела. Меня хотели обворовать, ко мне в окно лез какой-

то подросток, в кармане его куртки был газовый пистолет, а я даже шороха никакого не слышала? Нет! Не-ет! Окно захлопнулось и все! Я подумала о сквозняке.

И милиционер почему-то разозлился.

— Я не понимаю, чего вы боитесь? — не скрывал он своего раздражения. — Ага-а, закрыли окно! Да-а, у парня переломы! Так вы же защищались! Единственное, вам нужно было в тот же момент позвонить в милицию. Тогда еще ночью поймали бы и второго, который, как только этот сорвался, сразу же и сбежал. Где здесь у вас можно присесть? — спросил он. — Вам нужно написать заявление.

— Какое еще заявление? — удивилась Лида. — Что я могу вам написать, если я ничего не видела!

И милиционер махнул рукой:

— Как хотите! Я всего только участковый инспектор. Пусть со всем этим разбирается следствие. А как вы думали? — сказал он через паузу. — Вас обязательно вызовут, как потерпевшую.

И уже потом, когда милиционер ушел, Лида думала: «Ну какая же я потерпевшая? Если это действительно так было, то потерпевший этот подросток. Это он лежит в больнице, и у него какие-то переломы». И мысли переключались на другое: «Ну, а что было бы, если бы не внезапный сквозняк?! Просто с ума сойти можно! Подросток залез бы в окно… Я, конечно, кричала бы, звала бы на помощь, сопротивлялась! Но если у него был газовый пистолет, он наверняка стрелял бы… И что потом? Лежала бы здесь без сознания. А когда пришла бы в себя, могли бы даже убить. И из-за чего? Что у них тут можно взять? Боже, во что превратился этот безумный мир?» И Лида почувствовала себя очень несчастной: «Зачем только и ехала в Минск? Получается, что во всем виноват Андрей. Если бы не свидание, которое так и не произошло, если бы они не договаривались, ничего бы не случилось. И самое разумное сейчас — как можно скорее вернуться на Нарочь и обо всем рассказать мужу…» Эти ее мысли прервал телефонный звонок. Лида сразу же определила, что это межгород, может, как раз муж с сыном и звонят ей, но когда подняла трубку, узнала голос двоюродного брата.

— Ну, что вы там, вернулись уже? — спросил Василий. — Как отдохнули?

— Петя с Коленькой еще на Нарочи, — ответила Лида. — А тут возникли проблемы… Нас залили, — добавила неуверенно. — Я тоже еще вернусь туда. Путевки у нас до семнадцатого…

— Во-он как!.. А я был в Минске, — сказал двоюродный. — Ты же знаешь. Хорошо, что встретил твою соседку, оставил мешок. — Василий помолчал. — Ну, так что она тебе там написала? Мне, признаться, очень уж хотелось разорвать конверт, но подумал, что покойница обижаться будет. Ночами сниться станет.

— Какой конверт? — не сразу поняла Лида.

— А разве ты не нашла письмо, которое написала тебе бабушка Маня? Мы его отыскали, и я положил в мешок, заткнул за рамку зеркала.

И Лида мгновенно забыла все, что происходило этим утром: приход милиционера, подростка, который хотел ее ограбить, злосчастное окно… «Действительно, что могла написать бабушка Маня ей, Лиде, в своем последнем письме?!» Об этом думала Лида не один раз после похорон. И вот письмо нашлось и лежит теперь в мешке в прихожей. И Лида стала торопливо прощаться с двоюродным братом.

— Хорошо, Вася… Еще созвонимся. Я и не распаковывала мешок. Не успела… Пойду посмотрю, где там письмо…

И сразу же, как только положила трубку, бросилась к мешку. Быстро развязала шпагат, раскрыла мешок… Креслице с вензелем на спинке, какой-то сверток (видно, что-то передали родственники от себя), а это, наверное, зеркало, завернутое в платок. Вытащила его, сняла платок, и сердце защемило… На конверте, заткнутом за рамку, было выведено далеко не писарским бабушкиным почерком: «Внучке Лидочке». Разорвала конверт… Бабушка писала карандашом, слова чуть разбирались, но Лида читала:

«Дорогая моя внученька Лидочка! Поначалу, в первых своих словах хочу написать, что ты у нас с Федечкой была первая, потому и самая любимая внучка. А пишу я тебе по случаю, о котором ты уже знаешь, дорогая Лидочка. Тебе все рассказали. И ты поверь мне, внученька, прими все в душу свою. Я уже, золотая моя Лидочка, побыла Там… И Архангелы пресветлые меня встречали, и Федечку своего, а твоего деда, я видела, но и Там, Лидочка, бывают ошибки. Мне еще нужно было неделю побыть здесь, на земельке этой, и меня Архангелы пресветлые вернули назад. Но успела я кое-что там узнать. Потому и пишу тебе, Лидочка. Живи спокойно, моя родная внученька, радуйся жизни своей и ничего не бойся: ни человека поганого, ни зверя, ни несчастного случая, — письмо затрепетало в руках, на глаза навернулись жгучие слезы, Лида читала дальше. — У тебя от Бога есть заступничек, есть твой защитник, всегда верный тебе, твой Ангел-хранитель. Он будет вести тебя до самого конца твоего и будет распростирать над тобой свою пресветлую ладонь. Радуйся этой ласке Божьей, Лидочка, молись Богу и своему Ангелу-хранителю, советуйся с ним, надейся на него, проси у него помощи и верь ему, он — твоя счастливая судьба, Лидочка.

А вот Геник наш, твой младшенький брат, внученька, еще пока не заслужил жизнью своей заступника верного. Малолетний он, Лидочка, неразумный еще. И вот пишу я тебе, чтобы ты съездила к своей матери — моей Наденьке, мне самой не хочется ее тревожить, ты ей лучше все расскажешь. Так скажи ей, Лидочка, пусть она не отпускает Геника на озеро одиннадцатого июля, потому что может случиться беда. Запомни этот день, внученька дорогая, — одиннадцатое июля. Того, кто бережется, и Бог бережет. А по мне не убивайтесь плачем, как я возрадуюсь Там Богу, так вы тут возрадуйтесь жизни своей…»

Дальше шли слова прощания, и Лида вернулась к началу письма. Перечитала его еще раз: «…У тебя от Бога есть заступничек, есть твой защитник, всегда верный тебе, твой Ангел-хранитель». И сразу после этих слов, ей вспомнились другие, которые она услышала час тому назад от того молоденького лейтенанта милиции: «Вы же сами видите, окно на шпингалет закрыто. Так что такое получается? Кто мог его закрыть?!»

Мысли наскакивали одна на одну, путались и волновали ее необычайно. Она то перечитывала письмо, то вспоминала об окне… Ну конечно, пробежал внезапный сквозняк, но если поверить бабушкиным словам, так никакого сквозняка и не было. Окно закрыл ее Ангел-хранитель, и это уже похоже на самую настоящую мистику, или, наоборот, Лиде суждено прикоснуться к какой-то большой тайне, которая не каждому и приоткрывается. Нет… Лида не однажды слышала от бабушки и про архангелов пресветлых, которые когда-то ее встретят на небесах, и о том, что где-то Там… в свое время бабушку встретит дед Федор, который помер лет пятнадцать тому назад. Местный фельдшер сказал, что у бабушки было короткое летаргическое забытье и во время этого забытья ей могло что-то такое привидеться, вот она и написала Лиде… А шпингалет сам соскочил от сильного удара рамы.

Лида подошла к окну, раскрыла его, подняла шпингалет и с силой захлопнула раму. Шпингалет не соскочил. Он вообще был довольно тугим, значит,

и вчерашним вечером не мог соскочить сам по себе. Она затаила дыхание… Тогда получается, что у нее действительно есть Ангел-хранитель. В таком случае и то, что пишет бабушка про Геника, тоже может быть правдой. Так чего же она медлит? Нужно собраться и ехать к матери! Это совсем недалеко от Минска. За полтора часа она доедет до городского поселка, а там каких-то восемь километров до их Ницевки. И уже к обеду она будет у родителей. Мать сама прочитает бабушкино письмо, она ведь так жалела, что его никак не могли найти. И Лида расскажет, как их хотели ограбить…

Конечно, она должна немедленно ехать. Она взглянула на стену, где висел настенный календарь, и обмерла: воскресенье, одиннадцатое июля! День, о котором упоминает бабушка. Как же она забыла?! Еще вчера отрывала листки с календаря. Оторвала и вчерашнюю субботу, а воскресенье оставила. Посмотрела на часы: да какое там к обеду?! Она может добраться к родителям и под вечер, смотря как повезет с автобусами. «А может, все это неправда? — снова подумалось ей. — Бабушке привиделось что-то… во время летаргического сна. А если правда? Надо срочно позвонить агрономше Гале, которая живет через два дома от родителей, и попросить, чтобы позвала к телефону мать… Рассказать про бабушкино письмо и о том, что она написала про Геника». И Лида пошла к телефону…

— У вас дома никого нет, — ответила Галя. — Отец твой на рассвете по дрова подался, лошадь в лесничестве еще с вечера взял, с ним и мать поехала. Тут у нас черника весь лес усыпала, так хочет она ягод насобирать.

— Ну, а Геник? — спросила Лида.

— Он с ведром, видела, шел, может, с час тому назад… Видно, на озеро с ребятами двинулся. Они там постоянно раков ловят.

И у Лиды все похолодело внутри… Бросила трубку, почему-то опять взяла бабушкино письмо, пробежала глазами: «…Пусть она не отпускает Геника на озеро одиннадцатого июля, потому что может случиться беда». А Геник уже пошел на озеро, и она не смогла, не успела предупредить мать! Лида сложила на груди руки. Она ничего другого не могла придумать, кроме как обратиться к своему Ангелу-Хранителю:

«Если ты действительно у меня есть, — взволнованно зашептала она, — мой Ангел-хранитель, если то, о чем написала бабушка, правда, так помоги мне сейчас. И, может, это будет единственная моя просьба к тебе, может, я никогда больше к тебе и не обращусь. Спаси Геника, помоги ему, окажись в тот момент возле него, когда что-то такое должно будет случиться! Послушайся меня, мой дорогой заступничек. Ты же должен знать Геника, так можешь ли ты допустить какую-либо беду?! Я никогда не прощу себе, если что-то плохое произойдет! Разве в радость тебе будут мои слезы, муки мои? Миленький, не отвернись, услышь меня, сделай для меня это… Если ты от Бога, ты все можешь!..» — Она еще долго что-то шептала, а потом быстро собрала дорожную сумку, проверила, хорошо ли закрыты окна, и покинула квартиру.

Через два часа, как и надеялась, Лида уже была в маленьком городском поселке. Погода на глазах менялась. Когда выезжала из Минска, пекло солнце, а тут внезапно поднялся ветер, совсем не по-летнему резкий и холодный. Из-за горизонта выплывала тяжелая черная туча, и где-то там, еще далеко, время от времени вспыхивали молнии, глухими раскатами отзывался гром. Она уже взяла билет на местный рейс и теперь стояла на крыльце старого автобусного вокзала. До отправления автобуса было еще полчаса. «Так что же там дома? — думалось Лиде. — Вернулись ли из лесу родители? А Геник? Может, и он уже пришел с озера? Что же я тревожусь, волнуюсь, если можно опять набрать Галин номер?»

Лида сошла с крыльца, в глаза сыпануло пылью, песком… «Ну и ветер! Скоро он утихнет, все успокоится… И тогда хлынет дождь! Видно, будет сильная гроза. А вот и будка телефона-автомата у газетного киоска, и какой-то мужчина идет к ней. Возможно, начнет какой-то долгий разговор, а у меня нет времени ждать», — подумала Лида и бросилась ему наперерез, чтобы опередить, и в то же мгновение оглянулась на крик… Просто на нее летел огромный кусок ржавой жести, который ветер сорвал со старой вокзальной крыши, и это было последнее, что она видела в своей земной жизни.

А в это самое время в родительском доме на веранде Надежда Федоровна, ее мать, перебирала чернику. Ягоды собирала без спешки, и все же прокидывалась иглица и мелкие листья ягодника. С тревогой поглядывала на окно, за которым все небо обложила тяжелая туча. Вспыхивали яркие молнии, и тотчас же звучно громыхал гром, и она беспокоилась, что еще ни мужа, ни сына нет дома. Но вот, кажется, идет Геник, мелькнула его кепочка. Звякнула щеколда, Геник остановился в пороге…

— Чего ты там встал? — сказала она. — Иди в хату, поешь.

— Ты ругать меня будешь, — сказал Геник.

— Чего это я ругать тебя буду?

— Я под коряги, что возле валуна, заплыл и в водорослях запутался. Испугался, чуть выпутался, все равно как кто-то помог мне. Мог захлебнуться!

Надежда Федоровна хотела что-то крикнуть в ответ, но заметила в окна, что кто-то бежит к ним в хату. Присмотрелась и узнала агрономшу Галю. Отставила чернику, вытерла о фартук руки. А Галя как вбежала на веранду, так и застыла…

— Ну, что же ты, Галочка, может, что-то одолжить пришла?

Галя не смотрела на нее, все отводила и отводила глаза, а потом обняла Геника, прижала его к себе и выдохнула:

— Нет, нет, тетенька Надя! Не могу я вам сказать такое! Лида ваша… Лида… Вам в городской поселок как можно скорее ехать надо!

И последние ее слова заглушил водопад дождя, который хлынул с небес в неистовой безудержности, заливая все вокруг. За окнами — шумело, гремело, стонало…

Это плакал Ангел-хранитель.

1999 г.

Перевод с белорусского автора.



МИХАИЛ ШЕЛЕХОВ

Имена на граните

Бронзовый сирота

Здесь армии прошли. И отдымились версты.
Не злится воронье на санитаров строй.
Трава стоит — жива, где положили роты
Сто тысяч лет своих — в песок земли чужой.

Холмы сырой земли черней смертельной раны.
И водка для живых, как смерть сама, крепка.
А земляничный дух не выбитой поляны
Амброзией летит к героям в облака.

Примяли русый чуб чужой песок и гравий.
В чужое небо взвод три залпа вбил, как клин.
И поспешил вперед, как феникс многоглавый,
А на земле чужой остался русский сын.

Холмы земли свежей, чем кровь геройской раны.
И прячется звезда в тени скорбящих лип.
Но птицы, что летят в апостольские страны,
Садятся, чтобы взять щепоть святой земли.

Тут юный спит герой. Как сказочная птица.
Прибалтики герой, не нужный нынче ей.
Так плачь и не молчи, небесная станица!
И Богу говори про всех его детей.

Имена

На высотах отчизны трава не трава —
Шрамы белые лютой войны.
То ли славы солдатской простые слова,
То ли слезы ночной тишины.
Как влюбленные пальцы в пожатье одном,
На граните сплелись имена.
Полстраны заболит, чуть заденешь крылом,
И во всех отзовется война.

Долго в шрамах траве зеленеть и желтеть,
Но оденутся в снег имена.
Долго птице стесняться печали, как смерть,
Но наплачется вдоволь она.
И, читая фамилии в камне живых,
Будет до веку птица кружить
И считать, и считать, и считать для глухих,
Только мертвым без просыпу жить.

Но однажды забьет барабан под землей,
И очнутся в могилах полки.
Соберутся весной мужики над сохой
И затеют клепать сошники.
И распашут отчизну навстречу корням,
И железное жито взойдет.
Чтобы крепко стоять на камнях именам
Через все небеса напролет.

Последний смотр

Во тьму — товарняки на огненной метле.
Во тьму — фронтовики по тающей земле.
Прозрачнее мечты, багрянее любви.
Их темные черты — объял закат в крови.

А кровь моя стоит — не в силах удержать.
А кровь моя бежит — не в силах добежать.
Как факелы в руке немеркнущей земли,
Уходят налегке — босые, как пришли.

Давно ушел их вождь и генеральный штаб,
На тот загробный смотр, на праздничный корабль.
Одна гроза на всех, один на всех приказ.
И генеральный смех, и блеск верховных глаз.

И все прозрачней тень от уходящих спин
На мой веселый день бросает тихий клин.
Трезвонят ордена на вековом ветру.
И дальняя война — на призрачном смотру.

Ночные полки

Полнолунье. Жуки не слышны.
По лопаткам ползут сквозняки.
На деревьях одежду войны
Шевелят батальонов штыки.

Вот проходят, чеканя шаги,
Как туман, не сминая травы,

Молодые в века старики,
Что навек перед Богом правы.

Молчаливые тени полков
Прошивает полуночный дождь.
И моя обмирает любовь…
Ты зачем за полками идешь?

Прошивают их фары машин
И врубаются ветром в ряды.
Но прощают солдаты живым
И не ждут табака и воды.

На тяжелой весенней земле,
На победном посмертном смотру
Я повинен в одном волшебстве —
Видеть старых солдат на ветру.

Как они, не сминая цветов,
Я хотел бы однажды пройти —
За спиною ночных стариков,
Что моложе своих двадцати.

Музыка для без вести пропавших

Вчера я видел с сумкой почтальона.
Тащил он сумку до звезды — и дальше.
— Все это для шестого батальона.
Для гарнизона без вести пропавших.

Неслась куда-то экстренная помощь.
— Куда твой крест? Ответь скорей, карета.
— Для без вести пропавшего.
— Догонишь?
— Попробую, хоть непосильно это.

Учительница шла учить детишек.
А кто они — чужие или наши?
Опять в нулевке не хватает книжек
Для ребятишек — без вести пропавших.

Грузили хлеб. И пахла позолота
Всей лаской материнства и печали.
Как горек хлеб. Он для седьмого взвода,
Что без вести на рубеже пропали.

Пеките хлеб и зажигайте лампы!
Но тратьте уголь правильно в котельных,
Чтобы согрелись армии на марше,
Погибшие на сквознаках смертельных.

Чтоб было слышно — до звезды и выше,
Как нежностью мы побеждаем горе.
Звучит похоже, как для тех, кто в море, —
Та музыка для без вести пропавших.

Победа

Дело было на седьмое ноября.
Почему-то не хотелось больше жить.
А на город, как чума, ползла заря
И готовилась под флагами ходить.

Надевала шаровары свои Русь,
Надевала свою юбочку Москва.
Мы прошли такой большой и сложный путь,
И могучи у брандспойтов рукава.

Как волнуется в пикетах молодежь!
И куда ее потащат старики.
У раскрашенной речугами пивной
Коротались незабвенные деньки.

Эта пена и горька, и солона.
Но под залпами салюта подшофе
Не забыть бы, как раздетая страна
Танцевала в 45-м в галифе.

И не брал ее озноб или загул,
И была ее головушка светла.
И никто ее в участок не тянул,
Потому что она трезвою была.

Так была она, родимая, трезва,
Эта резаная, колотая кровь.
От победы ни жива и ни мертва.
Упаси Господь увидеть это вновь.

Я гляжу-гляжу на бедную страну
И на синие ее под глазом фонари.
Полюбить тебя? А если обману?
Разлюбить? Так не разлюбишь, хоть умри.

Шелковистая и бедная юдоль,
И копеечку не спросишь — зашибут.
И куда тебя твоя потащит боль,
И куда тебя родные поведут?

Распечатали мы на трое коней
Эту горечь, эту синюю крутель
И бредем, стучась башкой до лучших дней,
То в кремлевскую, то в мурманскую ель.

Потому как нам на свете повезло.
Даже некому на кладбище сказать,
Как от трезвости дороги занесло,
Как от пьянства душит сердце благодать.

Четвертая звезда

Памяти каждого четвертого
белоруса, погибшего во время
Великой Отечественной войны

За околицей — три столба.
Три дороги как три судьбы.
И четвертая есть судьба,
Но дороги нет до звезды.

Ветер носится к трем звездам,
А к четвертой — не кошен путь.
Та звезда, будто **Аз воздам!**
Ей попробуй в глаза взглянуть.

Те глаза — точно пули свист,
Те глаза, точно дым печей.
Поглядят — облетает лист.
В очи глянут — и ты ничей.

Но попробуй ее найти,
Ту, четвертую, в облаках —
Только месяцем ночь глядит
Да железная тьма в руках.

Ах, как плачет в ночи звезда
Тьмою умерших голосов!
Разрывается голова,
Крепнет ненавистью любовь.

Три дороги — моя любовь.
На четвертой — моя печаль.
Я не стал бы самим собой
Без печали той по ночам.

Без разлуки той — на крови
И без плача — не дай вам Бог.
Бранный род мой, поклон прими.
Землю спас ты и в землю лег.

За околицей — три столба.
Три столба — зелены дубки.
И четвертая есть судьба.
Звезды павшие — земляки.



СВЕТЛАНА КРЯЖЕВА

«Монолит» Веры

Рассказ

Забытая фотография

Разбирая архивы, Вера вдруг обнаружила давнюю, забытую, девичью фотографию… Не умела еще она в тот период жизни скрывать слабости. Напрасно фотограф, не владея техникой цветной печати, пытаясь приукрасить изображение, «напомадил» пунцовой краской ее по-детски припухлые губы. Никакой косметикой она тогда не пользовалась и оказалась запечатленной такой откровенной и беззащитной, какой и была в действительности.

Это теперь она научилась выглядеть вполне уверенной в себе и невозмутимой, за что на работе ее единодушно прозвали — «Монолит».

Вера грустно улыбнулась и, держа фотографию перед собой, зачем-то стала поворачивать ее по часовой стрелке. Под изменяющимся углом зрения изображение вдруг словно ожило.

По мере того как Вера вглядывалась в свое ожившее изображение, глаза ее наполнялись влагой, и неслышно подошедшая сзади семнадцатилетняя дочь застала маму совершенно расчувствовавшейся, что было до крайности необычно. Никто не мог припомнить, чтобы Вера давала волю эмоциям. Каждый шаг она совершала просчитанно, обдуманно и целенаправленно, оставаясь с виду спокойной и невозмутимой.

Да, не могла она бесцельно порхать подобно другим женщинам — давала знать себя больная нога. Словом, Вера была хромоножкой! В ранней молодости это было почти незаметно. Просто походка ее не отличалась стремительностью, но по мере того, как тяжелели кости и расширялась нижняя часть тела, хромота проступала все явственнее. И уже ни прекрасные глаза ее, ни пленительные плечи и грудь не могли переключить внимание окружающих.

А жесткость в ее характере начала проявляться с той самой поры, когда уже любой встречный-поперечный невольно отмечал этот ее недостаток.

Не уступая никому ни дороги, ни места в общественном транспорте, Вера отворачивалась от входящих в автобус стариков и пристально смотрела в окно. Когда же добропорядочные граждане пытались пристыдить ее и воззвать к совести, она доставала скрытую полой плаща свою клюшку, и предъявляла ее салону на обозрение, в душе кляня «отзывчивых» граждан.

По-настоящему ущербной и обиженной она осознала себя, когда родила внебрачного ребенка, к тому же девочку… Весь девятимесячный срок вынашивания дитя ее не покидало ощущение себя «жертвенной ланью», выловленной опытным охотником в дремучем лесу бесчеловечных отношений. Молодой человек, взвешивая все «за» и «против», так и не поддался чувству ответственности, а чтобы окончательно поставить точку в их отношениях, бойко ретировался за раздвинувшийся горизонт границы. В проектном инсти-

туте, где Вера работала по университетскому распределению, все сочли такое положение вещей вполне допустимым, а появление ребенка расценили как защитный механизм женщины, имеющей серьезный физический недостаток. Участливые сослуживцы собрали для младенца детскую одежду, игрушки и пеленки. Веру не только никто не осудил, а напротив, сойдясь в едином мнении и соблюдая остатки социалистической законности, профком, администрация и Совет трудового коллектива предоставили ей отдельную квартиру и оказали надлежащую материальную помощь. Шли годы. Время туманных проектов изживало себя, наступила перестройка, в процессе которой институт завершил свое существование, а интеллигентская прослойка в очередной раз отправилась искать себе применение.

Вере удалось устроиться кладовщицей в недавно открывшемся магазине-дискаунтере, хотя и находящемся в непосредственной близости от кольцевой дороги, но зато с остановкой автобуса у самого дома. Теперь она кидала-таскала упаковки с гречей-рисом, макаронами, сахарным песком и солью. Загрузив доверху тележку, благо просвещенное человечество изобрело к этому времени уже не только одно колесо, а целых четыре, соединенных нержавеющей плетенкой, Вера, облаченная в темно-зеленую спецодежду и рабочие перчатки, выкатывала свой груз со склада через длинную коридорную магистраль в торговый зал, где выкладывала товар. Сказать по правде, тележку она не просто катила, а «шла напролом», не уступая своей дороги никому, кого бы ни встретила на пути. При всем этом Вера обнаруживала в себе ранее невостребованный запас скрытых сил и возможностей. Прежде, еще в институтской «нескладухе», сидя за компьютером, к своим сорока годам она заполучила не только излишний вес, но и сопутствующие ему гипертонию, геморрой и воспаление желчного пузыря. Теперь же все заболевания куда-то улетучились, и ее фигура вновь обрела гибкость и легкость. И только нога болела все сильнее. Поначалу контракт с нею был заключен сроком на год, но вот уже четыре года беспрепятственно продлевался, как с одной из лучших работниц. Ни в воровстве, ни в прогулах она, естественно, замечена не была. Невероятно, но — факт: испытание материальной ответственностью не всякий выдерживает, однако Вера успешно «держала марку», ей ли увеличивать число своих недостатков! Руководство выставило ее кандидатуру на конкурс замены должности завскладом, собирающейся в «декрет».

Вера понимала, что жалость придумали слабые, а неравенство — сильные, и нормальному среднеуязвимому человеку приходится маскировать свои недостатки и учиться быть хватким. Известно, что и хромоножки тоже могут быть хваткими, как та Знаменитая хромоножка — фаворитка «Короля-Солнца» Людовика!

С персоналом дискаунтера Вера была немногословна, используя только необходимый, трудовой лексикон: «привет-пока, левее-правее, давай скорее, не топчись на месте, выполним, не вопрос».

Основная беда кладовщиц — острый дефицит общения, поэтому многие из них по прошествии некоторого времени начинают как бы «заговариваться» и вести вслух беседы сами с собой. Вера же избегала этой привычки и еще глубже уходила в себя, тем самым подтверждая правдивость своего прозвища — «Монолит». Очень многое примечала эта строгая и вдумчивая женщина. Среди многочисленного, порядка нескольких сотен, преимущественно женского персонала дискаунтера не находилось и пары родственных душ, каждый был сам за себя, а до других никому дела не было. Жизнь в современном мегаполисе становилась все более отчужденной! Люди все более отдалялись друг от друга, скрываясь за масками молчаливого равнодушия. Хотя какая-то часть чудаков и поныне еще оставалась. Народ ведь наивен по своей сути, как дети, которые трогательно доверчивы, пока не убедятся, что они — сироты.

То пенсионерка Петровна приносила молоденьким продавщицам, имеющим малолетних детей, обувку, «балетки», оставшиеся от многочисленных внучат, то Иосифовна денежкой подсобит до зарплаты, то Адамовна в жаркий день даст напиться из поврежденной при транспортировке бутылки с минералкой. Но эти чудаки в расчет никем не принимались, поскольку были они все люди нехваткие, ни с кем не соперничали и ни на что особенное не притязали. А Вера стремилась стать хваткой, не упустить своего шанса, хотя в глубине души она тоже походила на тех же Петровну, Иосифовну и Адамовну.

День Веры

Рано отправлялась Вера на работу, часа за полтора до начала, с учетом двадцатиминутной езды на автобусе. Куда позже выходила ее соседка Зина, быстроногая, сухощавая женщина средних лет. С расчетом на свою хромоногость Вера делала почти двойной накид на время. Она шла торопливо, дыхание было сбито, и выдыхать ей приходилось ртом. Немолодая, уже за сорок пять, не вполне уверенная в себе, не способная на сто процентов оставаться собой, раз добывать хлеб насущный приходилось по-всякому, не сказать, что любимая… Но кто сказал, что в жизни должно быть все просто! Надо быть заведомо готовым к трудностям! Вечного везения, как и вечной молодости, не бывает: только что человек родился, а его родовые складочки на лбу, раз — и обратились уже в морщинки! Стержень человека — это воля, на сколько у кого ее хватит. Случается у некоторых необыкновенный взлет, удача во всем, но — нет: воля оборвалась, и — конец!

Явившись на работу одной из первых, она переоделась в гардеробе, а когда уже застегивала пуговицы своей спецодежды, запыхавшись, влетела Зинка.

— Ну, здравствуй, Зинок! — ответила на ее приветствие Вера. Тут же следом за Зиной в гардеробную неслышно впорхнула еще одна резвая кладовщица, Тома.

— Привет! — одновременно произнесли все трое и рассмеялись.

Далее Вера начала спускаться с лестницы второго этажа вниз, продолжая отвечать на приветствия все подходивших работниц. Она еще не добралась до дверей своего склада, когда ее обогнали и Зина, и Тома, и еще пара человек.

— Левее! — крикнула Вера идущим навстречу ей сотрудникам, подхватила свою, с вечера еще загруженную бакалеей тележку, направляясь со склада в торговый зал. Впереди ее Анжела, размеренной походкой с тележкой сосисок направлявшаяся из колбасной камеры в торговый зал, инстинктивно рванулась в сторону, уступив дорогу.

— Давай скорее! — сделала корректировку перемещений в пространстве Вера, идя напролом мимо холодильных камер глубокой заморозки. Навстречу ей со стороны приемки товаров грузчики вывозили широкий поддон, доверху нагруженный мешками с мукой. Они притормозили и предусмотрительно сделали остановку, пропуская разогнавшуюся Веру с переполненной тележкой.

— Верк, про соль не забудь, побольше прихвати! Что-то старухи опять ее стали впрок закупать, — выдала ей ценные указания припозднившаяся на работу заведующая.

— Выполним! — с твердостью в голосе ответила Вера.

— Да гляди, конфеты в коробках на верхние полки ставь, чтоб руками не трогали! На ящик заберись! — уже вслед руководяще прокричала она.

— Не вопрос, выполним! — невозмутимо, с готовностью громко отозвалась Вера, живо представив, каково же ей с больной ногой взбираться на неустойчивый пластмассовый ящик.

Часа два с половиной продолжалась сосредоточенная молчаливая гонка с подвозом различной бакалеи. Позже, уже ближе к одиннадцати часам, прибыли от предприятия-поставщика два молодых ловких мерчендайзера и самостоятельно разместили свой товар на стойках-витринах в зале.

— Молодцы! — похвалила сноровистых «мерчей» Вера и направилась навстречу прибывшим на акцию девушкам-промоутерам, сияющим в разноцветном облачении и на высочайших шпильках, не снившихся и манекенщицам. Предстояла дегустация десерта.

— Отпробуйте у нас, пожалуйста! Угощайтесь! — наперебой стали предлагать свой товар девчата.

— Ну, спасибочки! Удачи вам! — сняв пробу новой марки йогурта, напутствовала их Вера, зная, как нелегка работа промоутера и что уже через пару часов эти девушки, стоя босиком на плиточном полу туалета, будут стонать и проклинать «инквизиторские» каблуки своих модных туфель.

— Мы рады, что нас выбрали на эту высокооплачиваемую работу! Потерпим! — с оптимизмом отозвались девчата, все студентки.

Подступало обеденное время. Обед Веры состоял сегодня из пары захваченных с собой бутербродов и чая из электрочайника, а также баночки картошки, разогретой в микроволновке, здесь же, в комнате для приема пищи, где стояли столики, и за ними сидели обедающие сотрудники.

Вера тяжело опустилась на стул, скинула под столом обувку и сидела, вытянув отекшие натруженные ноги. Больная стопа онемела, Вера ее не чувствовала. Между тем день еще только разгорался, и предстояло выдержать на ногах, как обычно, двенадцать часов, присев лишь на краткое время обеда.

Соседки за столом обсуждали своих свекровей, отчасти перепадало, как это водится, и мужьям.

— И зудит, и зудит! Вари ей трижды в неделю первое! — возмущалась по поводу своей свекрови маленькая кудрявая кассирша, само очарование.

— Да это — еще что! Моя требует, чтобы я холодец готовила! А на это весь выходной уходит. Да еще чеснока как насыплет — чертям тошно станет, — в унисон с нею возмущалась своей свекровкой другая, тоже очень привлекательная кассирша, Катенька.

И только худая, как карандаш (так ее Карандашом и прозвали), продавец молочного отдела Наташка, бывшая детдомовка, не поддержала эту наступательную линию.

— Я бы за счастье посчитала и суп, и холодец варить, лишь бы и у меня свекровка была, или хоть какая другая бабушка! Мы ведь с мужем детдомовские оба.

— А ты, Карандашик, не разыскала еще свою отказницу-мамашу? — быстро переключились на нее обе кассирши-сплетницы.

— Нашла, да что толку-то! В тюрьме она, срок отбывает. При первой же встрече у меня «дозу» потребовала. Не хожу к ней больше и адреса своего не оставила…

— Ой ли? Лукавишь, Карандашик! А кто фрукты-уценку кило на пять вчера у заведующей выпрашивал? Клялась, что для больной матери!

— Ну, дак жалко же ее! Может, она фруктов поест и с наркотой покончит. Ничего ведь она в жизни своей хорошего не видела, сиротой, без отца, в нехватке выросла.

— Ну, ты даешь, Наташка! Забудь к ней дорогу и не надейся! Горбатого могила исправит! Ты-то тоже в нехватке росла, заметь, в полном сиротстве, а школу с отличием сумела окончить, работать, вон, научилась! Так что забудь жалость всякую!

Наташка-Карандашик обидчиво подперла рукой подбородок, угрюмо уставившись в одну точку.

— Я так мечтала, чтобы бабушка у детей была…

— Да не ной, дуреха! У тебя двое детей, вот и старайся, воспитывай! Книжки с картинками покупай! В цирк своди!

Вера не особенно внимательно вслушивалась в разговор молодежи, думала о своем.

Неожиданно забот у нее прибавилось. Леонид был водителем-«международником». Ездил по странам СНГ, бывшему, значит, Союзу. Уж и не молод, но осанист, с гордым профилем и орлиным взором. Когда его мать хватил инсульт, забрал ее из деревни «для досмотру». Но не долго прожил он в своей семье с такой обузой — жена не выдержала капризов больной свекрови, незаладившей с невесткой. В результате купил Леонид однокомнатную квартиру для матери по соседству с Верой и решил сам досматривать старуху. Убедившись в тяжести своего креста, он рад был помощи, оказываемой ему отзывчивой соседкой. Запали ему в душу ее огромные глаза, а может, не только за глаза она приглянулась — не важно! Словом, стал он вскорости жить у Веры как хозяин, разделив с нею свои обязанности по уходу за матерью. Мужчина оказался он непьющий и при деньгах. У обоих началась вторая молодость. Дарил Леонид любимой женщине дорогие украшения, кружевное белье, и однажды меховую шубку! Денег давал щедро, не считая. Однако строго следил за тем, не лежит ли больная обмоченной или с пролежнями. Летом на пару недель они, как бы единой семьей, прихватив и Верину дочь-подростка Людочку, ездили на море. На это время для ухода за старушкой поднанималась соседка Зина. После морских купаний нога Веру с полгода не беспокоила, хромота стала почти незаметной. Но спустя месяцев восемь возьми да умри несчастная старушка, измучив перед этим всех окружающих! А причудам ее не было конца! Чего только стоило одно из требований: «Крутись как хошь, а чтоб были мне всегда новые конфеты!» Попробуй не угоди — тут же вызывалась армия врачей, трижды в сутки «скорая помощь», ежечасно измерялась температура и срочно, в любое время дня и ночи, доставлялся на дом священник для исповеди и соборования. Ничего себе — бывшая крестьянка, а замашки, как у графини! Но Вера с ангельским терпением, молчаливо сносила и эти выпавшие на ее долю трудности.

Однако со смертью старушки, как ни печально, пришел конец и, казалось бы, прочным их семейным отношениям. Продал Леонид свою «однушку». В знак благодарности «за все хорошее» купил Вере новый телевизор, дал денег на ремонт квартиры и был таков! Обратно в свою семью ушел, его сын уже заканчивал школу, и пришла пора ему определяться в жизни. Поначалу, что особенно было больно, Леонид по привычке еще звонил Вере, заходил и оставался у нее на денек-другой, дочку помог на обучение в медучилище пристроить… Но он все же ушел.

Вера допила свой чай. Нога распухла и в туфлю не вмещалась. До конца обеда оставалось еще минут десять…

После ухода Леонида здоровье у нее совсем расшаталось, почему-то бухнул гипертонический криз, а нога стала подворачиваться. Вера молчаливо терпела, не «грузя» своими неприятностями родных и знакомых, не жалуясь, по возможности глубже уходя в работу.

— Ну, ты — монолит, Верка! — удивлялись знакомые ее несгибаемой выдержке. — Ничем тебя не прошибешь! Другая баба изревелась бы вся — такого мужика лишилась!

А на работе все было как положено.

— У «Монолита» на складе всегда порядок.

— «Монолит» на работу рано приходит, часы по ней сверять можно.

«Неужели, — думала Вера, — в этом прозвище и заключается главное мое качество? Но что же делать, с народом не поспоришь. Суров. Ему виднее, и жизнь у него не сахар».

После пяти часов вечера к обязанностям Веры прибавлялась выкладка мороженого из камеры глубокой заморозки (-24 градуса) в холодильники торгового зала. Это был накал работы, и времени не всегда доставало даже на то, чтобы набросить куртку на плечи. Так, в халатике, налегке, загружалась каждый раз она в морозильной камере до 10—15 минут.

— Верка, «Монолит», да ты совсем — снежная баба! — подшучивали над ней фасовщицы, неподалеку от нее чистящие капусту.

— Молчите, бабочки-капустницы! — сдувая со лба заиндевелую прядь волос, возвращала им шутку Вера.

Так проходил Верин рабочий день, как две капли воды похожий на дни других работниц этого торгового предприятия.

Обида

Пятый год трудилась на складах дискаунтера Вера и в былые времена вполне заслужила бы звание Ударницы Коммунистического труда. Однако предприятие, на котором столь старательно она работала, не являлось государственным, и порядки в нем были особые. К весне сменился инвестор, и заокеанский распорядитель выслал на объект расторопного менеджера, турка Вахиба, переименованного тотчас трудящимися в Васю. Вася-турок настойчиво занялся логистикой, четко устраняя все излишки поставок и наводя жесткую экономию во всем. Это означало преобразование отечественного размаха торговли в скаредный иностранный расчет при извлечении максимальной прибыли любым методом. Следующее новшество, которое ввел наблюдательный иностранец, — это кабальный труд, — продлив рабочий день еще на три часа, с одиннадцати до двух часов ночи. Покривили рот женщины при этом нововведении, да работать все же остались. Уволилась лишь незначительная часть, в основном те, кто давно подыскивал себе другую работу, располагая уже на тот момент какими-то вариантами.

Неимоверная усталость овладела всем существом Веры, ослабляя волю, не оставляя от присущей ей бодрости даже воспоминаний. Все свои выходные пролеживала она на диване за чтением, ставя примочки на больную ногу. Врачи, к которым она уже неоднократно обращалась за помощью, категорически отказывали ей в направлении на МРЭК для назначения группы инвалидности.

Леонид позвонил неожиданно и назначил встречу почему-то не дома, а в китайском ресторане. Не вполне удовлетворил Веру вид любимого человека, но держалась она ровно и сдержанно, словно в тон китайскому церемониалу.

— Следит, понимаешь, жена, к тебе нельзя, — безуспешно пытаясь палочками ухватить с квадратной тарелки деликатесную миногу, сообщил он. — Но я, наконец, решился объясниться. Из всех женщин, что мне встречались, не было ни одной такой замечательной! И красива, и мила, и аккуратна, а также работяща. А главное — молчалива. И если бы, ты сама понимаешь, не твоя хромота, — звезда в полном смысле слова! В этом я тебе хочу признаться на прощание. Не скоро теперь мы увидимся! Еду надолго, на этот раз в Европу. Сына-язвенника отбил от армии, нужны деньги. Буду вкалывать, не до личной уже жизни. Еще хочу сказать, что преклоняюсь перед тобой…

«Ушли его слова в прошлое. Так-то оно. Ничего не попишешь! Смешно и горько подумать: в любви признался, когда уходил… Нескладуха во всем», — сделала заключение Вера, плотно затягиваясь в свой «монолит».

Не получив в зарплату ни рубля, ни цента прибавки из-за ухудшения режима работы, вспыхнула Вера и высказала вслух недовольство по этому поводу. А на следующий же день администрация контракт с нею расторгла со словами: «Нам калеки не нужны!»

Молча сдала Вера свою зеленую спецодежду, получила на руки причитающуюся ей мизерную денежную выплату и трудовую книжку, затворила дверь в этот гигант торговли с «другой стороны». Смутное чувство позора и унижения охватило ее.

Одновременно с нею было уволено еще несколько недовольных человек, в основном из числа тех, кто имел высшее образование. На смену им тут же выстроилась очередь на оформление, целиком состоявшая из провинциальных жителей, явно недавно прибывших в столицу на заработки.

Вера отчетливо понимала, что фразой, прозвучавшей при увольнении, именно той, которой, точно ударом хлыста, «спровадили» с работы, ее встретят и в любом другом месте.

В свободном полете кружил запоздалый позднемартовский снег. Билеты на общественный транспорт с недавних пор вздорожали, поэтому Вера предпочла идти пешком. Спешить было совершенно некуда, и не с кем было разделить свою боль… Вера проходила мимо замечательных развлекательных центров и зеркальных офисных дворцов, мимо других, молниеносно, как грибы, выросших гигантов торговли. На повороте из микрорайона она машинально перекрестилась на массивный деревянный крест начавшей строиться церкви. По Земле продолжало шествие третье тысячелетие победы христианской нравственности.

А в душе у нее не прекращался спор с собой. И все о том же…

Еще в школе учителя старались воспитывать в детях презрение к жалости и состраданию: «Жалость унижает, надо быть борцом!» И все стремились этому соответствовать, нисколько не утруждая себя вопросом: каково тем, кто слабее, и к чему это приведет. И дело заключалось вовсе не в том, что именно ОНА имела ХРОМОНОГОСТЬ, не меньшими недостатками обладали многие, кто ее окружал. У соседки по парте, помнится, была леворукость, у звеньевого Вовки — заикание, у Нины Хлебниковой — ранняя полнота, а у кого-то — отсутствие математических способностей или памяти. Что же, их всех давить беспощадно?

Подчиняясь инстинкту самосохранения, каждый человек, чтобы не становиться в обществе аутсайдером, старается скрыть свой недостаток, он стремится выглядеть в глазах других сильным, уверенным, даже жестким — «борцом и победителем». Чтобы не поддаваться чувству жалости к своим несовершенным собратьям, человек маскируется «монолитом» равнодушия. А чтобы не усомнились в его силе, современный человек просто обязан проявлять жестокость! И очень может статься, что еще не одного маньяка породит находящийся в состоянии борьбы мегаполис, ибо побитый, обиженный и поверженный человек сам становится бессмысленным и жестоким садистом. В беспощадном обществе хромой ненавидит хромого, а слепой глумится над слепым!

Вера перестала вертеть в руках свою девичью фотографию. Внутри у нее все протестовало против лицемерия, лжи и жестокости.

— Боже, дай же мне силы оставаться человеком! — вырвалось у нее.

Изображение замерло. С фотографии на нее устремила взгляд доверчивых глаз не умеющая себя ничем приукрасить и заключить в монолит равнодушия юная чистая Вера.



РОМАН КАРАВКИН

Они останутся навеки

В зале кинохроники

Танк землю рвал, и гусеницы грызли
Ковер зеленой молодой травы.
Снаряды рвались, и осколков брызги
Визжали — не подымешь головы.

Огонь и дым, и жизнь и смерть смешались...
Сидят в кино седые старики,
И в кулаки у многих пальцы сжались,
Как будто им сейчас идти в штыки.

Они и шли… Останутся на веки
Вот эти кадры жуткие — войны,
Чтоб отразиться в каждом человеке
И на судьбе истории страны.

У Вечного огня

«Ваш сын... ваш муж... ваш брат... отец — погиб»…
От Волги до Берлина путь неблизкий.
Победа, уцелевшим помоги
Всех павших помянуть у обелисков.

Мы кажемся себе добрей и чище.
И образы однополчан храня,
Когда стоим у Вечного огня,
В альбоме памяти живыми их отыщем.

Развязываем грозных лет узлы:
Кто фронтовик, кто партизан в отряде...
Мы речи и венки им привезли,
Как ордена представленным к награде.

Не сохнут слезы вдов и матерей.
Родные голоса доныне звонки,
И в праздник, у распахнутых дверей
Все ждут... Опровергая похоронки.

На войне и... после

Подставка — ящик. Мальчик у станка,
Его отец — боец, стрелок на фронте,
И вся его надежда на сынка...
У всех вот так, чью душу ни затроньте.

А на мальчишке дом, и мать больна...
А здесь бои, бои, и надо выжить...
А за спиной Москва уже видна,
И танки прут, чтоб из траншей нас выжать.

Я политрук. Мне слышать не впервой
Из писем строки, что в мороз прогреют.
Запомнилось: «Как трудно быть вдовой,
Поберегись и побеждай скорее»...

Мы вспоминаем, каждый о своем,
А при затишье даже юмор старый.
Но горек смех товарища с письмом,
Чья «половинка» стала сталеваром.

Казалось, горю нет уже конца.
Как им хватало и души, и силы...
У женщин, у детей того отца,
У них бы, уцелевших, вы спросили.

Но день пришел, и после назовут
Его предвестником Победы нашей,
Когда впервые: «Гитлеру капут!» —
Сказал фашист матерый, в плен попавший.

Про Сталинград, про Курск и про Орел
Заговорили в мире все корпункты.
И в траурный сплетались ореол
Все сказанные Гитлеру «капуты».

Фронты на запад к «логову» ведут,
А на восток, почти что без охраны,
Полки из тех, что «Гитлеру капут»...
И кто-то наш кричит им вслед: «Зер гут!
Отвоевались, драные бараны...»

* * *

Мы с ветераном за одним столом
В год юбилейный вспоминаем были.
И мальчика на фронте трудовом
Хотелось бы, чтоб тоже не забыли…

ВАСИЛЬ МАКАРЕВИЧ

Жаворонковая мелодия

К 70-летию со дня рождения Анатоля Сербантовича

Удивительна и невероятна жизнь, многое в ней трудно понять и объяснить. Почему, например, после преждевременного ухода из жизни талантливого поэта мы как-то по-иному воспринимаем его творческое наследие, а прошлое встает перед нами ярче и в каком-то сказочном ореоле? Видимо, всему этому способствуют время и та невидимая черта, которая как бы отделила его от нас, живых, окутала какой-то тайной дымкой и неизвестностью.

Стоит на какое-то мгновение сосредоточится, вспомнить прошлое, и перед моими глазами встает неординарная фигура Анатоля Сербантовича, который, к сожалению, рано ушел от нас. Сразу же вспоминается первая встреча с ним: стоит по-летнему знойный и, кажется, дышащий огнем день; видится небольшой, но уютный скверик возле химфака Белорусского университета в Минске, длиннокосые вербы, на которых еле шевелятся листья; ребристая скамейка в затененном уголке, куда не может пробиться колючий и злой, как овод, луч полуденного солнца. Я нашел там укромное и относительно прохладное местечко и сидел в ожидании своего младшего брата, который поступал на отделение филологического факультета и где-то в одной из аудиторий трехэтажного здания сдавал вступительный экзамен. В одной руке у меня был карандаш, в другой — блокнот, в голове кружились рифмы и строки, их, упрямых и капризных, нужно было записать. В самый, казалось, ответственный творческий момент раздался голос, у меня спрашивали разрешения присесть рядом. Я поднял голову: возле меня стояли двое юношей. Один чернявый, как грач, другой, немного ниже ростом, худощавый и взъерошенный, чем-то напоминающий воробья, которого только что отогнали от мякины. «Видимо, студент и пишете стихи», — присаживаясь рядом, сказал чернявый, жестом приглашая сделать то же самое и паренька, наверное, его друга. Не очень хотелось открывать душу перед незнакомцами. Но язык не поворачивался, чтобы солгать или городить околесицу. Смущал какой-то требовательный и пронзительный взгляд взъерошенного паренька. «Немного скребу пером», — признался я. «Изяслав Котляров, — отрекомендовался и подал руку чернявый. — А это Толя Сербантович, — боднул он головой в сторону товарища. — Мы с ним земляки. Я родом из Могилева, а Толя со Шкловщины, из Ордоти. Есть такая деревня. Поступаем на отделение журналистики. Только что из-за экзаменационного стола. Анатоль «пятерку» отхватил. Вон еще, горячую, держит. — И пошутил: — Пальцы не обожгла? Он — молодец! На отлично каждый экзамен рубит. Не знаю, как будет со мной, а он поступит. У него, кстати, рабочий стаж имеется. Грузчиком в колхозе был, мешки с зерном таскал».

Сам Анатоль говорил мало, больше прислушивался к словам товарища — как-никак из города, ему и карты в руки! Было видно, что к своему земляку он

относился с уважением. Однако я не заметил, чтобы Анатоль старался как-то подстроиться, быть услужливым. Вел он себя сдержанно и самостоятельно, какая-то душевная просветленность отражалась на его лице. Просто и естественно сказал, что пишет стихи, печатался в районной газете. До республиканского уровня еще не дотянул. На этом разговор наш и закончился, на краю скверика появился брат, и я поспешил к нему. Стоит ли говорить, что через два или три дня мы снова встретились около химфака. В экзаменационном листе Анатоля появилась еще одна отличная отметка. Оставался последний, какой-то не очень значительный для него экзамен. Было видно, что он сдаст и без всяких затруднений пройдет сквозь конкурсное сито.

Так оно и вышло. Когда начались студенческие занятия, я встретил Изяслава Котлярова и Анатоля Сербантовича в нашем филологическом корпусе на Красноармейской улице. Они стали студентами и ходили на занятия. И. Котляров как прагматичный и предприимчивый городской парень сразу кинулся штурмовать редакции газет и журналов, предлагая им свои стихи. Что касается А. Сербантовича, то первое время он ушел в себя, наверное, осмысливал после деревенской жизни свое новое положение, привыкал к нему. И после того как вошел в студенческую колею, преобразился до неузнаваемости. Куда только и делась прежняя сдержанность и сосредоточенность. Он стал беспокойным, неусидчивым, всегда куда-то торопился, как говорили, «срывался» с лекций. Молодого поэта можно было понять. Его тянуло в редакции газет и журналов, чтобы показать опытным поэтам свои стихи. Лично я не присутствовал на его встречах с литературными консультантами, но догадывался, что этим людям не очень легко было с ним разговаривать. Работники старой закалки смотрели на его стихи (пока еще несовершенные в художественном и техническом отношении, но уже задиристые, с нотками какого-то протеста) через призму устарелых схем и требований. Что касается молодого поэта, он, невзирая на их почтенный возраст и довольно известные имена, не соглашался с ними и довольно бескомпромиссно отстаивал свои принципы, взгляды на литературу и манеру поэтического письма.

Все видели, что молодой поэт ищет себя, свой стиль и не хочет идти проторенными дорогами, повторять чужое, топтаться на месте. Он охотно посещал заседания литературного объединения при республиканской молодежной газете «Чырвоная змена». Принимал участие в обсуждении стихов начинающих авторов, иногда читал и свои, заранее предупредив, что учится и набирается опыта у старших товарищей, таких, как, например, И. Колесник, руководитель этого литобъединения. В то время на страницах газеты печатались поэтические репортажи гражданского звучания. Однажды заведующий отделом культуры и литературы поэт Владимир Павлов предложил мне и Анатолю написать стихотворный репортаж. О чем? «Подумайте!» — было сказано в ответ. Мы вышли в коридор и стали ломать голову. «А что если отгрохаем репортаж о Ленинском проспекте? — неожиданно предложил Анатоль. — Скоро день рождения Ленина. Как говорится, каждое слово будет в строку». В. Павлов согласился с нами. Но предложить тему одно, а воплотить ее в репортаже — совсем другое. Сели за стол, ничего путного не получалось. Выходила какая-то невнятица. Начали думать, как выйти из тупика. Наконец решили, что надо писать по частям. Половину репортажа напишет Анатоль, половину я. А так как в нем должны были присутствовать городские объекты и достопримечательности, поделили на две половины и проспект. Определили ритмический рисунок репортажа и сели за стол. О проекте от обсерватории до Комаровки писал я, от Комаровки и до Московской улицы — Анатоль. А вскоре наш поэтический «шедевр» увидел свет на первой странице «Чыр-

вонкі», заняв весь «подвал». Конечно, был он сделан, что называется, на скорую руку и живую нитку. Но, надо сказать, что и отношение к такого рода творениям было более чем благосклонное. С долей скептицизма относились к нему и мы сами. Что-то в этом роде Анатоль Сербантович сказал Павлову. Он не согласился с ним и заметил, что в репортаже есть неплохие места и образы. И привел пример из половины, написанной Анатолем: «Трамваі меладычнымі званкамі, нібыта шпорамі звіняць». С этим доводом Анатоль не спорил. Но когда мы возвращались в общежитие, он решительно заявил, что репортажей больше писать не будет. Это не творчество, а ремесленничество. Возможно, он кое в чем был и прав, говоря о таком жанре в поэзии, как репортаж. И все же нужно сказать, что тот репортаж был полезным для нас обоих опытом, как в отношении учебы и приобретения определенных технических навыков, так и в освоении поэтического мастерства, когда нужно мгновенно отозваться на событие, факт или какой-либо интересный случай.

Анатоль имел горячий, легковозбудимый характер, стихи писал быстро, почти мгновенно. Замысел рождался молниеносно. Так было и со стихотворением, посвященным музыке. Случилось это как-то весной, когда сошли снега и мчались вешние воды. В редакции журнала «Маладосць» он прочитал новое стихотворение о природе. Присутствовал там и Игорь Шкляревский, который писал на русском языке и, кстати, был родом из Могилевской области. Он заинтересовался стихом земляка. Нужно сказать, что происходило это в то время, которое позже назовут «хрущевской оттепелью». И. Шкляревский посоветовал приблизить звучание стиха к современности, «закрутить» в нем что-то такое волнующее и зажигательное, от чего бы «всем чертям стало тошно». Для этого надо добавить художественной виртуозности, а ритмический рисунок стиха сделать более гибким и подвижным. Молодой поэт не стал, как говорят, откладывать дело в долгий ящик, тут же присел на краешек стула, и за считанные минуты из-под его пера появилось короткое, но своеобразное произведение. Это не могло не удивить всех, кто находился в редакции. Хвалили строчки и строфы, особенно за то, что в них нашел отражение дух перемен, новые веяния. Некоторые незначительные неточности устранили общими усилиями, и все сошлись на одном — стихотворение заслуживает того, чтобы появиться на страницах журнала. Окрыленный этой радостью, поэт появился в студенческом общежитии, где мы тогда жили. У него был с собой второй экземпляр, и, стоя у окна, он прочитал замечательное по ритмической тональности и смысловой наполненности стихотворение, посвященное своему беспокойному современнику. Вот оно: «Я памыліўся. Я не адмаўляюся. Пакорліва схіляю галаву. Але галоўнае не ў тым, што каюся. А ў тым, што непакорліва жыву. Лупцую гэта. Тое выратоўваю. Шукаю. Непакоюся. Гару. І хоць мяне памылкі загартоўваюць, але ім дзякуй я не гавару. Я ведаю, што некалі я выраслу і што мяне няўдача не саб’е. Я ад памылак усё роўна вырвуся і адшукаю ў барацьбе сябе!»

Случилось так, что во время чтения стиха в вестибюле оказалось немало студентов, они с интересом послушали поэта и потом хвалили его, дружески и с благодарностью похлопывая по плечу. Воспринимали его на ура. Да и кто из студентов мог в то время равнодушно отнестись к вот этим безыскусным, но взыскующим строфам: «Пустое «ўра» нікога не парадуе. Ідуць гады — знікае ўяўны дым. І рады я, што ўжо не праз параднае мы на жыццё сучаснае глядзім. Тых, хто не бачыць дрэннага праз добрае, у прамовы лье салодкую ваду, — лічу як самых нашых злейшых ворагаў і першы ў бой бязлітасна іду». Втайне А. Сербантович гордился высокими отзывами о своих стихах, но ему и в голову не приходило зазнаваться и свысока поглядывать на своих коллег. Он постоянно находился в поиске, иногда говорил об этом в стихах: «Сонца —

нечапаным караваем. Я гляджу і, быццам бы сакрэт, для сябе нанова адкрываю некалі разгаданы Сусвет». Видимо, вот в этом признании и заключается поэтическое кредо А. Сербантовича — стремиться к тому, чтобы открыть что-то новое в уже, казалось бы, давно и полностью открытом мироздании.

Анатоль Сербантович не мог плестись где-то рядом с середнячками или в самом хвосте. Нет, он не стремился к славе, не старался изо всех сил, чего бы это ни стоило, вырваться вперед, быть на виду у всех. Но в каждом деле он стремился выложиться до остатка, показать все, на что был способен. Таким он был в жизни и в литературе. Он не любил хитрить, подстраиваться под кого-то, восхвалять или сводить счеты. Когда был чем-то недоволен, говорил прямо в глаза, нисколько не опасаясь, что за это ему не поздоровится. Строптивость характера со всей мощью он показал раньше, когда жил в деревне. Случилось это на районной велогонке. Анатоль выступал за свой колхоз. На трассе он упорно крутил педали, гнал велосипед вперед. Похоже было на то, что он одним из первых уверенно шел к финишу. Еще один поворот, еще одно усилие и он выйдет победителем. Но в последний момент случилось непредвиденное. Делая крутой вираж, Анатоль не совладал с велосипедом. Переднее колесо предательски соскользнуло с камня, и он со всего маху грохнулся на мостовую. На мгновенье, кажется, потерял сознание. Но в следующий момент пришел в себя и не растерялся. Вскочил на ноги, закинул на плечо разбитый велосипед и — раз-два-три — сколько там еще шагов? —добежал до финиша и упал на руки судейской бригады. Его сразу же отвезли в больницу. Со временем он поправился, но из-за этого случая вынужден был на год отложить свое поступление в Белорусский университет.

На третьем или четвертом курсе А. Сербантович по каким-то непонятным обстоятельствам был вынужден перебраться на частную квартиру. Квартирой это пристанище можно было назвать условно. Да и для жизни оно было приспособлено только летом. Это была веранда на втором этаже деревянной постройки послевоенных лет, открытая всем ветрам и грозам. Кроме него тут временно ютились и другие студенты с одного факультета. Раскладушка стояла у края стенки, за которой открывалось невеселое зрелище во дворе. Раз, когда я застал его дома, он лежал поверх одеяла, держал в руке блокнот и что-то черкал карандашом. Отложив весь этот инвентарь в сторону, он закинул за голову руки, потянулся и признался, что пишет «разгр-р-омную» поэму. Но небольшую по размеру. О чем? Никто не догадается! О прославленной мисс Америке. Точнее, о ее аборигенах, загнанных в свое время в резервации. Прослушав несколько строф и ничего толком не поняв, я спросил, почему он обратился именно к Америке. Дело не в том, что Анатоль там никогда не был, но что он может сказать об этом спруте, если на нем споткнулся даже С. Есенин, прирожденный мудрец, который, правда, назвал его «железным Миргородом». Анатоль звучно рассмеялся и потом как-то непривычно лихо подмигнул и, оглядываясь по сторонам, признался: «А разве я об Америке пишу? О родной земельке строчки стругаю, о том положении, в котором находится наше родное слово. Америка — комуфляж! Дымовая завеса!»

Поэму «Мост» хорошо и доброжелательно встретил Анатолий Велюгин, который возглавлял отдел поэзии в журнале «Полымя», поддерживал молодых и талантливых авторов, считался для многих крестным литературным отцом. Он, конечно, сразу понял замысел поэмы, художественный прием, который использовал А. Сербантович, и для пущей перестраховки посоветовал дать подзаголовок «Амерыканская трагедыя». Печатая произведение, все были в выигрыше. Редакция журнала могла похвалиться там, где нужно, мол, разоблачаем хваленый американский образ жизни, А. Сербантович тем, что напе-



В. Макаревич и А. Сербантович.

чатал поэму. И действительно, никто не мог ни к чему придраться. Так надежно, умело и добротно была она сработана. В поэме действовали индейцы: бывший перевозчик на пароме, который, не найдя работы, бросается с моста в реку, молодой поэт, тоже готовящийся последовать следом за паромщиком, и последний из магикан. Каждый из героев — глубоко индивидуальная личность, все говорят образно и афористически. Вот как исповедуется бывший перевозчик: «Падайце, містэр… Я рабочым рос, а бачыце — працягваю руку. Вы бачыце — пятлёй аркана мост за горла ўзяў карміцельку-раку. І хоць я помню, як грымеў траціл, машыны і рабочыя кішэлі, — здаецца, мост не фермы апусціў, а пальцы — у маю кішэню». Для поэта этот мост становится последней трибуной. О чем он намеревается сказать? Конечно, о наболевшем: «І нам камусьці трэба дагадзіць, і тыя «дзеячы культуры», якім пляваць на лёс літаратуры, нумараваць нас могуць і судзіць». Поэт дает слово и последнему из магикан. Он говорит о трагической судьбе коренного народа, индейцев, и о том, чем стала для них цивилизация: «Ах, тыя школы! Трэба б іх закрыць; Здаецца, сёння нечы голас чую, што можна нашу мову не вучыць, а толькі трэба вывучаць чужую…»

Конечно, все догадывались, что имел в виду А. Сербантович на самом деле, хотя и говорил об Америке и индейцах.

Поэт никогда не признавался, что первые шаги в литературе он начинал с басен и сатирических стихов. Может, считал, что сатирический цех значительно ниже, чем «горячий цех поэзии». Однако увлечение сатирой не оставляло его и с годами. Сатирические нотки и черточки проявлялись и в стихах гражданского звучания. Правда, чаще всего в таких случаях он обращался к эзоповому языку. Поэт высмеивал пигмеев, имея в виду некоторых наших «горе-руководителей» и партийных деятелей: «Яны ўсміхацца нам умеюць, хоць іх заўсёды мучыць злосць, што на зямлі не ўсе пігмеі, што на зямлі і людзі ёсць».

В студенческие годы, когда А. Сербантович учился на четвертом курсе Белорусского университета, он стал штатным сотрудником детского журнала «Бярозка». В то время главным редактором этого издания был Кастусь Киреенко, который очень заботливо относился к молодому поэту. Однажды, вернувшись из издательства, где на специальном заседании обсуждались стихи, что должны были войти в «Дзень паэзіі», он зашел в кабинет, где сидели сотрудники журнала, в том числе и Анатоль, и поздравил его с успехом, сказал своеобразно, как он умел это делать, мол, и у него есть солнце над головой. Стихотворение А. Сербантовича заметил не кто-либо, а именно П. Панченко, и похвалил при всех. А похвальное слово из уст такого поэта дорогого стоило. В стихотворении действительно имелись добротные строфы, как, например, вот эта: «Могілкі не там, дзе крыжа крылы — падаем мы тысячы гадоў, і бліндаж зямлі сабой накрылі, як накаты, ў некалькі радоў». Анатоль видел, что

К. Киреенко был искренне рад за него, своего сотрудника, и хотя категорически был не согласен с высказыванием о «солнце над головой», но старался все делать так, чтобы не подвести старшего товарища по перу. Готовил к печати рассказы начинающих, стихи школьников, где видел хотя бы еле заметную поэтическую искорку. Помнится, каким радостным восклицанием он встретил меня на пороге кабинета: «Запомни, сегодня я открыл новое поэтическое имя. Простая школьница из одной полесской школы прислала стихи. Отлично пишет, чертяка. Вот прочти!» — он подал мне листки из школьной тетради, исписанные аккуратным детским почерком. Стихи действительно были искренние и задушевные. Они понравились бы каждому. Под стихами стояла простая и немного необычная фамилия — Женя Янищиц. «Вот припомнишь мое слово, — возбужденно говорил Анатоль, — она покажет себя!»

Не ошибся он и в некоторых других случаях. Однажды он сказал о поэте, который довольно часто печатался на страницах газет и журналов: «Начинал неуверенно, даже с определенной пробуксовкой. Но набирает разгон. И увидишь, куда он рванет! Утрет некоторым задавакам нос». Это поэтическое имя сегодня у всех на слуху. Пожалуйста — Казимир Камейша! Он — лауреат Литературной премии имени А. Кулешова. Высказал Анатоль свое мнение и о бойком начинающем авторе, с которым, кажется, дружил, сидел, даже и не раз, за одним столом: «Ничего у него не получится. Слишком одиозная фигура, много самоуверенности и мало фантазии и, что уж совсем плохо, через край зазнайства». Нередко нелицеприятные суждения А. Сербантович выносил при людях, нисколько не боясь нажить себе недругов и врагов. А они ох какие бывают злопамятные! Один из них, скажем откровенно — графоман, затаил обиду и через полвека настрочил в одну из газет пасквиль, где со злорадством лавочника обвинял поэта в пьянстве и еще бог знает в каких грехах, ни словом не обмолвившись о его поэзии. Но немало найдется поэтов, которые благодарны Анатолю Сербантовичу за творческую и дружескую поддержку в начале их поэтического пути. С теплотой вспоминает его и прозаик Леонид Леванович, которого поэт уговорил писать на родном языке и предвещал ему литературный успех, чего тот с годами и достиг.

Много работал и сам А. Сербантович. Работал везде — в редакции, трамвае, сквере, даже на ходу. Например, стихотворение «Кругаварот» он написал при мне, в своем рабочем кабинете, где сидел еще художник. Вполголоса произносил строки и записывал их на бумаге. Когда поставил точку, потер руки: «Теперь отнесу в «Піянер Беларусі», пускай напечатают еще горячий». В этот момент зашел Ф. Жичка, который работал секретарем в журнале, послушал стихотворение и похвалил. Особенно ему понравилась строфа, в которой ярко была выписана бытовая картинка: «А потым важна крочыш да сяла, у хату дзверы ціхенька расчыніш — гарачая яечня са стала угледзіцца лупатымі вачыма…» Но тут же заметил, что если бы в произведении присутствовало значительное гражданское звучание, оно могло бы стать маленьким шедевром. Анатоль махнул рукой, будто отгонял от себя дым, и рассмеялся. Он умел ценить дружескую шутку или превращать в серьезное сказанное в шутку.

Нужно отметить, что горячий и, как говорили, заводной с полуоборота, он не мог долго оставаться на одном месте, его тянуло из редакционной тишины туда, где были люди, нетронутая природа, которую он любил и умел ценить. Без разрешения он мог сорваться с рабочего места и уехать куда-либо на месяц и даже больше. Так было и на тот раз. Довольно долгое время он не появлялся в редакции «Бярозки». Никто не знал, куда он поехал и где его искать. Возможно, попал в больницу и не может никак подать голоса? Все с облегчением вздохнули, когда он появился в Минске. Но в редакцию журнала не заходил.

К. Киреенко, человек с виду суровый и строгий, но с чуткой и деликатной душой, догадываясь, что с Анатолем случилось что-то не очень приятное, позвал его к себе и попросил объяснить, что же с ним произошло. Разговор велся с глазу на глаз. Как потом выяснилось, Анатоль уехал в одну из районных газет Могилевского района, где стал работать обычным литработником. Почему он так поступил? Ему опостылело столичное однообразие, постные лица, всяческие ненужные собрания-заседания и знакомая, никому не нужная говорильня. Недолго думая он и кинулся искать спасения в районе, где можно было глотнуть свежего воздуха, отдохнуть душой и телом и одновременно набраться новых впечатлений. К. Киреенко, конечно, пожурил Анатоля, но сказал, чтобы тот приходил на работу и брался за свои прежние дела.

Снова началась ежедневная редакционная работа. Из-под пера поэта, как и раньше, будто птицы, начали вылетать и появляться строчки и строфы. Не о своей ли злополучной поездке он и написал прочувствованные исповедальные строчки: «Не пытайся, дзе хвароба носіць, можа, я і сам ужо хачу быць бліжэй да тых, хто жне і косіць, магілёўскую гаворку чуць».

У Анатоля была чувствительная, ранимая и доброжелательная душа. Одновременно он ненавидел обман и подхалимство, словоблудие и изощренное чиновническое издевательство над теми, кто стоит значительно ниже на служебной лестнице. В принципиальных вопросах он был непримиримым не только в стихах, но и жизни. И как только мог боролся, воевал с ложью. В знак протеста он демонстративно не подал руку одному высокопоставленому чиновнику от литературы, прилюдно спрятав ее за спиной. Тот сначала растерялся, а потом, придя в себя, сделал шаг и хотел замахнуться, но Анатоль не собирался подставлять щеку. Увидев такую решительность, тот сразу дал задний ход. Об этом случае ходили потом легенды, обрастая все новыми, невероятными и удивительными подробностями.

В то время А. Сербантович уже не мог долго работать и быть на одном месте. Ему нужно было время от времени менять занятие и окружение. Это шло не от какого-то каприза или неуживчивости. Причина была в ухудшении здоровья. Дело в том, что однажды, когда Анатоль возвращался домой, на него напала и жестоко избила группа хулиганов. За что? Они остановили и попросили его прикурить. Анатоль сказал, что спичек у него нет. И по своей наивности похвастался, что имеет деньги и даст им и на спички, и даже на сигареты. Он вытащил из кармана ладный жмут десятирублевок, и в это время кулаки и что-то еще более тяжелое обрушилось на его голову. Сознание вернулось к нему только в больнице. У него была туго забинтована голова. Минута за минутой, день за днем упорно выкарабкивался он из когтистых лап косой. Наконец, он вернулся, как говорится, в строй. Внешне выглядел как будто обычно, внутренне — кто бы подумал? — был надломлен. Поэт признавался: «Здаецца, столькі шчырасці і ласкі, здаецца, толькі з мамай гаварыў, а ўжо, як інвалідская каляска, качуся па нахіленай з гары».

Шли дни, месяцы. Казалось, что боль улеглась и не напоминала о себе. А может быть, поэт глушил ее работой над новыми стихами? Но он чувствовал, что задыхается в прежней обстановке, что ему как будто не хватает воздуха. Говорил мне, что ему нужно уехать, поменять место жительства! Но как это сделать? Сорваться с места, как раньше, уже не мог. Он был привязан к работе, была у него к тому времени и жена. Однако что-то нужно было делать, не сидеть сложа руки. В шуточных строчках он обращается к Иосифу Скурко, который работал в ЦК комсомола Беларуси и, кажется, имел какое-то отношение к туризму: «Візу дай і камсамольскі посах, каб я мог ісці, а дзе паўзці. За мяжу хоць раз мяне, Іосіф, паглядзець на белы свет пусці!»

Как-то Анатоль зашел ко мне и спросил: как я отнесусь, если он пойдет работать вахтером на один из минских заводов? Я поглядел ему в глаза: не шутит ли? Может быть, это дружеский розыгрыш? За ним такое водилось. Нет, на этот раз он говорил всерьез. А как будет с работой в редакции? Возьмет на некоторое время отпуск за свой счет. Так все и произошло. Примерно через полмесяца я заехал к нему на работу. Он сидел на проходной Минского ликеро-водочного завода, следил за входящими и выходящими. Поговорили, пошутили. Спросил его: употребляет или нет? Он ответил — ни капли! Если есть желание, то — пожалуйста! Он открыл шкафчик — в нем с полдесятка бутылок, с этикеткой «Урадавая», отнятых у «несунов». Из разговора я понял: долго он тут не продержится. Не его тут место! Даже мне хотелось побыстрее покинуть это злосчастное помещение. В памяти остались строчки: «Ты думаеш, што надта рады я, а ты пра гэта ці спытаў? Я гэтай горкае «Урадавай» не спы́таў і не паспытаў…»

Анатоль возвратился на прежнее место, в редакцию журнала. Неожиданно появилась возможность брать от военкомата направление на военную службу и по два-три месяца быть на кораблях Морского флота, работая в многотиражке, посещать Курилы и некоторые места на Дальнем Востоке. После таких вот служебных командировок он привозил ворохи стихов и не меньше впечатлений. Места, непохожие на наши, окрыляли, давали богатый материал для стихов и такую же пищу для размышлений о жизни, судьбе, закаляли и укрепляли душу.

В последнее время у него появился грандиозный замысел: создать венок венков сонетов. Мне почему-то не верилось, что это можно сделать даже из-за технической сложности. Эту затею можно сравнить с возведением пирамиды Хеопса или Вавилонской башни. Но Анатоля трудно было переубедить. Он так был уверен, что должен создать это произведение, что решил заниматься только им. Поэтому он написал две строфы и пометил, что это последнее его стихотворение. Трудно сказать, осуществил бы он свой замысел, если бы его жизнь не оборвалась трагически и внезапно, как обрывается песня жаворонка, когда не выдерживает сердце высоко взятой ноты.

В рецензиях на посмертные издания книжек А. Сербантовича писали: поэт, мол, предчувствовал, что безвременно уйдет от нас. Не знаю, не берусь ни утверждать, ни опровергать эти суждения и догадки. Мне, например, он ни разу не говорил, что ему осталось мало жить. А если где-то в стихах и намекал о смерти, так это не больше чем заигрывание с чем-то опасным и таинственным, мол, вы боитесь говорить об этом, а я не боюсь, и ничего со мной не случится. А если что-либо и произойдет, то — чему быть, того не миновать. Так думает и рассуждает каждый крепкий и здоровый человек, так думал и рассуждал Анатоль Сербантович. Он был энергичен, думал о жизни, у него имелось много творческих планов. В памяти всплывает величественная и трагическая строфа, напоминающая реквием:

А над песняю той, недапетай,
Прагудзела труба жураўля:
«Тых,
        з кім дзеліцца неба сакрэтам,
Маладым забірае зямля».

АНАТОЛЬ СЕРБАНТОВИЧ

А над песнею той недопетой...

* * *

Есть камень. Надпись не забудешь.
Как не понять ее? Пойму:
«Пойдешь налево — смерть добудешь,
Направо — быть тебе в плену...»

А я душой вобрал окрестность,
И меж могил, и меж крестов
Пошел туда, где неизвестность, —
А я в поэзию пошел.

* * *

Зачем у нас поэтов — как берез,
Зачем берез — не меньше, чем поэтов?
Тепло сердцам от них в любой мороз,
От них и ночью нам хватает света.

И ветер мне шепнул тогда: «Берез
У нас так много в селах или в поле,
Что ими освещать не раз пришлось
И не одну мрачнеющую долю».

Лес о березах бронзой прозвенел:
«Поэтов время с вечностью роднило,
Чтоб здесь за всех, кто говорить не смел,
О нашем крае рассказали миру».

И оттого поэтов — как берез,
Ну а берез — не меньше, чем поэтов.
Тепло сердцам от них в любой мороз,
От них и ночью нам хватает света.

* * *

Казалось бы, такая малость,
А вышло вдруг нелепо так...
У военкома затерялась
Моя бумага средь бумаг.

Меня обходит одногодок
С татуировкой — напоказ.
А я стою еще у входа
И снова слышу: «Нету вас...»

Ищи, полковник, не согласен
Я с теми, кто грозит, виня.
И гнев твой все-таки напрасен,
Коль нет меня... Коль нет меня...

И как я мог, где затаился, —
В каких еще просторах дня?
Не утопился, не разбился,
А — нет меня... А — нет меня...

Ни в дымке облаков попятных,
Ни у закатного огня...
И нет меня в твоих объятьях...
Вдруг нет меня... Вдруг нет меня...

И только там, где срок вне срока,
В каком-то сне под свой же вздох
Увидишь, что душа далеко
Меж звезд летит, как мотылек.

* * *

Дорогая, милая, хорошая,
Поднимаю за тебя бокал
С ощущеньем — будто бы непрошено
Я ныряю с берега в Байкал.

Снова здесь — серьезное и гордое,
Зная то, к чему теперь готов, —
Распахнуло озеро просторное
Мне свои объятья берегов.

Скажет небо звездными узорами,
Что тебе — огромная беда.
Надо мной чужими наговорами
Вновь сомкнется тихая вода.

Только альбатросами замеченным
Буду я... И сколько б ни грешил,
Но сияю камушком просвеченным
Я на самом дне твоей души.

* * *

Край лесной, далекий, неопетый.
Рельсы и смеются, и поют.
Паровозы, словно эстафету,
Станциям меня передают.

Я проспал бы многое и много,
Если бы не повстречался мне
Фокусник... Он петуха ручного
Вез на — будто огненной — спине.

Тот петух был дурень по природе, —
Времени он с местным не сверял:
Все кричал и в полночь он, и в полдень
На потеху птицам и зверям.

Я не спал — от стука сон был колким,
Проступали тихо в этом сне
Чьи-то имена на дрогкой полке
И слова, оставленные мне.

Все не мог я с памятью смириться,
Из которой этот поезд вез.
Проступали взгляды вдруг и лица,
Голоса, знакомые до слез.

И уже собою возмутился:
Многих я корил и поучал...
Как петух тот, с времени я сбился
И не то, что надо, прокричал.

Но пока тревожусь все об этом,
Рельсы и смеются, и поют,
Паровозы, словно эстафету,
Станциям меня передают.

* * *

«У поэтов есть такое право,
И его нельзя нам забывать:
Наплевать на деньги и на славу,
На бесславье — тоже наплевать!»

Кто мудрец тот, из какого века,
Что писал так? Я хотел бы знать.
Каждому живому человеку
Я могу и нынче повторять, —

У поэтов есть такое право,
И его нельзя нам забывать:
Наплевать на деньги и на славу,
На бесславье — тоже наплевать.

Фимиам курить теперь не в моде.
Может, через годы суеты
Кто-то назовет и нас в народе
Как поэтов счастья и беды.

* * *

Я двести верст от Тактубы
Все шел по небу, как Коперник.
Как человек, тебя любил
И по-собачьи был я верным.

И вот — «иди!» — удар такой
Согнет богатыря в баранку,
Ведь в ночь хозяин, даже злой,
И тот не выгонит собаку.

Пойду, хотя и занемог,
Начну кричать, махать руками,
И в горных руслах всех дорог
Машины дрогнут поплавками.

И в день осенней пустоты
Вдруг в двери моего покоя, —
Так может статься, — стукнешь ты
Своей повинною рукою.

И скажешь мне, что мучит грех...
А я уже и нынче знаю:
Как человек, я дам ночлег,
А как собака, не признаю.

* * *

Легенд и преданий полпреды,
Свидетели долгой войны, —
На славе и турка, и шведа
Курганы, как точки, видны.

Залечена давняя рана,
Забыта былая беда,
Я слышу, — струится гортанно
Из каски пробитой вода.

* * *

Так старался, что думали — треснет,
Но притих неожиданно, смолк.
Подавился вдруг собственной песней
И на песню повесил замок.

А над песнею той недопетой
Прогудела труба журавля:
«Тех, с кем делится небо секретом, —
Молодых забирает земля...»

Перевод с белорусского Изяслава Котлярова.

Традиции и новаторство: «толстый» литературно-художественный журнал в условиях российской провинции

У белорусского «Нёмана» и «Вологодского ЛАДа» — давняя дружба. Не единожды на страницах вологодского журнала представлялась современная белорусская художественная литература. Вниманию читателей одного из интереснейших регионов России предлагалось творчество Миколы Метлицкого, Владимира Марука, Олега Буркина, Алеся Бадака, Анатоля Козлова, Алеся Наварича и других белорусских авторов. О том, как выжить в сегодняшней ситуации «толстому» литературно-художественному журналу, как найти общий язык с читателем, подписчиком, — и наша беседа с главным редактором журнала «Вологодский ЛАД» Андреем САЛЬНИКОВЫМ.

— Как сложно издавать «толстый» литературно-художественный журнал в провинции?

— Наверное, хороший литературно-художественный журнал издавать сложно везде — и в столице, и в провинции. Сейчас уже забылось такое явление отечественной культуры, как «толстые» журналы, — а ведь это было удивительное явление! Причем, нельзя считать его чисто советским; еще задолго до «Нового мира», «Знамени», «Нашего современника», «Юности» и «Дружбы народов» русская читательская публика буквально до дыр зачитывала номера «Отечественных записок» и «Современника». Люди ждали новой статьи Белинского с таким нетерпением, с каким, наверное, ждут сегодня концерта какой-нибудь поп-дивы. К сожалению, именно артисты разных жанров (и чаще всего — тех, что еще недавно назывались «легкими») занимают сейчас в общественном сознании место писателей, вообще — настоящих мастеров искусства. Их мнения по самым важным вопросам общественной жизни публикуются везде, и не потому, что они очень умны, образованны — мелькать на публике, на телевизионном экране, на страницах массовых изданий предписывают законы бизнеса. Эти же законы и не позволяют выходить к массам писателям, священникам, историкам, философам, людям, способным думать, анализировать и говорить правду, — то есть тем, кто и мог бы помочь людям правильно взглянуть на мир, определить верные, настоящие ценности. Именно в нарушении иерархии ценностей, мне кажется, — основная трудность издателей журнала. Конечно, если это журнал — не глянцевое чтиво, а издание серьезное. Мы стараемся говорить о самом важном без натужности, интересно — но не легкомысленно. Авторов найти можно, еще не оскудела талантливыми, честными, ответственными людьми Русская земля. Современные технические средства позволяют привлекать к журналу самых разных авторов.

— Какими правилами в отборе авторов и текстов вы руководствуетесь — представляете литераторов только своего региона или работаете с авторами более широкого пространства?

— Главный критерий отбора текстов — их качество, а вовсе не географическая принадлежность. Наверное, появление в «Вологодском ЛАДЕ» подборок белорусских авторов можно объяснить политическим поводом — они планировались к поездкам вологодских делегаций в Республику Беларусь. Но не найти каких-то «политических причин» в появлении в вологодском журнале стихов и рассказов авторов из Москвы и Санкт-Петербурга, Саранска и Ижевска, Архангельска и Нарьян-Мара, Новгорода, Воронежа, Ярославля… — перечень можно продолжить. И не потому мы их печатаем, что своих мало, — в Вологде плодотворно работают Ольга Фокина и Сергей Багров, Александр Цыганов и Дмитрий Ермаков, Ольга Кузнецова и Мария Маркова. Сознательно не разделяю их на поколения, творческие стили — они все разные, но с одинаковым правом претендуют на читательское внимание, и не только вологжан. Но, на наш взгляд, искусственное замыкание в географических рамках не может не привести к писательскому удушью, а журнал должен быть глотком свежего воздуха, и для читателей, и для авторов. Нам интересно не только, что нового у вологодских писателей, но и как это новое выглядит в общем русле русской литературы.

— Вологодский край — особая территория в русской литературе двадцатого века. Насколько вы внимательны к творчеству, творческой и жизненной биографии писателей прошлых десятилетий?

— По нашему мнению, давая читателям представление о литературе сегодняшнего дня, нельзя не говорить и о лучших писателях дней минувших. Сложно перечислить имена всех предшественников нынешних вологодских писателей, о которых мы говорили на страницах журнала, произведения которых представляли читателям. Вспомним, в первом номере «Вологодского ЛАДА» за 2006 год мы опубликовали очерк Роберта Балакшина о вологодском духовном писателе священнике Иоанне Верюжском, авторе замечательного сборника исторических сказаний о вологодских святых, изданного впервые 130 лет назад. И в той же журнальной книжке — материалы о Николае Рубцове, который уже воспринимается как классик, хотя он — ровесник многих из живущих нынче писателей и плодотворно работающих. В первом же номере появилась у нас грустноватая рубрика «Поэты не уходят» — она была посвящена Сергею Викулову, который ушел из жизни незадолго до выхода в свет первого номера вологодского журнала. Потом материалы этой рубрики рассказывали о творчестве Михаила Сопина, Виктора Коротаева, Юрия Леднева и многих других наших земляков. С третьего номера за 2010 год «Вологодский ЛАД» начал публиковать материалы к 50-летию Вологодской писательской организации (юбилей приходится на июль будущего года). Рассказывали мы о писателях, не так хорошо известных, — например, о поэте В. Калачеве, павшем на фронте в Великую Отечественную войну, или о Н. Ивановой-Романовой… Журнал публикует не только исследования творчества, но и представляет — как может, естественно, — тех писателей, что закладывали основу вологодской литературной школы.

— Ваш журнал много площади отдает историко-публицистическим материалам, краеведческим выступлениям. Так сложилось или в этом заключается один из принципов формирования содержания?

— Одна из главных целей «Вологодского ЛАДА» — рассказывать о Русском Севере, его своеобразии и неисчерпаемых богатствах, его

истории и настоящем. Так что историко-публицистические и краеведческие исследования — это один из краеугольных камней нашего журнала, и мы стараемся разнообразить тематику. В прошлом году появилась долгожданная рубрика «Природа» — известный журналист И. Королев рассказывал в нескольких номерах о природных памятниках Вологодчины. Сейчас мы эту тематику расширяем, уже в трех номерах — со 2-го по 4-й — публикуется раздел «География родной земли». В нем — материалы о путешествиях и путешественниках (печатали, например, дневники Федора Конюхова, который открыл на Вологодчине школу юных путешественников), топонимические исследования и многие другие материалы, объединенные любовью к нашей замечательной Родине, ее красоте и богатству.

— Сегодня, судя по тому, как расходится журнал, вы, наверное, можете сформировать представление, к какой социальной группе относится читатель?

— Портрет читателя «Вологодского ЛАДА» нарисовать не очень просто — к сожалению, встречи с читателями мы не проводили, хотя и очень хотели все эти пять лет. Ну не получается! Большая часть тиража расходится по библиотекам области, и это хорошо. Можно было бы предположить, что читательская аудитория журнала в большинстве своем — люди пожилые, выросшие на интересе к литературе, истории, краеведению… Однако среди читательских писем (их не очень много, но все-таки тоненький ручеек не ослабевает с годами) есть письма и от молодых, и от пожилых. «Вологодский ЛАД» интересен всем, кому интересно, зачем живет на земле человек, что за земля вокруг него, какая у нее история…

— Что в планах вашего издания? Какие проекты собираетесь осуществить?

— О планах говорить и сложно, и в то же время просто. В портфеле — новые работы В. Личутина, С. Багрова, В. Дементьева, М. Петрова, есть обещания передать нам рукописи других авторов, и не только писателей, но и философов, историков. Начатую к 50-летию писательской организации «Книгу в журнале» хотелось бы не только показать читателям «Вологодского ЛАДА», но и отдельное издание выпустить. Мечтаем об издании «Библиотечки «Вологодского ЛАДА», о конкурсе журнала… Но с уверенностью о реализации тех или иных планов можно будет сказать только в конце февраля, когда комиссия по грантам при областном комитете информационной политики рассмотрит нашу заявку. Эта процедура проходит каждый год, все это время наши просьбы о выделении финансов неукоснительно удовлетворяли, так что надеемся на лучшее.

— Вы очень внимательны к белорусской литературе. Не единожды представляли белорусскую поэзию, прозу в своем журнале. Были ли отклики на эти публикации? Продолжится ли сотрудничество такого рода?

— Публикации белорусских материалов способствовал, что называется, социальный заказ, как я уже говорил. Однако подборки стихов и прозы, очень квалифицированно подготовленные сотрудниками издательства «Литература и Искусство», оказались нашим читателям интересны независимо от политической конъюнктуры. После первой публикации в 2007 году читатели обращались к нам с просьбой продолжить знаком-

ство, что мы с удовольствием и сделали. Надеемся на подобные публикации и в дальнейшем. Был и один личный отклик: известная русская поэтесса, вологжанка Нина Груздева позвонила мне недавно с просьбой помочь связаться с белорусской поэтессой Раисой Боровиковой. Она прочитала ее стихи в № 4 за 2009 год и вспомнила, что вместе с ней училась. Этот частный, казалось бы, случай говорит о том, что между нашими народами так много общего — и в истории, и в личных связях… И укреплять их — святое дело каждого издания, тем более литературно-художественного журнала.

— Насколько, на ваш взгляд, популярны в Вологодском регионе центральные, московские «толстые» журналы?

— Осторожное опасение, звучащее в вашем вопросе, к сожалению, оправдывается в полной мере. Подписка на литературные журналы, насколько я знаю, исчисляется не десятками, а единицами. А ведь еще 10 лет назад «Наш современник», например, выписывали на Вологодчине около 300 человек… Причин тут несколько. Здесь и дороговизна подписки, и финансовые трудности населения, и разделение журналов на группы, каждая из которых публикуется только в «своем» издании. И даже журналы, близкие по духу и направлению, далеко не всегда ведут между собой дружественную политику… Однако я не считаю, что читателей в России стало меньше, или что читают только пенсионеры, или что интересны людям только детективы, женские романы да кроссворды. Люди не стали глупее или развратнее; серьезных читателей не было много и в советские годы, о которых принято вспоминать с сожалением.

«Вологодский ЛАД» в киосках «Роспечати» лежит недолго — час-два, редко целый день. Правда, берут киоскеры не много, но все расходится. Среди читателей и авторов все больше становится людей молодых, есть школьники, студенты. Это говорит о том, что журнал наш людям нужен, они его воспринимают как родной, ищут в библиотеках, делятся с редакцией мнениями… Значит, не зря работаем.

Беседовал Кирилл ЛАДУТЬКО.

Вологда — Минск

В «Нёмане» поэтический «ЛАД»

Ольга ФОКИНА

* * *

Какое сдержанное лето!
Сколь осмотрителен июнь!
Едва засек легко одетых,
Уж к ветру — «с ветом»:
«Ну-ка, сдунь!»
И дует ветер — рад стараться,
Людским желаньям вопреки,
И мчатся переодеваться
Детишки к дому от реки.
…Я утром рано печь топила,
Чтоб было днем в избе тепло,
Но недосуг погреться было:
Дела снаружи, как назло!
Лишь поздно вечером, лишь к ночи,
Прижмусь к лежанке бок погреть,
Но и у печи день рабочий
Закончился… Пора мудреть!
Пора решать — или традиций
Держаться, или их ломать.
Но ведь за ломку «еретицей»
Меня в сердцах ругнула б мать,
Живая будь…
Но зябко, знобко!
И не заснешь, хоть вырви глаз!
И я несу для дров растопку,
И печь топлю в полночный час,
Боясь, что сажа загорится
В трубе… а вслед за сажей — дом…
Ох, еретица-еретица,
В деревне надо жить ладом!

…А ночь июньская — долга ли?
Едва-едва в моей печи
Дрова и угли отпылали,
На небе вспыхнул дня зачин.
И, не заснув, опять ударно
Тружусь на грядке — бодрый вид!
…В дому тепло и не угарно!
И сажа, мама, не горит…

Андрей ШИРОГЛАЗОВ

* * *

Песок просеивая сквозь
татуированные пальцы,
мой собеседник бросил вскользь:
«Мы все бродяги и скитальцы.
Жизнь — бесконечный коридор
К тиши последнего Парома…»
Но я-то знал, что это вздор,
сжав в кулаке ключи от дома…

Василий СИТНИКОВ

* * *

А. Грязеву

А как сбросили колокол,
Он упал не расколотым.
В избах стекла посыпались,
Задрожала земля.
А потом его — волоком,
А потом его — молотом,
Чтоб замолк этот колокол,
Противленец Кремля.
Он от боли ворочался,
Кособочился, корчился.
Под глухими ударами
Испустил страшный зык…
Дали дрогнули древние,
Стон прошел над деревнями,
Будто целой Россиюшке
Вырывали язык.
Чтоб стояла безмолвная,
Проклятая, безвольная,
Чтоб ее, беззащитную,
Всякий мог растоптать,
Учинить надругательство,
Обвинить в помешательстве,
И не смела родимая
Ни взроптать, ни восстать.

Борис ОРЛОВ

Наш корабль

Россия, не зная курса,
Плывет себе наугад.

Как первый отсек от «Курска»,
Оторван Калининград.

Не просвещен, не обучен
Вовремя наш экипаж.
И по борьбе за живучесть
Не проведен инструктаж.

Гибнем в подъездах и в штреках —
Страшен кровавый след.
Но «Осмотреться в отсеках!»
Сверху команды нет.

Взрывчатка, ножи и пули —
Топит Россию братва.
Словно винты, погнулись
Курильские острова.

Николай РАЧКОВ

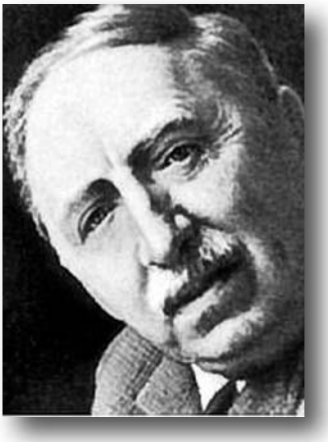
Бронзовому солдату в Таллине

И это «благодарные потомки»?
Сжимается продажное кольцо.
Ретивые эстонские подонки
Плюют солдату русскому в лицо.
А он стоит — не отмахнуться
каской.
Он мир спасал. Он от войны устал.
Измазали шинель поганой
краской,
Изгадили цинично пьедестал.
«Долой его!» —
кричат на исполина…
А от живого — драли до Берлина.

Александр ШВЕЦОВ

* * *

Казалось бы, жизнь-то простая…
Но чувствую: зря говорю.
То грешником в землю врастаю,
То ангелом в небе парю.
И так до погибели с нами…
А после откроемся ей
Не этими — в глине — корнями,
А звоном и шумом ветвей!



ЭДУАРД МОРГАН ФОРСТЕР

Комната с видом

Роман

Часть I

Глава 1. Пансион Бертолини

— Синьора не имела права так поступать! — возмущалась мисс Бартлетт. — Абсолютно никакого права! Нам обещали комнаты на южной стороне, с видом на реку, которая течет почти под самыми окнами. А вместо этого дали северные, окнами во двор, да и тот уходит куда-то вбок. Ах, Люси!

— И вдобавок ко всему, синьора — кокни, — с досадой отозвалась Люси. — С таким же успехом можно было не уезжать из Лондона.

Она осмотрела сидящих за столом англичан, разделенных двумя рядами прозрачных бутылок с водой и двумя рядами красных — с вином, а затем перевела взгляд на стены, где красовались портреты покойной королевы и последнего поэта-лауреата в массивных рамах. Других украшений не было, если не считать объявления Англиканской церкви за подписями преп. Катберга Эгера и м-ра М. А. Оксона.

— Шарлотта, а у тебя нет такого ощущения, что мы в Лондоне? Не могу поверить, что это другая страна. Или я просто устала?

— Мясо явно из супа, — сообщила мисс Бартлетт, откладывая свою вилку. — Я хочу видеть Арно. Комнаты, которые синьора обещала нам в письме, должны были выходить окнами на реку. Как ей только не стыдно! Мне-то любой закуток сойдет.

Люси мысленно упрекнула себя в эгоизме.

— Шарлотта, не нужно меня баловать. Ты тоже имеешь право любоваться Арно. Это подразумевается само собой. Первая же освободившаяся комната в фасадной части здания...

— ...станет твоей! — закончила мисс Бартлетт. Львиную долю ее расходов на эту поездку взяла на себя мать Люси, и мисс Бартлетт не упускала случая намекнуть на это обстоятельство.

— Нет, твоей!

— Люси, я настаиваю! Твоя мама никогда мне этого не простит...

— Этого мне она никогда не простит!

Голоса обеих путешественниц звучали все громче и, что греха таить, сварливее. Они очень устали с дороги, и борьба великодуший все больше походила на стычку. Соседи начали переглядываться, а один из них — очевидно, из тех нахальных типов, которые за границей попадаются на каждом шагу, — перегнулся через стол, чтобы вмешаться в разговор:

— Из моей комнаты прекрасный вид на реку. Просто прекрасный!

Мисс Бартлетт вздрогнула от неожиданности. Обычно в пансионах люди пару дней присматривались к ним перед тем как заговорить, да и то потом чуть

ли не до самого отъезда не могли разобраться, подошли они друг другу или нет. Она поняла, что самозванец плохо воспитан, еще прежде чем обратила на него взгляд. Это был пожилой мужчина плотного сложения, с бледным, чисто выбритым лицом и большими глазами, в которых проглядывало что-то детское, — правда, о нем и нельзя было сказать, что он впал в детство. Мисс Бартлетт было не до того, чтобы подыскивать его глазам точное определение, и она переключилась на одежду. Тоже не бог весть что. Видимо, он из тех, кто прыгает в воду, не зная броду. Поэтому она приняла рассеянный вид и промолвила:

— Вид? Ах, прекрасный вид... Это радует.

— Я тут с сыном, — сообщил настырный незнакомец. — Его зовут Джордж. У него тоже комната с видом.

— Вот как?

— Это я к тому, что мы можем поменяться комнатами.

Лучшая часть туристов была шокирована и взглядами выражала сочувствие новоприбывшим.

Мисс Бартлетт процедила сквозь зубы:

— Большое спасибо, но об этом не может быть и речи.

— Почему? — потребовал старик, положив на стол руки, сжатые в кулаки.

— Потому что об этом не может быть и речи, большое спасбо.

— Понимаете, — открыла было рот Люси, но кузина взглядом заставила ее замолчать.

— Нет, все-таки почему? — упорствовал старик. — Женщины любят красивые пейзажи, мужчины к ним равнодушны. — Он, как капризный ребенок, стукнул кулаками по столу и повернулся к сыну. — Джордж, попробуй хоть ты их уговорить.

— Ясно же, нам нужно поменяться комнатами, — ответил юноша. — Тут не о чем говорить.

Он не смотрел на дам, но его голос звучал растерянно и грустно. Люси тоже растерялась, чувствуя, что дело идет к скандалу, и что бы ни сказали эти двое, конфликт будет углубляться и шириться, потому что дело уже не в комнатах, а в чем-то другом, с чем она до сих пор не сталкивалась.

Старик продолжал грубо наседать на мисс Бартлетт. Почему она не хочет меняться? Какие доводы может привести? Еще каких-нибудь полчаса — и они поймут друг друга.

Мисс Бартлетт поднаторела в тонкостях светской дипломатии, но оказалась совершенно беспомощной перед лицом неприкрытой агрессии.

Побагровев от возмущения, она посмотрела по сторонам с таким выражением, словно хотела спросить: «Неужели здесь все такие?» И тотчас две пожилые дамы на другом конце стола просигналили: «Нет, что вы, мы культурные!»

— Ешь, дорогая, — сказала мисс Бартлетт своей молодой кузине и стала ковыряться в тарелке с мясом, которому раньше вынесла суровый приговор.

Люси пробормотала: дескать, эти мужчины напротив — какие-то странные.

— Ешь. Нам просто не повезло с этим пансионом. Завтра же переедем в какое-нибудь другое место.

Но не успела она огласить свое решение, как передумала. Портьеры в дальнем углу столовой раздвинулись, и вошел толстый, но симпатичный священник и, на ходу извиняясь за опоздание, направился к своему месту за столом. Люси, у которой еще не выработалась привычка соблюдать приличия при всех обстоятельствах, вскочила на ноги и воскликнула:

— Ой, да это же мистер Биб! Чудесно! Шарлотта, мы непременно должны остаться, бог с ними, этими комнатами!

Мисс Бартлетт проявила большую сдержанность.

— Как поживаете, мистер Биб? Вы нас, конечно, не помните? Мисс Бартлетт и мисс Ханичерч. Мы встречались в Тонбридж Уэллсе, на Пасху, когда вы помогали нашему викарию. Помните, тогда еще стояли холода?..

Священник помнил их весьма смутно, но благовоспитанно подошел и сел на указанный Люси стул.

— Я так рада вас видеть! — возбужденно заговорила она, все еще будучи на грани нервного срыва. — А потом мы будем встречаться дома... Надо же, как тесен мир!

— Мисс Ханичерч живет недалеко от Саммер Стрит, — пояснила мисс Бартлетт, заполняя паузу, — и как-то в разговоре со мной упомянула, что вы согласились взять этот приход...

— Да-да, с неделю назад я получила письмо от мамы. Она понятия не имела, что я знаю вас по Тонбридж Уэллсу, — я ее просветила.

— Совершенно верно, — подтвердил мистер Биб. — Я назначен приходским священником в Саммер Стрит и в июне должен буду приступить к исполнению своих обязанностей. Рад столь приятному соседству!

— А я как рада! Наша усадьба называется Уинди Корнер.

Мистер Биб поклонился.

— Нас в семье трое: мы с мамой и мой брат. Правда, его не часто удается вытащить в... Я хочу сказать, церковь довольно далеко от нас...

— Люси, милочка, дай мистеру Бибу спокойно поесть.

— Я ем, благодарю вас. И наслаждаюсь.

Естественно, ему было приятнее беседовать с Люси, чья игра на фортепьяно — как он теперь вспомнил — запала ему в душу, чем с мисс Бартлетт, которая, должно быть, посещала его проповеди. Он осведомился, хорошо ли мисс Ханичерч знает Флоренцию, и получил ответ: она здесь впервые. Всегда приятно просветить новичка, а мистер Биб к тому же был мастером по этой части.

— Ни в коем случае не пренебрегайте окрестностями, — посоветовал он. — В первый же погожий денек поезжайте во Фьезоле, а оттуда в Сеттиньяно или еще куда-нибудь.

— Нет! — раздалось на другом конце стола. — Мистер Биб, вы неправы. В первый погожий день вашим дамам следует наведаться в Прато.

— У этой леди очень умный вид, — шепнула мисс Бартлетт кузине. — Нам крупно повезло.

И действительно, на них со всех сторон обрушились потоки полезной информации. Люди наперебой рассказывали, что и когда нужно смотреть, как остановить трамвай и отделаться от нищего, сколько стоит писчая и промокательная бумага. Все выражали уверенность в том, что они просто влюбятся в эти места. Пансион Бертолини почти с восторгом принял их за своих. Куда бы они ни бросили взгляд, все дружелюбно улыбались и давали советы. Но голос умной дамы перекрывал остальные: «Прато! Обязательно поезжайте в Прато! Этот городок невозможно описать, я его просто обожаю! Там сбрасываешь с себя путы нашей замшелой респектабельности».

Молодой человек по имени Джордж поднял на умную даму глаза и опять задумчиво уткнулся в тарелку. Очевидно, они с отцом пришлись тут не ко двору. Люси, наслаждаясь пиком светского успеха, сочла возможным посочувствовать им. Ей было неприятно, что кому-то рядом не по себе. Поэтому, встав из-за стола, она обернулась и отвесила беднягам неловкий поклон. Отец не заметил, зато сын, хоть и не ответил поклоном, но поднял брови и улыбнулся — немного натянуто, словно преодолевая некое препятствие.

Люси последовала за кузиной, уже исчезнувшей за тяжелыми портьерами. Выйдя из столовой в гостиную, она увидела обманщицу — хозяй-

ку пансиона, та желала постояльцам доброй ночи. С одной стороны ее поддерживал «малыш» Энери, с другой — дочь Виктория. Было смешно смотреть, как эти кокни пытались имитировать изящество и добродушие южан. Так же нелепо выглядела сама гостиная с претензией на солидный уют меблированных комнат в Блумсбери. И это — Италия!

Мисс Бартлетт сидела в кресле, формой и цветом похожем на помидор, и беседовала с мистером Бибом.

— Мы вам так благодарны! Обычно все зависит от первого вечера. Мы же как раз перед вашим приходом попали в крайне затруднительное положение.

Он выразил свое сочувствие.

— Вы случайно не знаете фамилию того пожилого человека, что сидел напротив нас за столом?

— Эмерсон.

— Он ваш друг?

— Ну, я бы сказал, что мы на дружеской ноге — как обычно в таких пансионах.

— Я, как вы, должно быть, заметили, исполняю здесь обязанности дуэньи при молодой кузине, и было бы серьезным проступком с моей стороны поставить ее в зависимость от совершенно незнакомых людей. Манеры мистера Эмерсона оставляют желать лучшего. Надеюсь, что он руководствовался благими намерениями.

— Ваша реакция естественна, — задумчиво ответил священник. — Но мне кажется, если бы вы приняли его предложение, это не причинило бы вам вреда.

— Вреда — пожалуй, но чувствовать себя обязанной...

— Он, конечно, со странностями... — мистер Биб немного помешкал, прежде чем продолжить, — но вряд ли способен злоупотребить вашим доверием и меньше всего рассчитывал на вашу признательность. Он обладает редким достоинством — если это можно назвать достоинством — всегда говорить что думает. Ему случайно досталось то, что ему не нужно, зато нужно вам. Он не считает это услугой. Нам — во всяком случае, мне — трудно понять человека, который всегда абсолютно искренен.

— Я знала, что он хороший! — обрадовалась Люси. — Мне нравится видеть в людях хорошее!

— Да, полагаю, он такой и есть: хороший, но ужасно нудный. Мы с ним расходимся почти во всех важных вопросах, и я думаю... я надеюсь, что вы тоже придерживаетесь других взглядов на мир. Он из тех людей, с которыми можно не соглашаться, но которых нельзя жалеть. Сразу же по приезде он восстановил против себя всех обитателей пансиона. Он начисто лишен такта и светских манер — впрочем, дурными их тоже не назовешь — и не считает нужным держать свое мнение при себе. Мы както даже собирались пожаловаться на него нашей неподражаемой синьоре и, слава богу, передумали.

— Можно ли на основании вышесказанного заключить, что он социалист? — спросила мисс Бартлетт.

Мистер Биб немного скривил губы, но подтвердил: можно.

— Сына он тоже воспитал социалистом?

— Я плохо знаю Джорджа, потому что он крайне неразговорчив. Тем не менее он производит хорошее впечатление и, пожалуй, умен. Конечно, он многое перенял от отца, и не исключено, что разделяет его взгляды.

— Ну, просто гора с плеч, — призналась мисс Бартлетт. — Так, по-вашему, нам следовало принять их предложение? Вы считаете меня отсталой и чересчур подозрительной?

— Упаси бог, я так вовсе не считаю.

— Может, я должна извиниться перед ним за грубость?

Мистер Биб с досадой заметил, что это вовсе не обязательно, и отправился в курительную комнату.

— Кажется, я нагнала на него скуку, — предположила мисс Бартлетт после его ухода. — Люси, почему ты не поддерживала разговор? Ему, несомненно, интереснее с молодыми. Надеюсь, тебе не показалось, будто я его монополизировала? Я была уверена, что ты возьмешь его на себя.

— Он очень хороший! — воскликнула Люси. — Точно такой, каким я его запомнила. Должно быть, он видит в людях только хорошее. Даже не подумаешь, что священник.

— Люсия...

— О, ты прекрасно понимаешь, что я имею в виду! И знаешь манеру священников выдавливать из себя улыбку. А мистер Биб смеется от души, как нормальный человек.

— Ну и чудачка же ты! И как две капли воды похожа на мать. Интересно, он ей понравится?

— О, конечно — и ей, и Фредди!

— Да, пожалуй, он очарует всех просвещенных обитателей Уинди Корнер. Мы же у себя в Тонбридже безнадежно отстали от времени.

— Да, — хмуро подтвердила Люси.

У нее осталось смутное ощущение неудовлетворенности, но она никак не могла определить, кем именно недовольна: собой, мистером Бибом, просвещенными обитателями Уинди Корнер или косным мирком Тонбридж Уэллса. Тем временем мисс Бартлетт, всегда упорно отрицавшая свое недовольство кем или чем бы то ни было, продолжила разговор:

— Боюсь, что я для тебя плохая компания.

И, конечно, Люси в очередной раз упрекнула себя в эгоизме: «Я должна быть внимательнее. Шарлотте и так приходится туго: ведь она бедна».

К счастью, одна из миниатюрных старушек, видимо, старых дев, которые на протяжении всего этого времени благосклонно улыбались им из другого конца комнаты, подошла и попросила разрешения сесть на стул, освободившийся после мистера Биба. А когда села, тут же тихонько, как пташка, защебетала об Италии. О том, чего им стоило решиться на эту рискованную поездку, которая, однако, превзошла все их ожидания. О благотворной перемене в состоянии здоровья ее сестры, о необходимости закрывать на ночь окна спальни, а по утрам выпивать полную бутылку воды. Она излагала новости и делилась опытом в приятной, доброжелательной манере, уверенная в том, что беседа с ними заслуживала большего внимания, чем жаркий спор о гвельфах и гибеллинах в дальнем углу гостиной. Рассказала даже о кошмарном эпизоде в Венеции, когда она обнаружила в своей постели нечто такое, что хуже блохи, но все-таки лучше кое-чего другого.

— Зато здесь вы находитесь в полной безопасности — как в Англии. — Синьора Бертолини совсем как англичанка.

— В наших комнатах дурно пахнет, — пожаловалась Люси. — Мы боимся ложиться спать.

— И вдобавок ко всему вам приходится созерцать из окон пустой двор, — посочувствовала старая дама. — Ах, если бы мистер Эмерсон проявил больше такта! Мы все так переживали за вас!

— Я убеждена, что у него были добрые намерения.

— Вне всяких сомнений, — поддержала ее мисс Бартлетт. — Мистер Биб упрекнул меня в чрезмерной подозрительности. Но я должна была защищать интересы моей юной родственницы.

— О, разумеется, — согласилась старая леди, и они застрекотали в унисон о том, что молодым девушкам лишняя осторожность не помешает.

Люси постаралась придать себе кроткий вид, но не могла не чувствовать себя идиоткой.

— А что до старшего мистера Эмерсона — не знаю... Да, он абсолютно лишен такта, но… разве вам не приходилось видеть людей, которые делали что-нибудь без всякого изящества, а получалось почему-то... красиво?

— Красиво? — поразилась мисс Бартлетт. — Разве красота и изящество не одно и то же?

— Да, верно, — ее собеседница беспомощно пожала плечами. — Но иногда мне кажется, что все не так просто...

И она прикусила язычок, потому что в комнату вошел мистер Биб с чрезвычайно довольным видом.

— Мисс Бартлетт! — воскликнул он. — Конфликт из-за комнат улажен! Я так рад! Мистер Эмерсон заговорил со мной в курительной комнате, и я, будучи в курсе, поддержал его в намерении довести дело до конца. Он уполномочил меня передать, что это доставит ему огромное удовольствие!

— О, Шарлотта! — обрадовалась Люси. — Давай сейчас же переедем! Старый джентльмен так любезен!

Мисс Бартлетт молчала.

— Кажется, я влез не в свое дело, — сказал мистер Биб. — Извините за назойливость.

И, расстроенный, направился к двери. Но остановился, услышав за спиной:

— Мои желания, бесценная Люси, не идут ни в какое сравнение с твоими. Было бы жестоко с моей стороны лишать тебя права действовать по своему усмотрению здесь, во Флоренции, где я нахожусь исключительно благодаря щедрости твоей матери. Если тебе угодно выдворить этих джентльменов из их комнат, будь по-твоему. Мистер Биб, вас не затруднит передать мистеру Эмерсону, что я принимаю его предложение и хотела бы лично выразить ему свою благодарность?

При этом она все больше повышала голос, так что под конец он заглушил даже гвельфов с гибеллинами. Священник, проклиная в душе весь женский пол, поклонился и пошел выполнять поручение.

— Запомни, Люси: это исключительно на мою ответственность. Нельзя, чтобы это решение связывали с тобой. Позволь мне хотя бы это.

Вновь появился мистер Биб и нервно произнес:

— Мистер Эмерсон занят. Я привел его сына.

Молодой человек опустил глаза на сидящих дам, и тем показалось, что они сидят на полу — такими низкими были кресла.

— Отец принимает ванну, так что вы не сможете поблагодарить его лично. Но любое ваше сообщение будет передано ему при первой возможности.

Отдать предпочтение ванне перед благодарностью мисс Бартлетт! Все заготовленные ею колкости, которые она собиралась преподнести под видом любезности, остались невостребованными! Мистер Эмерсон-младший не скрывал своего торжества, к явному удовольствию мистера Биба и тайному — Люси.

— Бедный молодой человек! — сказала мисс Бартлетт после его ухода. — Как он, должно быть, зол на отца из-за этих комнат! Но что ему остается, кроме напускной учтивости!

— Примерно через полчаса ваши комнаты будут готовы, — сообщил мистер Биб и, бросив напоследок задумчивый взгляд на обеих кузин, удалился к себе, чтобы сделать запись в философском дневнике.

— Да уж, — вздохнула мисс Алан, собеседница Шарлотты Бартлетт, — джентльменам не понять... — На этом она выдохлась, но мисс

Бартлетт уловила главную мысль, и они продолжили разговор, в котором главную роль играли непонятливые джентльмены.

Люси раскрыла свой «Бедекер». Этот путеводитель она прихватила с собой в Северную Италию и в свободное время прилежно заучивала наизусть важнейшие даты флорентийской истории. Ибо твердо решила на следующий день наслаждаться жизнью.

Полчаса прошли в плодотворных занятиях. Потом мисс Бартлетт со вздохом поднялась.

— Что ж, приступим. Сиди, сиди, я сама займусь переездом.

— У тебя все так ловко получается, — польстила ей Люси. — Но ведь ты стараешься для меня, так что я должна участвовать…

— Нет-нет, дорогая.

Шарлотта такая деятельная! И при этом — ни капли эгоизма! Она всегда была такой, но в этом путешествии по Италии превзошла себя. Так думала Люси — вернее, заставляла себя думать. Но... невесть откуда взявшийся дух противоречия нашептывал, что лучше бы в поведении кузины было меньше деликатности и больше... красоты. В общем, она вошла в свою комнату, не испытывая ни малейшей радости.

— Я хочу объяснить, — сказала мисс Бартлетт, — почему я заняла большую комнату. Естественно, я предпочла бы отдать ее тебе, но оказалось, что здесь жил молодой человек, и твоей маме это наверняка бы не понравилось.

Люси была озадачена.

— Раз уж так получилось, что нам сделали одолжение, тебе лучше быть обязанной отцу, а не сыну. Я тоже кое-что повидала в жизни и знаю, к чему это может привести. Хотя мистер Биб, по-видимому, может послужить гарантией против злоупотреблений с их стороны.

— Мама не стала бы возражать, я уверена, — пробормотала Люси, и у нее уже не в первый раз возникло ощущение существования в мире каких-то сложных, неизвестных ей проблем.

Мисс Бартлетт покровительственным жестом обняла ее и пожелала доброй ночи. От этого объятия Люси вновь почувствовала себя в тумане и, придя к себе, первым делом открыла окно, чтобы вдохнуть свежего ночного воздуха. Она с теплом думала о щедрости старого джентльмена, благодаря которой может любоваться огнями, отражающимися в реке, кипарисами и предгорьями Апеннин, чернеющими в свете восходящей луны.

Мисс Бартлетт закрыла окно в своей комнате и заперла на задвижку дверь. Потом обошла свои апартаменты и обследовала шкафы — нет ли в них потайных дверей. И вдруг заметила прилепленный к умывальнику бумажный клочок, на котором был нацарапан большой вопросительный знак. И больше ничего.

— Что бы это значило? — подумала она и тщательно рассмотрела записку, поднеся ее к свече. То, что вначале показалось пустяком, вдруг приобрело грозный, даже зловещий смысл. Ее так и подмывало выбросить листок, но она решила, что не имеет права, потому что он явно принадлежал младшему мистеру Эмерсону. Тогда мисс Бартлетт аккуратно отшпилила его и положила между двумя листами промокательной бумаги, чтобы сохранить сухим. Обход был закончен, она по привычке тяжело вздохнула и легла в постель.

Глава 2. В Санта-Кроче без «Бедекера»

Приятно проснуться во Флоренции! Открыть глаза в светлой комнате с голыми стенами, полом, выложенным красной немаркой керамической плиткой, и разрисованным потолком, на котором розовые грифоны и голу-

бые амуры резвились в лесу под звуки скрипок и фаготов. Широко распахнуть створки окна, предварительно подергав непривычные задвижки, высунуться из окна навстречу живописным холмам, деревьям и мраморным церквям, а главное — увидеть, как внизу воды Арно бьются о парапет набережной.

За рекой, на песчаном берегу, рабочие копали и просеивали песок сквозь сито, а на воде качалась лодка, также выполняя какое-то непонятное задание. Под самым окном прошуршал трамвай. В салоне был всего один турист, зато на открытых площадках толпились итальянцы, предпочитавшие стоять. Сзади цеплялись мальчишки, и кондуктор беззлобно награждал их шлепками, чтобы заставить слезть. Потом на улице появились солдаты — бравые, все примерно одного небольшого роста; каждый нес заплечный мешок, заляпанный грязью и был одет в длинную, не по росту, шинель. По бокам колонны шли офицеры со свирепым и довольно-таки глупым видом. Трамвай полз медленно, как гусеница в муравейнике, боясь на них наехать. Какой-то мальчонка свалился с подножки, а из подворотни вышло несколько белых бычков. Если бы не мудрые советы старого продавца крючков для одежды, движение могло бы совсем застопориться.

На созерцание подобных пустяков можно угробить немало драгоценного времени, так что турист, прибывший в Италию для изучения «совсем как живых» образов Джотто или развращенности папства, по возвращении домой зачастую может припомнить только небесную лазурь и копошащихся внизу мужчин и женщин. Поэтому появление в комнате мисс Бартлетт оказалось весьма кстати. Она отругала Люси за незапертую дверь и за то, что та высунулась в окно не полностью одетой, и велела поторапливаться, чтобы лучшее время суток не прошло впустую. К тому времени как Люси была готова, кузина уже разделалась со своим завтраком и теперь, сидя за столом с крошками, внимала речам умной дамы.

Разговор покатился по наезженной колее. Мисс Бартлетт чувствовала себя недостаточно отдохнувшей и предпочла бы никуда не ходить, а получше освоиться в своих комнатах. Но, может быть, Люси хочет прогуляться? Люси хотела, ведь это был ее первый день во Флоренции, но при условии, что отправится на прогулку одна. Мисс Бартлетт сказала, что об этом не может быть и речи. Значит, Люси останется. Нет, так тоже не годится! Нет, годится!

Тут в разговор вмешалась умная дама.

— Если вас волнует, что скажет миссис Гранди[1], то, уверяю вас, вы смело можете не обращать внимания на эту достойную особу. Будучи англичанкой, мисс Ханичерч абсолютно ничем не рискует. Итальянцы все понимают. У моей приятельницы, графини Бaрончелли, две дочери, и когда служанка не может отвести их в школу, мать дает им надеть матросские бескозырки, и все принимают их за англичанок, особенно если волосы убраны назад.

Мисс Бартлетт усомнилась в методе графини Барончелли. Нет уж, она сама будет повсюду сопровождать Люси. Тогда умная дама сказала, что собирается на все утро в Санта-Кроче, и предложила Люси составить ей компанию.

— Возвращаться будем дворами, и, может быть, вы принесете мне удачу в виде настоящего приключения.

Люси поблагодарила ее за столь любезное приглашение и открыла путеводитель, чтобы посмотреть, где находится храм Санта-Кроче.

---

[1] Гранди — персонаж вышедшего в 1798 г. романа Т. Мортона; законодательница общественного мнения в вопросах приличия.

What will Mrs. Grundy say? — что скажут люди? (Ср. у Грибоедова: Что станет говорить княгиня Марья Алексевна!) *Здесь и далее примечания переводчика.*

— Ну-ну, мисс Люси. Надеюсь, скоро мы отучим вас заглядывать в «Бедекер». Это хороший справочник, но... слишком поверхностный. Настоящей Италией там и не пахнет. Настоящую Италию можно узнать только путем терпеливого самостоятельного исследования.

Это звучало заманчиво. Люси быстро закончила свой завтрак и в приподнятом настроении вместе с новой знакомой отправилась на экскурсию по Флоренции. Наконец-то она увидит Италию! Синьора-кокни и ее заведение испарились как дурной сон.

Мисс Лавиш — так звали умную даму — свернула направо и пошла по залитой солнцем набережной.

— Какой замечательный, теплый денек! Однако на боковых улочках ветер пронзает как нож, не правда ли? Особенно живописен Мост Благодарения, о нем можно найти упоминание у Данте. Храм Сан-Миниато тоже очень красив и интересен, мисс Ханичерч наверняка помнит историю о распятии, поцеловавшем убийцу. Возможно, в действительности этого не было, но ведь история сплошь и рядом грешит неточностями.

Тут мисс Лавиш нырнула под арку, откуда утром выходили белые бычки, и воскликнула:

— Чувствуете, как пахнет? У каждого города, позвольте вас просветить, свой особый запах.

— По-вашему, этот — приятный? — усомнилась Люси, которой от матери передалось отвращение к грязи.

— В Италию ездят не за приятным, — отрезала ее спутница, — а за жизнью! Buon giorno! Buon giorno! — здоровалась она с прохожими, кивая головой направо и налево. — Взгляните на эту восхитительную повозку с вином! Как возница уставился на нас — милейший человек, простая душа!

Так мисс Лавиш продолжала путешествие по улицам Флоренции, маленькая, суетливая, игривая, как котенок, хотя не столь грациозная. Люси получала огромное удовольствие в обществе такой умной и жизнерадостной особы! Ее синий жакет — точно такого цвета, как итальянский мундир, усиливал ощущение праздника.

— Buon giorno! Уж поверьте старой женщине, вежливость по отношению к тем, кто ниже вас, никогда не помешает. Это и есть подлинная демократия. Хотя вообще я — убежденный радикал. Это вас шокирует?

— Вот уж нет! — воскликнула Люси. — Мы тоже радикалы. Папа всегда голосовал за мистера Гладстона — пока он так жестоко не обошелся с Ирландией.

— Ясно. А теперь вы переметнулись в лагерь противника.

— Ну что вы! Если бы папа был жив, он бы снова голосовал за радикалов — теперь, когда там восстановлен порядок. Во время прошлых выборов у нас выбили стекло над входной дверью. Фредди говорит, это сделали тори, а мама — какой-нибудь бродяга.

— Стыд-позор! Это что же — промышленный район?

— Нет — горная местность в Суррее. В пяти милях от Доркинга. От нас хорошо виден Уилд[1].

Мисс Лавиш была настолько заинтересована, что даже замедлила шаг.

— Очень красивая местность, она мне хорошо знакома. Там живут милые люди. Может быть, вы знаете сэра Гарри Отвея? Вот уж радикал дальше некуда.

— Да, и довольно близко.

— А старую филантропку миссис Баттерворт?

---

[1]Уилд, район Англии, в который входят части графств Кент, Суссекс, Суррей, Гемпшир.

— О да, она арендует у нас поле.

— Надо же! — Мисс Лавиш посмотрела на узкую полосу неба. — Так у вас в Суррее недвижимость?

— Так, пустяки, — ответила Люси, боясь обвинения в снобизме. — Каких-то тридцать акров: сад на склоне холма и несколько полей.

Мисс Лавиш отнеслась к этой информации без неудовольствия и в ответ сообщила, что поместье ее тетушки в Суффолке примерно тех же размеров. Италия была забыта. Некоторое время они пытались оживить в памяти фамилию леди Луизы, которая в прошлом году арендовала дом в деревне Саммер Стрит, но он ее чем-то не устроил, и она съехала. Наконец мисс Лавиш вспомнила ее фамилию — и тотчас воскликнула:

— О Боже! Господи, спаси нас и сохрани! Мы заблудились.

Действительно, им потребовалось слишком много времени, чтобы достичь церкви Санта-Кроче, чьи готические башни были видны из окна на лестничной площадке пансиона, но мисс Лавиш столько раз уверяла, что знает Флоренцию как свои пять пальцев, что Люси следовала за ней без каких-либо опасений.

— Заблудились! Люси, мы так увлеклись политикой, что пропустили нужный поворот. Вот бы консерваторы позлорадствовали, если б узнали! Но что же нам делать? Две одинокие беспомощные женщины в незнакомом городе! Вот оно — то, что я называю приключением!

Люси, которой не терпелось посмотреть Санта-Кроче, предложила самый простой и самый очевидный выход: спросить дорогу у прохожих.

— Ну нет, так поступают только слабаки! И, пожалуйста, не открывайте свой «Бедекер»! Давайте-ка его сюда! Потащимся наугад и положимся на волю случая.

И они потащились по серо-коричневым улицам, которыми изобилует восточная часть города и о которых можно сказать «ни красы, ни радости». Люси почувствовала, что ей больше нет дела до причин недовольства леди Луизы, она начала испытывать его сама.

И вдруг перед ними предстала настоящая Италия! Стоя на Площади Аннунциаты, Люси залюбовалась ожившими терракотовыми детишками, которых даже самое бездарное копирование не могло лишить обаяния. Их ножки просвечивали сквозь ветхие, пожертвованные прихожанами одежки, и они тянули крепкие ручонки к небу. Люси показалось, что она не видела ничего более прекрасного, но мисс Лавиш брезгливо поморщилась и потянула ее дальше, сказав, что они уклонились от курса на добрую милю.

Наступило обычное на континенте время завтрака. Путешественницы купили в какой-то лавчонке горячую каштановую пасту, пахнущую оберточной бумагой, маслом для волос и еще чем-то, не поддающимся определению. Но она дала им силы дотащиться до следующей, большой и пыльной площади, на противоположной стороне которой высилось безобразное черно-белое здание. Мисс Лавиш с драматическими нотками в голосе объявила, что это и есть Санта-Кроче. Приключение закончилось.

— Пропустим этих людей, а то как бы не пришлось с ними разговаривать. Терпеть не могу пустую болтовню. Кошмар! Они идут в ту же церковь, что и мы. Ох уж эти англичане за границей!

— Это те, что вчера вечером сидели напротив нас в столовой. Они были так добры, что уступили нам свои комнаты.

— Нет, вы только посмотрите на эти фигуры! — развеселилась мисс Лавиш. — Топают по моей Италии, как коровы. Это, конечно, грубо с моей стороны, но я бы устроила в Дувре экзамен для туристов и не пускала бы тех, кто провалится.

— И о чем бы вы нас спрашивали?

Мисс Лавиш благосклонным жестом положила руку на плечо Люси, словно говоря, что уж она-то выдержала бы экзамен с блеском. В приподнятом настроении они поднялись по ступеням церкви и уже собирались войти, как вдруг мисс Лавиш взвизгнула, воздела руки к небу и воскликнула:

— Вон идет мой источник местного колорита. Мне нужно перемолвиться с ним парой фраз!

В следующее мгновение она уже летела через площадь, с развевающимися полами «военного» жакета, и наконец на полном ходу врезалась в пожилого мужчину с седыми бакенбардами, чтобы кокетливо повиснуть у него на руке.

Люси ждала ее десять минут, и в конце концов ей надоело. К ней цеплялись нищие, в глаза лезла пыль, и в довершение всего она вспомнила, что молодой девушке неприлично одной стоять в публичном месте. Она медленно спустилась по ступеням, чтобы присоединиться к мисс Лавиш, чья оригинальность поистине не знала границ. Но в этот самый момент мисс Лавиш и ее «источник» тоже, энергично жестикулируя, двинулись с места и скрылись в переулке.

У Люси выступили слезы на глазах: мало того, что мисс Лавиш ее обманула, так еще и унесла с собой путеводитель. Как ей теперь найти дорогу в пансион? Как ориентироваться в Санта-Кроче?

Первое утро пребывания во Флоренции было безнадежно испорчено. Лучше б она и не приезжала! Всего лишь несколько минут назад Люси была полна энтузиазма, ощущая себя культурной женщиной, и почти убедила себя в собственной оригинальности. А теперь она вошла в храм подавленной и даже не могла вспомнить, кто его построил: францисканцы или доминиканцы.

Здание, конечно, впечатляет, но уж слишком похоже на амбар! А внутри оказалось очень холодно. Да, фрески Джотто заставили ее ощутить положенное благоговение. Но кто объяснит ей, что на них изображено? Исполненная скептицизма, Люси бесцельно бродила по залу, не желая восторгаться скульптурами неизвестных авторов и бог весть какого исторического периода. Откуда ей знать, которая из надгробных плит в нефах действительно хороша и о которой восторженно отзывался в своих книгах мистер Рескин?

Постепенно на нее начало действовать неотразимое обаяние Италии, и вместо того чтобы впитывать информацию, Люси позволила себе расслабиться и получать удовольствие. Ее внимание привлекли объявления — например, запрещающие брать с собой в церковь собак и плеваться в этом священном месте. Она наблюдала за туристами — у многих от холода носы стали красными, как обложка «Бедекера». Посокрушалась над тяжкой участью трех маленьких католиков — двух мальчиков и девочки, которые сначала брызгали друг на друга святой водой, а затем перешли к мемориалу Макиавелли, мокрые, дрожащие, зато получившие благословение. Подойдя к памятнику, они стали касаться камня руками, головами и носовыми платками, а потом отошли на солидное расстояние. Эту процедуру они повторили несколько раз. Что бы это значило? Потом Люси догадалась: они приняли Макиавелли за одного из святых и надеялись набраться от него силы. Наказание не заставило долго себя ждать. Младший мальчик споткнулся о фигуру какого-то епископа. Несмотря на свое протестантское вероисповедание, Люси бросилась к нему, но опоздала: ребенок с размаху грохнулся на ноги прелата.

— Чертов поп! — выругался подбежавший мистер Эмерсон. — Как при жизни не давал людям спокойно жить, так и после смерти. Ступай на улицу, малыш, пусть тебя приласкает солнышко. Вот где твое настоящее место! Чертов епископ!

При этих словах ребенок дико заверещал, показывая свое отношение к страшным людям, которые подняли его, отряхнули, погладили и сказали, что не нужно верить во всякую чушь.

— Вы только посмотрите на него, — сказал мистер Эмерсон Люси. — Вот вам и месса. Ребенок ударился, замерз и смертельно напуган. Но чего можно было ждать от церкви?

Ножки мальчика сделались мягкими, как расплавленный воск. Всякий раз, когда мистер Эмерсон или Люси пытались поставить его на пол, он с криком падал. К счастью, итальянка, молившаяся поблизости, пришла им на помощь. Благодаря какой-то загадочной материнской силе она заставила его косточки отвердеть, мальчик встал и, бормоча от волнения что-то нечленораздельное, поплелся на улицу.

— Вы умная женщина, — похвалил ее мистер Эмерсон. — Вам удалось то, что не под силу никаким святым мощам на земле. Никакой божий промысел... — тут он запнулся, подбирая слова.

— Niente (Ничего), — произнесла итальянка и продолжала молиться.

— Наверное, она не понимает по-английски, — предположила Люси.

Этот эпизод отрезвил ее. Получив щелчок по носу, она больше не презирала мистера Эмерсона и решила, что отныне будет мила с этими двоими — действительно мила, а не только учтива. Может быть, ей даже удастся какой-нибудь похвалой смягчить сердце мисс Бартлетт.

— Все она понимает, эта женщина, — возразил мистер Эмерсон. — Но что вы-то здесь делаете? Молитесь или с этим уже покончено?

— Нет-нет! — воскликнула Люси, вспомнив свои злоключения. — Я пришла сюда вместе с мисс Лавиш, она обещала мне все объяснить, но вдруг увидела в отдалении знакомого и убежала. Я подождала немного и наконец была вынуждена войти в церковь одна.

— Ну, и что тут такого? — удивился мистер Эмерсон.

— Действительно, что тут такого? — наконец подал голос его сын.

— Дело в том, что мисс Лавиш унесла с собой мой «Бедекер».

— «Бедекер»? — повторил мистер Эмерсон. — Я рад, что вы расстроились именно из-за «Бедекера». Он того стоит.

Люси растерялась. Она опять столкнулась с чем-то новым и не знала, куда это может привести.

— Без путеводителя вам лучше держаться нас, — посоветовал мистер Эмерсон-младший.

Люси призвала на помощь гордость.

— Благодарю вас, но об этом я и не помышляла. Уж не думаете ли вы, что я здесь для того, чтобы составить вам компанию? Я просто хотела помочь ребенку и, пользуясь случаем, хочу поблагодарить вас за то, что вы вчера уступили нам свои комнаты. Надеюсь, это не причинило вам особого ущерба?

— Дорогая, — мягко произнес старик, — мне кажется, вы повторяете то, что слышали от других. Притворяетесь обиженной, тогда как на самом деле не чувствуете этого. Не будьте ханжой — скажите лучше, какую часть церкви вам бы хотелось осмотреть. Я с удовольствием стану вашим гидом.

Ну, такой неслыханной дерзостью Люси просто обязана была возмутиться! Но иногда так же трудно вызвать у себя гнев, как в других случаях — сдержать его. Мистер Эмерсон был пожилым человеком, и, понятно, общество молодой девушки доставляло ему удовольствие. Да, но Джордж Эмерсон молод, на него-то ей и нужно сердиться! Или, по крайней мере, сделать вид, будто сердится.

Она какое-то время смотрела на него, прежде чем сказать:

— Я не обидчива. Мне хочется посмотреть работы Джотто. Буду признательна, если вы поможете мне отличить их от работ других художников.

Молодой человек кивнул в знак согласия. И с выражением мрачного удовольствия на лице возглавил маленькую процессию в часовню Перуцци. В нем было что-то от учителя. Люси почувствовала себя школьницей, только что правильно ответившей урок.

В часовне было полно солидных горожан. Один из них, видимо лектор, громко, во весь голос призвал всех восторгаться Джотто, руководствуясь не чисто художественными, а духовными критериями.

— Запомните, — вещал он, — навсегда запомните факты, которые я вам сообщу и которые относятся к истории построения храма Санта-Кроче, возводимого пылкой верой, присущей средневековью, хотя в то время с порчей Возрождения не было совсем покончено. Обратите внимание на то, как на этих фресках — к несчастью, пострадавших при реставрации, Джотто удалось избежать силков анатомии и перспективы. Что может быть величественнее, трогательнее и правдивее? Точное знание и техническое совершенство бессильны против умения истинно чувствовать!

— Ничего подобного! — раздался громовой голос мистера Эмерсона. — Даже не думайте это запоминать! Возведен верой, как же! Это надо понимать так, что строителям платили жалкие гроши! А что до фресок, то они не имеют никакого отношения к жизненной правде. Посмотрите вон на того толстяка в синем! Он весит столько же, сколько я, и, тем не менее, взмывает в небо, как воздушный шарик!

Это относилось к фреске «Вознесение святого Иоанна».

Лектор на мгновение умолк. Экскурсанты, включая Люси, неловко переминались с ноги на ногу. Она уже поняла, что ей не место рядом с этими двумя, по какой-то причине подпала под их влияние. Они были так серьезны и настолько отличались от других, что она не знала, как себя вести.

— Ну так как же — было это в действительности или не было? Да или нет? — спросил кто-то из присутствующих.

— Если и было, — сказал Джордж Эмерсон, — то именно так, как здесь нарисовано. Хотя я лично предпочел бы самостоятельно добираться до неба и не позволил бы херувимам себя тащить.

— Ты не попадешь на небо, — возразил его отец. — Таким, как мы, суждено упокоиться в земле, откуда мы пришли в мир, и наши имена забудутся, но останутся наши труды.

— Извините, — раздался пронзительный голос лектора, — эта часовня мала для двух групп. Идемте, не будем им мешать.

Лектор был священником, а экскурсанты, по-видимому, его паствой. Все они молча потянулись к выходу. Среди них оказались и две миниатюрные старушки из пансиона Бертолини — мисс Тереза и мисс Кэтрин Алан.

— Стойте! — крикнул мистер Эмерсон. — Здесь хватит места для всех!

Процессия удалилась без единого слова. И вскоре голос лектора раздавался уже в соседней часовне. Речь шла о святом Франциске.

— Джордж, кажется, этот экскурсовод — тот самый викарий из Брикстона.

— Может быть. Точно не помню.

— Тогда я пойду туда и напомню ему, кто я такой. Да, точно, это мистер Эгер. Почему он ушел? Неужели я слишком громко говорил? Неужели мы слишком громко говорили? Как это неприятно. Я должен пойти и извиниться. Да. Пойду, извинюсь за нас обоих. Может, он вернется?

— Не вернется, — уронил Джордж.

Но мистер Эмерсон, полный раскаяния, поспешил в соседнюю молельню, чтобы извиниться перед преподобным Катбергом Эгером. Люси, ушедшая в созерцание круглого окна на потолке, услышала, как

прервалась лекция, затем послышался раздраженный голос мистера Эмерсона и пронзительные нотки в голосе его оппонента. Джордж Эмерсон, от рождения склонный воспринимать любое осложнение трагически, тоже прислушался.

— Отец почти всем действует на нервы, — сказал он Люси. — А ведь он хочет только добра.

— Все мы стремимся к добру, — с вымученной улыбкой произнесла Люси.

— Потому что считаем это полезным для нашего характера. А его доброта идет от любви к людям. Они же стараются вывести его на чистую воду, злятся или пугаются.

— Ну и глупо, — сказала Люси, хотя на деле была солидарна с большинством. — Добрый поступок, совершенный с надлежащим тактом...

— Тактом! — он возмущенно вскинул голову и стал нервно вышагивать взад-вперед по часовне.

Для молодого человека лицо Джорджа Эмерсона было суровым и даже грубым — пока на него падал свет. Зато, очутившись в тени, оно стало мягче.

Он был сильным, мускулистым молодым человеком, но почему-то сейчас представился ей убеленным сединой, как будто на нем лежал серый, невидимый в темноте налет трагедии.

Скоро это ощущение прошло — Люси не умела долго сосредоточиваться на чем-либо сложном, туманном. К тому же вернулся мистер Эмерсон, возвращая ее к привычному обмену репликами.

— Ну что, отбрили тебя? — спокойно спросил Джордж.

— Ничего не поделаешь. Мы испортили настроение множеству людей. Они не вернутся.

Сквозь перегородку до них доносились обрывки повествования о святом Франциске: «...полный врожденного сострадания... распознавать в людях добро... братство людей...»

— Не обижайтесь хоть вы на нас, — обратился мистер Эмерсон к Люси. — Ну что, насмотрелись на святых?

— Да. Они производят сильное впечатление. А вы не знаете, о чьем именно надгробии писал Рескин?

Он не знал — и предложил ей попробовать угадать.

К большому облегчению Люси, Джордж не последовал за ними. Они вдвоем бродили по храму Санта-Кроче, который, хотя снаружи и походил на амбар, хранил в своих недрах настоящие шедевры. Правда, им постоянно мешали то нищие, от которых приходилось уворачиваться и прятаться за колоннами, то старуха с собачкой, то какой-нибудь священник, бочком пробиравшийся к мессе.

Мистер Эмерсон был не особенно внимателен и время от времени с тревогой поглядывал на сына.

— Что он не может оторваться вон от той фрески? Я лично не вижу в ней ничего особенного.

— Мне нравятся люди на фресках Джотто, — сказала Люси. — Они и впрямь как живые. Хотя на меня больше подействовали младенцы делла Роббиа.

— Так и должно быть. Один ребенок стоит дюжины святых. А мое дитя стоит Эдема, но пока он живет в аду.

Люси почувствовала себя неловко.

— Живет в аду, — повторил ее спутник. — Он очень несчастен.

— О Господи!

— Вы спросите: как он может быть несчастлив, если здоров и силен? Чего ему не хватает? И ведь как его воспитывали! Ни предрассудков, ни

невежества, из-за чего люди портят друг другу кровь во имя Бога. С таким воспитанием — и не чувствовать себя счастливым!

Люси ничего не смыслила в теологии, но она видела перед собой пожилого человека, который был невероятно глуп, при всей своей учености. Мама не одобрила бы то, что она разговаривает с таким человеком. А о Шарлотте и говорить не приходится.

— Ну что мне с ним делать? — сокрушался мистер Эмерсон. — Приехал в Италию отдыхать, а ведет себя, как тот мальчишка, которому полагается бегать и прыгать, а он в первый же день споткнулся о чье-то надгробье и повредил ногу. А? Что вы сказали?

Люси ничего не говорила. Неожиданно старик обратился к ней с просьбой:

— Бросьте глупые мысли. Никто не просит вас в него влюбляться. Но мне кажется, вы могли бы попытаться понять его. Вы почти его сверстница и, когда не притворяетесь, производите впечатление здравомыслящей девушки. Сын рос вдали от женщин, а у вас уйма свободного времени. Вы ведь приехали на несколько недель? Так будьте же собой! Иначе, судя по вчерашнему инциденту, вы запутаетесь и сами испортите себе жизнь. Выбирайтесь из болота чужих мнений, не мучайтесь из-за того, чего не понимаете. Пытаясь понять Джорджа, вы начнете разбираться в самой себе. Это принесет пользу вам обоим.

На столь шокирующее предложение у нее не было ответа.

— Я знаю, что с ним происходит, — подвел итог мистер Эмерсон. — Только не понимаю, почему.

— И что же это? — испуганно спросила Люси.

— Все та же вечная история. Все идет кувырком.

— Что именно?

— Вселенная. Это правда, я не преувеличиваю. Мир катится по наклонной плоскости.

— О, мистер Эмерсон, что вы все-таки имеете в виду?

Вместо ответа он продекламировал:

В далекой дали, каждое мгновенье,
Рождается загадка бытия.
Случайный сгусток, ветра дуновенье —
И вот на свете появился я.

— Мы оба читали эти строки, но почему Джордж воспринимает их столь трагично? Мы знаем, что в мир нас случайно занес ветер и он же унесет навсегда, что жизнь — это клубок противоречий, отклонение, крохотное пятнышко, зазубринка на безупречно гладкой поверхности. Но с какой стати расстраиваться? Давайте любить друг друга, трудиться и радоваться жизни! Я против мировой скорби.

Мисс Ханичерч наклонила голову в знак согласия.

— Так повлияйте на моего сына. Помогите ему понять, что рядом с вечным «почему» существует «да» — пусть преходящее, но все-таки «да»!

Она вдруг засмеялась — кто-то же должен был засмеяться. Молодой человек впал в меланхолию, потому что Вселенная несовершенна...

— Мне очень жаль! — откликнулась она. — Вы сочтете меня бесчувственной, но... — в ней заговорила светская женщина. — Я думаю, вашему сыну нужно чем-нибудь увлечься. У него есть хобби? Знаете, у меня тоже бывают приступы беспричинной тоски, но я забываю о них, садясь за фортепьяно. А коллекционирование марок принесло неоценимую пользу моему брату. Если вашему сыну скучно в Италии, увезите его в Альпы, в Озерный край...

Старик с грустью коснулся ее руки. Она не обиделась, сочтя это жестом благодарности за добрый совет. И действительно, она больше не боялась его, так как прониклась убеждением, что он — глупый, но хороший. И снова ощутила прилив радости — как час назад, перед тем как мисс Лавиш убежала с ее «Бедекером». Джордж, спешащий навстречу им, перешагивая через надгробия, казался смешным и заслуживающим снисхождения. Он приблизился, лицо его оказалось в тени. И объявил:

— Мисс Бартлетт.

— Господи! — ужаснулась Люси. Жизнь опять повернулась на 180 градусов. — Где?

— В нефе.

— Ясно. Должно быть, это те маленькие сплетницы, сестры Алан...

Она прикусила язычок.

— Бедная девочка! — со вздохом произнес мистер Эмерсон. — Бедная девочка!

Ну, уж этого она не могла стерпеть — может быть, потому, что чувствовала то же самое.

— Бедная девочка? Не понимаю, какой смысл вы вкладываете в эти слова. Я совершенно счастлива и с пользой провела утро. Не тратьте, пожалуйста, время попусту, оплакивая мою жалкую участь. В мире достаточно невыдуманного горя, не правда ли, чтобы не высасывать из пальца. До свидания. О, я вижу, сюда идет моя кузина! Вы были очень любезны. Какое замечательное утро! Санта-Кроче — удивительный храм!

И она присоединилась к кузине.

Глава 3. Музыка, фиалки и неприличное слово

Обычно, если день проходил сумбурно, Люси возвращала себе ощущение прочности мира, садясь за фортепьяно. Играя, она переставала быть почтительной или надменной, бунтаркой или рабыней. Царство музыки совсем не походило на окружающий ее мир. Оно принимало тех, кого, из-за их дурного воспитания, недостатка интеллекта или культуры, отвергало общество. Даже самый заурядный человек, начав играть, легко, без усилий, взмывает вверх и парит в эмпиреях, а мы, оставшиеся на земле, дивимся: как же мы не замечали его раньше? Ведь мы могли бы восхищаться им и даже любить — если бы он научился передавать свое видение словами, а свой духовный опыт воплощать в поступки. Но вряд ли это получится — даже наверняка не получится, или будет получаться крайне редко... Люси, во всяком случае, это никогда не удавалось.

Она не была блестящей пианисткой, ее пассажи не рассыпались жемчугом, и в ее арсенале было ничуть не больше точных аккордов, чем у других исполнительниц ее возраста и социального положения. Ее игра не отличалась страстностью, под пальцами не рождались трагические звуки, чтобы потом, летним вечером, улететь в открытое окно. Конечно, там было чувство — что-то среднее между любовью, ненавистью и ревностью — и весь положенный набор красок. Она не чуждалась и трагизма, но при этом всегда сражалась на стороне Победы. Чего и над чем — это трудно объяснить в обычных терминах. Никто не осмелится отрицать, что иные сонаты Бетховена трагичны, но каждый исполнитель сам решает, должны ли они оставлять у слушателя чувство безысходности или триумфа. Люси предпочитала триумф.

Однажды после обеда пошел сильный дождь, и это позволило мисс Ханичерч заняться тем, что ей действительно нравилось. Она расчехлила маленькое пианино. Немногочисленные постояльцы из тех, что слоня-

лись поблизости, стали хвалить ее игру, но не дождавшись ее реакции, разбрелись по своим комнатам — кто вздремнуть, кто делать записи в дневниках. Оставшиеся все время что-то или кого-то искали: мистер Эмерсон — сына, мисс Лавиш — свой портсигар, а мисс Бартлетт — мисс Лавиш, Люси ни на кого не обращала внимания. Как всякий настоящий музыкант, она наслаждалась прикосновениями к клавишам. В ответ они, точно живые, ласкали ее пальцы, и это, а не одни только звуки, отвечало ее заветным желаниям.

Сидя тихонько у окна и стараясь не выдать своего присутствия, мистер Биб размышлял о противоречивости характера мисс Ханичерч. Впервые он подметил это в Тонбридж Уэллсе, на одном из благотворительных концертов, когда высшие развлекают низших. Зал был полон, публика — исполнена уважения. Дамы и господа из прихожан под руководством викария пели, читали стихи или смешили публику, имитируя звук пробки, вылетающей из бутылки с шампанским.

Одним из пунктов программы значилось: «Мисс Ханичерч. Фортепьяно. Бетховен». Мистер Биб попробовал угадать, что их ждет — «Аделаида» или марш «На руинах Афин», — и вдруг услышал первые такты Опуса III. Он напряженно прослушал вступление, зная, что вплоть до ускорения темпа невозможно судить о замысле пианиста. Когда загремела первая тема, он понял, что происходит нечто странное. В аккордах, предвещающих заключительную часть, он распознал удары победного гонга. Он был рад, что она сыграла только первую часть, потому что иначе мог не обратить внимания на сложные переливы тактов размера девять шестнадцатых. Публика почтительно захлопала в ладоши, и мистер Биб первый — это было самое меньшее, что он мог сделать.

— Кто эта девушка? — спросил он викария.

— Родственница одной из моих прихожанок. По-моему, выбор произведения был неудачным. Обычно Бетховен так прямо взывает к нашим чувствам, что сложная игра представляется неким извращением.

— Представьте меня.

— Она будет рада. Им обеим понравилась ваша проповедь.

— Проповедь? — удивился мистер Биб. — Чего ради она потащилась слушать мою проповедь?

Познакомившись с мисс Ханичерч, он понял, в чем дело. Встав с табурета, она стала обыкновенной девушкой с темными волосами и очень хорошеньким, бледным, еще не до конца сформировавшимся личиком. Ей нравилось ходить на концерты, она любила гостить у кузины, обожала кофе-гляссе и меренги. Естественно, ей понравилась и его проповедь. Но перед отъездом из Тонбридж Уэллса он сказал викарию то, что теперь повторил в пансионе Бертолини, когда она захлопнула крышку фортепьяно и с мечтательным выражением лица направилась к нему.

— Если ваша жизнь, мисс Ханичерч, когда-нибудь станет похожей на вашу игру, это будет весьма интересно и для нас, и для вас самой.

Люси тотчас спустилась с небес.

— Надо же, кто-то сказал то же самое моей маме, а она выразила надежду, что моя жизнь не превратится в дуэт.

— Миссис Ханичерч не любит музыку?

— Она ничего не имеет против музыки. Но не любит, когда люди слишком увлекаются чем бы то ни было. Мама считает, что я глупа и ничего не понимаю. Однажды я сказала, что собственная игра нравится мне больше, чем чья-либо еще. Это оказалось вне ее разумения. Конечно, я не хочу сказать, что моя игра гениальна. Я имела в виду...

— Конечно, — пробормотал он, удивляясь, зачем она оправдывается.

— Музыка… — начала она какую-то общую фразу и вдруг запнулась, засмотревшись в окно, на насквозь промокшую Италию. Юг утратил все свое очарование, а представители самого гармоничного народа в мире съежились и превратились в жалкие комочки. Улица и река стали грязновато-желтыми, мост — грязновато-серым, а горы — грязновато-лиловыми. Где-то там, в складках темноты, прятались мисс Бартлетт и мисс Лавиш, которые выбрали именно этот день для посещения Торре дель-Галло.

— Так что же музыка? — напомнил мистер Биб.

— Бедняжка Шарлотта промокнет до нитки, — проговорила Люси.

Как это похоже на мисс Бартлетт — вернуться продрогшей, усталой, голодной и кроткой аки ангел, в мятой юбке, с потрепанным «Бедекером» и першением в горле. В прошлый раз, когда все вокруг пело и воздух вливался в горло как вино, ее было не вытащить из гостиной — нет-нет, она — старая женщина и никудышная компания для молодой, здоровой девушки.

— Это мисс Лавиш сбила вашу кузину с толку. Должно быть, она ищет в проливном дожде настоящую Италию.

— Мисс Лавиш такая оригиналка, — пробормотала Люси. Это была примечательная ремарка, высшее достижение пансиона Бертолини в области определений. Мисс Лавиш — оригиналка.

У мистера Биба оставались сомнения, но их можно было отнести на счет узости мышления священника. По этой или по какой-либо иной причине он предпочел промолчать.

— Это правда, — с благоговейными нотками в голосе спросила Люси, — что мисс Лавиш пишет роман?

— Да, ходят такие слухи.

— О чем же?

— О современной Италии. Я бы посоветовал вам обратиться к мисс Кэтрин Алан, она скорее найдет подходящие слова.

— Пусть лучше мисс Лавиш сама мне расскажет. У нас неплохие отношения. Но все равно она не должна была отбирать у меня путеводитель, когда мы ходили в Санта-Кроче. Шарлотта ужасно рассердилась, встретив меня одну. Я тоже обиделась на мисс Лавиш.

— Ну, они-то уже помирились.

Эта скоропалительная дружба между столь разными женщинами, как мисс Бартлетт и мисс Лавиш, возбуждала его любопытство. Они стали неразлучны, а Люси — сбоку припека. Мистер Биб еще мог понять мисс Лавиш, но странное поведение мисс Бартлетт ставило его в тупик. Всю свою жизнь он изучал старых дев, они были его коньком, и профессия предоставляла ему неограниченные возможности для изучения.

Люси уже в третий раз сказала, что мисс Бартлетт промокнет до нитки. Уровень воды в Арно постепенно поднимался, стирая на дороге следы колес и угрожая наводнением. Но на юго-западе уже появилась желтоватая дымка, суля перемены к лучшему, — а может, и к худшему. Люси открыла окно, посмотреть, что там на улице, и в гостиную ворвался холодный воздух. Показавшаяся в дверях мисс Кэтрин Алан жалобно вскрикнула:

— Мисс Ханичерч, дорогая, вы простудитесь! И мистер Биб тоже. Ну кто мог ожидать от Италии такой погоды? Моя сестра не расстается с грелкой, но что толку?

Она скользнула в комнату и села, напряженная, как всегда, когда входила в комнату, где был один мужчина или одна женщина, или мужчина с женщиной.

— Мисс Ханичерч, я слышала, как вы играете, даже через запертую дверь. В этой стране приходится держать двери на запоре: итальянцам не свойственно уважение к личной жизни. И это передается от родителей к детям.

Люси произнесла что-то подходящее к случаю. Мистер Биб пожалел, что не может рассказать им о том, как в Модене горничная ворвалась в его номер как раз в тот момент, когда он принимал ванну, и как ни в чем не бывало прощебетала на своем языке: «Не обращайте внимания — я уже старуха». Пришлось ограничиться подтверждением: «Вы абсолютно правы, мисс Алан, итальянцы — исключительно бесцеремонный народ. Они всюду суют свой нос, все замечают и знают, что нам нужно, еще до того, как мы сами это поняли. Мы полностью зависим от них. Они читают наши мысли и предупреждают желания. Все они, от простого возницы до Джотто, выворачивают нас наизнанку — у меня это вызывает протест. Причем, в глубине души они уверены в своем превосходстве и не имеют ни малейшего понятия об интеллектуальной жизни. Правильно сказала на днях синьора Бертолини: «Оу, мистер Биб, как я страдаю за образование моих детей! Я не допущу, чтобы мою крошку Викторию учила какая-нибудь итальянская невежда!»

Мисс Алан не все поняла, но у нее возникло чувство, будто над ней изощренно издеваются. Ее сестра уже разочаровалась в мистере Бибе. От священника с лысым черепом и рыжеватыми бакенбардами она ждала большего. В самом деле, кто мог предположить, что сострадание и терпимость способны уживаться с солдафонским юмором?

Она отчаянно ерзала в своем кресле, и они поняли, почему, когда она извлекла из-под себя стальной портсигар с напылением из бирюзы в виде инициалов Э. Л.

— Собственность мисс Лавиш, — констатировал мистер Биб. — Она, конечно, свой парень, но я бы посоветовал ей курить трубку.

— О, мистер Биб, — сказала мисс Алан, разрываясь между благоговейным восторгом и желанием рассмеяться. — Это в самом деле ужасно, что женщина курит, но она виновата меньше, чем вы думаете. Она начала курить от отчаяния, когда труд всей ее жизни пошел насмарку. Это можно считать уважительной причиной, не правда ли?

— А что случилось? — полюбопытствовала Люси.

Мистер Биб благодушно откинулся на спинку стула и приготовился слушать.

— Она написала роман. Судя по некоторым признакам, не слишком удачный. Всегда грустно наблюдать, как человек с незаурядными способностями использует их не по назначению — что чаще всего и происходит... В общем, она оставила его, еще не совсем законченный, в Гроте с Распятием при отеле Капуцинов в Амальфи и пошла за чернилами: они как раз кончились. Но пока она пыталась достичь взаимопонимания со служащими — ну, вы же знаете итальянцев, — грот обвалился. И, что самое печальное, она так и не смогла вспомнить ни слова из того, что написала. Бедняжка долго болела, а потом пристрастилась к курению. Это секрет, но я рада сообщить вам, что она начала новый роман. Даже сказала Терезе и мисс Пол, что уже собрала так называемый местный колорит, — это будет роман о современной Италии, тогда как первый был историческим. Но она не может начать, пока ее не осенит некая идея. Она искала вдохновение в Перудже, потом приехала сюда, но и это не помогло. Однако она остается оптимисткой! Поистине, в каждом человеке есть что-нибудь достойное уважения!

Мисс Алан славилась своей доброжелательностью, иногда даже противоречащей здравому смыслу. Тот ненавязчивый пафос, с которым она рассказывала, придал немного сумбурному рассказу своеобразную красоту.

Но мисс Кэтрин почувствовала, что сделала слишком много оговорок, и поспешила извиниться за чрезмерную снисходительность.

— И все-таки ей недостает... не то чтобы женственности, но... взять хотя бы ее странное поведение в тот вечер, когда приехали Эмерсоны...

Мистер Биб усмехнулся, смекнув, что мисс Алан взялась рассказывать анекдот, который не сможет закончить в присутствии джентльмена.

— Не знаю, мисс Ханичерч, обратили ли вы внимание, что мисс Пол — дама с густыми рыжими волосами — в больших количествах потребляет лимонад. И вот мистер Эмерсон, с присущей ему прямотой...

У нее вдруг отвисла челюсть, и она умолкла. Мистер Биб поднялся и вышел — якобы затем, чтобы попросить чаю. Тогда мисс Алан зачастила:

— Живот. Мистер Эмерсон предупредил мисс Пол, чтобы она не увлекалась, а то живот заболит из-за повышенной кислотности. Признаюсь, даже я забыла о правилах поведения за столом и прыснула. Но дело в том, что мисс Лавиш не только услышала это неприличное слово, но и приняла его за другое: ей послышалось, будто речь идет о разъездных торговцах[1], и она вплоть до конца ужина доказывала Терезе и мисс Пол, что наша дорогая, великая Англия держится на торговле и ни на более.

Тереза рассердилась и вышла из-за стола, не дожидаясь, когда подадут сыр. При этом она сказала: «Вот, мисс Лавиш, кто объяснит вам вашу ошибку лучше меня!» — и указала на портрет лорда Теннисона. На что мисс Лавиш ответила: «Тю! Подумаешь, ранние викторианцы!» Представляете? Я сочла своим долгом поддержать сестру — и Англию. «Мисс Лавиш, я, как поздняя викторианка, никому не позволю неуважительно отзываться о нашей дорогой королеве». Я напомнила ей, как королева вопреки своему желанию поехала в Ирландию, и, надо сказать, она прикусила язычок. Но, к сожалению, мистер Эмерсон услышал мою реплику и во всеуслышание заявил: «Вот именно! Я уважаю эту женщину за этот поступок». «Женщину»! — представляете?.. Я плохо рассказываю, но можете себе представить, какая заварилась каша, и все потому, что он не к месту употребил слово «живот»!

Но это было еще не все. После обеда мисс Лавиш обратилась ко мне с весьма неуместным предложением: «Я иду в курилку, перекинуться парой слов с этими симпатичными джентльменами. Пойдемте со мной». Я, конечно, отказалась, а она имела наглость сказать, что это расширило бы мой кругозор. Дескать, у нее четыре брата, все они окончили университет, кроме одного, который служил в армии, и обожают поболтать с разъездными торговцами.

— Позвольте мне закончить эту историю, — сказал, входя в комнату, мистер Биб. — Мисс Лавиш сделала то же предложение мисс Пол, мне, всем присутствующим, и в конце концов отправилась одна. А минут через пять вернулась с доской, обтянутой зеленым сукном, и стала прилежно раскладывать пасьянс.

— Что же там произошло? — спросила Люси.

— Тайна, покрытая мраком. Этого мы, скорее всего, никогда не узнаем. У мисс Лавиш духу не хватит, а мистер Эмерсон определенно считает, что не о чем рассказывать.

— Скажите, мистер Биб: мистер Эмерсон... хороший человек или нет? Мне очень нужно знать.

Священник усмехнулся. Ему показалось, что она уже решила для себя этот вопрос.

— Ну, так прямо не скажешь. Иногда он ведет себя совершенно по-дурацки, и я перестаю его уважать... Мисс Алан, а вы как считаете?

---

[1] Tummy (*разг.*) — живот, считается неприличным словом за столом. Созвучно с commy (коммивояжер).

Миниатюрная старая дама вздохнула и неодобрительно покачала головой. Мистер Биб подбодрил ее словами:

— Мне кажется, мисс Алан, вы просто обязаны за него заступиться — после той истории с фиалками.

— Фиалками? Боже мой! Кто вам рассказал об этих несчастных фиалках? Этот пансион — настоящий рассадник сплетен!.. Не могу забыть, как он чуть не сорвал лекцию мистера Эгера в Санта-Кроче. Бедная мисс Ханичерч, ей можно только посочувствовать! Увы, мистер Биб, мое мнение об Эмерсонах изменилось в худшую сторону.

Священник вновь усмехнулся. Одно время он пытался примирить обитателей пансиона с выходками мистера Эмерсона и потерпел фиаско. Кажется, он единственный остался в приятельских отношениях с этим господином. Мисс Лавиш, представитель интеллектуальной элиты, не скрывала враждебности. А теперь еще и мисс Алан, олицетворение хорошего тона, перешла на ее сторону. Мисс Бартлетт страдала оттого, что в силу обстоятельств вынуждена была держаться в рамках приличий.

С Люси дело обстояло иначе. Она в общих чертах и временами туманных выражениях поведала ему о своих злоключениях в Санта-Кроче, и у него сложилось мнение, что эти двое предприняли странные и, возможно, согласованные действия, чтобы показать ей мир со своей колокольни, заинтересовать ее своими радостями и невзгодами. Какая дерзость с их стороны! Ему бы не хотелось, чтобы юная девушка разделяла их взгляды. Да он и плохо знал их, коли на то пошло. Знакомство в пансионе для отдыхающих — вещь ненадежная, а Люси как-никак стала его прихожанкой.

Кося одним глазом на улицу, Люси сказала, что они показались ей симпатичными, но их что-то давно не видно — даже их стулья унесли из столовой.

— Разве они всякий раз не звали вас с собой? — инквизиторским тоном спросила мисс Алан.

— Только однажды. Шарлотта была против и довела это до их сведения — разумеется, оставаясь в рамках вежливости.

— Правильно сделала! Они не нашего круга. Пусть ищут себе ровню.

Мистер Биб назвал бы это «уходом в себя» вследствие провала очередной попытки завоевать симпатии местного общества. А может, сделать им что-нибудь приятное? Например, организовать интересную экскурсию и позвать обоих Эмерсонов. При этом нужно будет хорошенько присматривать за Люси, но, конечно, попросить ее быть с ними полюбезней. Больше всего на свете мистер Биб любил дарить людям приятные воспоминания.

Солнце клонилось к закату. Воздух стал прозрачнее, деревья и холмы выглядели умытыми, а тяжелые воды Арно — не такими мутными, они даже начали поблескивать. Между облаками проглянули зеленовато-голубоватые клочки неба, а мокрый фасад Сан-Миниато ярко засверкал в наклонных солнечных лучах.

— Сегодня уже поздно отправляться на прогулку, — с облегчением произнесла мисс Алан. — Все галереи закрыты.

— А я бы прогулялась, — возразила Люси. — Мне хочется объехать вокруг города на трамвае, на площадке рядом с водителем.

У обоих ее собеседников сделались серьезные лица. Мистер Биб, чувствуя себя ответственным за нее в отсутствие мисс Бартлетт, рискнул высказаться:

— А что, пожалуй, это можно. К сожалению, я должен написать несколько писем. Но если вы хотите погулять одна, то лучше пешком.

— Итальянцы, знаете ли... — засомневалась мисс Алан.

— Может, я встречу кого-нибудь из знакомых, кто будет переводить мне надписи на вывесках.

Но они все еще сомневались. В конце концов ей все же удалось уговорить мистера Биба, пообещав, что она совершит короткую пешую прогулку и при этом будет держаться улиц, где много туристов.

— Вообще-то не надо бы ей выходить, — задумчиво проговорил мистер Биб, провожая ее взглядом. — Слишком много Бетховена…

Глава 4

Мистер Биб был совершенно прав. Никогда Люси так ясно не отдавала себе отчета в собственных желаниях, как после игры на фортепьяно. Она не оценила ни остроумия священника, ни намеков мисс Алан. От скуки ей требовалось средство посильнее — может быть, поездка на продуваемой ветром площадке трамвая с круговым маршрутом.

Правда, это считалось «не для леди». И почему только все самое интересное — «не для леди»? Шарлотта объяснила это так:

— Дело не в том, что мы выше или ниже мужчин, мы просто сильно отличаемся от них. Наша миссия заключается не в том, чтобы чего-нибудь добиваться самим, а в том, чтобы вдохновлять мужчин. Косвенным образом, благодаря такту и незапятнанной репутации, женщина может добиться многого. Но если она собьется с пути, ее осудят, начнут презирать, а потом и вовсе перестанут с ней считаться. Сколько поэм об этом написано!

Прекрасная дама средних веков оказалась бессмертной. Исчезли драконы, а вместе с ними и рыцари, но она по-прежнему находится среди нас. Приятно опекать ее на досуге, воздавать ей почести после вкусного обеда. Но, увы! Нежное создание начало деградировать. В сердце прекрасной дамы рождаются странные желания. Ее увлекают шквальные ветры, широкие просторы и колоссальные водные пространства. Она научилась ценить царство мира сего, его богатство, красоту — и даже войну, как средство защиты сверкающих вершин, устремленных ввысь, навстречу падающим небесам.

Мужчины, твердя, будто она их вдохновляет, радостно скользят по поверхности и развлекаются в обществе других мужчин, радуясь не тому, что сильны, а тому, что живы.

Но прежде чем опустится занавес, она хочет отбросить августейший титул Вечной Женственности и уйти в качестве простой смертной, в своем собственном преходящем облике.

Люси — не прекрасная дама средних веков, не абстрактный идеал, к которому ей предначертано стремиться. Но она и не борец. Время от времени ее начинает сильно раздражать какой-либо конкретный запрет, и она переходит границы, но потом раскаивается.

В тот день она была как-то особенно беспокойна. Ей хотелось совершить какой-нибудь поступок, который бы не одобрили ее доброжелатели. И, раз ей запретили круговую поездку на трамвае, она зашла в магазин «Алинари» и купила репродукцию картины Боттичелли «Рождение Венеры». Мисс Бартлетт как-то сказала, что, к сожалению, Венера только портит прекрасный пейзаж, и отговорила ее от покупки. (Сожаление относилось к обнаженной натуре.) Такая же судьба постигла «Бурю» Джорджоне, «Маленького идола», некоторые сикстинские фрески и «Апоксиомена» Лисиппа. Теперь же Люси чувствовала себя увереннее и приобрела «Коронацию» Фра Ангелико, «Вознесение святого Иоанна» Джотто, нескольких младенцев Делла Роббиа и мадонн Гвидо Рени. Ее вкусы не отличались от общепринятых, и она безоговорочно одобряла любое прославленное имя.

Но и после того, как она истратила целых семь лир, врата свободы все еще оставались закрытыми. Она отдавала себе отчет в каком-то смутном

недовольстве — уже одно это было ей в диковину. «Мир, — размышляла Люси, — полон восхитительных вещей, но мне они почему-то не попадаются». (Недаром миссис Ханичерч возражала против ее увлечения музыкой: после игры дочь становилась раздражительной, непрактичной и обидчивой.)

«Со мной никогда ничего не случается, — думала Люси, стоя на площади Синьории и равнодушно созерцая достопримечательности, о которых успела многое узнать. Вся огромная площадь была в тени: солнце слишком поздно вышло из-за туч. Нептун выглядел каким-то нереальным — полубог, полупризрак. А фонтан лениво брызгал на ноги людей и сатиров. Лоджия казалась тройным входом в пещеру, где обитало множество странных существ, плохо различимых, но бессмертных, бесстрастно, как за приливами и отливами, наблюдающих за приходами и уходами человечества. Это был час, когда самые нереальные вещи становятся реальными. В этот час старики задумываются о том, что, должно быть, достаточно пожили, пора и на покой. Люси хотела чего-то большего.

Она устремила печальный взор на дворцовую башню, которая поднялась из тьмы, как колонна из шершавого золота. Да это была уже как бы и не башня, прочно стоявшая на земле, а недоступное сокровище, сверкающее и пульсирующее в небе. Ее блеск заворожил Люси и еще долго плясал у нее перед глазами после того как она опустила их долу. Она собралась идти домой.

И вдруг что-то случилось.

Стоя возле Лоджии, два итальянца повздорили из-за денег. «Пять лир, — кричали они, — пять лир!» Вспыхнула драка, один получил сильнейший удар в грудь и начал клониться в сторону Люси, морщась и раскрыв рот, словно желая сказать ей что-то важное. Показалась кровь. Она вытекала у бедняги изо рта и капала вниз, на землю между ними.

Все было кончено. Откуда-то набежала толпа, оттеснила ее от этого человека и потащила его к фонтану. Почему-то рядом очутился мистер Джордж Эмерсон, он стоял в нескольких шагах от Люси, их разделял только клочок земли, где только что лежал раненый итальянец. Его лицо плавало в серой дымке, и дворец плавал в дымке, а потом тяжело качнулся и рухнул прямо на Люси, и вместе с ним рухнуло небо.

«О, что я наделала!» — мелькнуло у нее в голове.

«О, что я наделала…» — пробормотала Люси и открыла глаза.

Джордж Эмерсон по-прежнему смотрел на нее, но теперь их уже ничто не разделяло. Она пожаловалась, что у нее вдруг потемнело в глазах и ей померещилось, будто одного человека закололи ножом, а другой теперь держал ее в объятиях. Они сидели на ступенях галереи Уффици. Наверное, это Эмерсон перенес ее туда. Когда она заговорила, он встал и отряхнул колени. Она повторила:

— Что я такое наделала?

— Вы упали в обморок.

— Я... прошу прощения.

— Как вы себя чувствуете?

— Отлично. Замечательно. — Она изобразила улыбку.

— Тогда пойдемте домой. Не стоит здесь задерживаться.

Он протянул руку, чтобы помочь ей встать. Она сделала вид, будто не заметила. Возле фонтана по-прежнему голосили, не умолкая ни на минуту. Весь мир лишился красок и смысла.

— Вы очень добры. Кажется, я ушиблась при падении. Но сейчас уже все прошло. Я могу идти сама, благодарю вас.

Он все еще протягивал руку.

— О, мои репродукции! — вспомнила Люси.

— Какие репродукции?

— Которые я купила в «Алинари». И, должно быть, выронила на площади. — Она покосилась на Джорджа. — Может быть, вашей доброты хватит и на то, чтобы сходить за ними?

Конечно, хватит. Когда Эмерсон повернулся к ней спиной, Люси встала и с осторожностью преступника стала красться в сторону Арно.

— Мисс Ханичерч!

Она остановилась, держась за сердце.

— Посидите еще немного, вы не дойдете одна.

— Нет-нет, дойду. Большое спасибо.

— Не дойдете. Вон, вы не можете выпрямиться во весь рост.

— Нет, лучше я...

— Тогда я не пойду за вашими репродукциями.

— Мне лучше побыть одной.

Он властно произнес:

— Убили человека. По всей вероятности — убили. Сядьте и отдохните как следует. Не двигайтесь, пока я не вернусь.

Ошеломленная, на этот раз она послушалась.

В отдалении, как в страшном сне, мелькали люди в черных капюшонах. Дворцовая башня потускнела и вернулась на землю. Как ей держаться с мистером Эмерсоном, когда он вернется?

«Что я наделала!» — эта мысль неотступно сверлила ее мозг. У нее было такое чувство, словно она вслед за убитым переступила некую черту.

Молодой человек вернулся, и она заговорила с ним об убийстве. Это почему-то оказалось легко. Слова полились рекой, хотя еще совсем недавно при виде крови она потеряла сознание. Люси быстро справилась с шоком и, будучи физически крепкой, без посторонней помощи поднялась на ноги, чтобы, несмотря на дрожь во всем теле, двинуться к реке. Мимо проехала карета. Извозчик предложил ей свои услуги — она отказалась.

— Вы говорите, убийца поцеловал убитого, а потом сдался полиции? Странные эти итальянцы! Мистер Биб говорит, что они все на свете знают, а по мне, так сущие дети... Что вы делаете?

Он что-то бросил в мутный поток.

— Что вы туда бросили?

— Так, кое-что ненужное, — буркнул он.

— Мистер Эмерсон!

— Что?

— Где мои репродукции?

Он молчал.

— Мне показалось или это их вы бросили в реку?

— А что мне было делать! — выкрикнул он, как мальчишка, и впервые за все время их знакомства вызвал у нее теплое чувство. — Они были все в крови. Вот! Я рад, что сказал правду. Пока мы разговаривали, все думал, как же мне поступить. — Он махнул рукой в сторону Арно. — Все — их больше нет! Они меня ужасно раздражали. Наверное, это глупо. Я решил: пусть их унесет в море. Испугался, наверное. — Тут мальчик снова превратился в мужчину. — Дело в том, что случилось кое-что очень важное. Не только убийство.

Интуиция подсказала девушке: его нужно остановить!

— Случилось нечто важное, — повторил он. — И я должен разобраться, что именно.

— Мистер Эмерсон...

Он повернулся к ней с хмурым видом, как будто она помешала ему в поисках истины.

— Мне бы хотелось кое о чем попросить вас, прежде чем двигаться дальше.

До пансиона было уже рукой подать. Люси облокотилась на парапет набережной. Он сделал то же самое. В этом сходстве поз крылся намек на взаимопонимание. Она убрала руки и сказала:

— Я вела себя как последняя идиотка.

Он думал о чем-то своем.

— Мне никогда в жизни не было так стыдно. Не представляю, что на меня нашло.

— Я сам чуть не грохнулся в обморок, — сказал он, но она поняла, что ему неприятен такой подход.

— Я должна тысячу раз извиниться перед вами.

— О, не беспокойтесь, пожалуйста.

— Да, но... Главное дело в том, что... вы же знаете, как недалекие люди, особенно женщины, любят сплетничать... Вы понимаете, что я имею в виду?

— Боюсь, что не понимаю.

— Вы никому не расскажете о моей оплошности?

— Вашей оплошности? Нет, конечно.

— Большое спасибо. И... не могли бы вы...

Ей было трудно продолжать. Внизу катились потемневшие в наступающих сумерках воды Арно. Он выбросил репродукции и честно объяснил свой поступок. Нельзя требовать от него еще и рыцарского благородства. Он не причинит ей вреда досужими сплетнями, он надежен, умен, добр и, кажется, уважает ее. Но ему несвойственен рыцарский дух, его мысли и поступки лишены благоговейного трепета. Такому скажешь: «Не могли бы вы?..» — и не надейся, что он сам мысленно закончит фразу, тщательно отводя глаза от ее наготы, как рыцарь на известной картине. Он держал ее в объятиях и не забудет этого, так же как кровь на репродукциях, купленных ею в магазине «Алинари». Случилось не только то, что один человек убил другого, — в судьбах живых тоже произошли необратимые перемены. Бывают моменты, когда характер человека становится виден как на ладони. Так кончается Детство и начинается Молодость.

— Большое спасибо, — повторила Люси. — В жизни всякое случается. Откуда ни возьмись налетит вдруг ураган, а потом человек возвращается к привычному распорядку.

— Только не я.

Тревога подтолкнула ее спросить, что он имеет в виду. Ответ привел ее в замешательство.

— Кажется, мне теперь есть для чего жить.

— Как это?

— Ну, я же сказал: мне теперь есть для чего жить.

Она снова облокотилась на парапет и уставила задумчивый взор на реку. В рокоте волн ей вдруг послышалась незнакомая мелодия...

Глава 5. Возможности хорошей прогулки

В семье говорили: у Шарлотты Бартлетт семь пятниц на неделе. На этот раз она на удивление спокойно отнеслась к приключению Люси, найдя ее отчет удовлетворительным и воздав должное любезности мистера Джорджа Эмерсона. У них с мисс Лавиш было свое приключение. На обратном пути, спасаясь от дождя, они заглянули в «Дацио», и там молодые нахальные служащие обыскали их сумки. Это было ужасно. К счастью, мисс Лавиш с кем угодно справится.

Хорошо ли это, плохо ли — Люси пришлось решать свою проблему самостоятельно. Никто из знакомых не видел ее на площади или позднее — на набережной. Правда, мистер Биб за обедом заметил ее испуганные глаза, но прибегнул к прежнему объяснению: «Слишком много Бетховена». Он чувствовал, что Люси созрела для приключений, но не знал, что она уже пережила одно. Одиночество угнетало молодую девушку, а тяжелее всего было не знать, правильно ли она оценивает ситуацию.

На следующее утро за завтраком она совершила решительный поступок. Ей пришлось выбирать между двумя планами. Мистер Биб собрался на экскурсию в Торре дель-Галло вместе с Эмерсонами и несколькими пожилыми американками. Не хотят ли мисс Бартлетт и мисс Ханичерч к ним присоединиться? Шарлотта отказалась: она уже побывала там накануне, когда шел дождь. Но она сочла предложение мистера Биба подходящим для Люси, которая терпеть не могла ходить по магазинам, писать письма, обменивать деньги и заниматься другими подобными вещами, с которыми мисс Бартлетт было нетрудно справиться самой.

— Нет, Шарлотта! — с искренней благодарностью воскликнула Люси. — Это очень любезно со стороны мистера Биба, но я лучше пойду с тобой.

— Хорошо, дорогая, — обрадовалась мисс Бартлетт, и Люси стало стыдно. Как же гадко она до сих пор вела себя по отношению к Шарлотте! Но теперь все будет иначе!

Она взяла кузину под руку, и они тронулись в путь, вдоль по набережной. Мощью, громоподобным ревом волн и желтизной Арно в этот день напоминала льва. Мисс Бартлетт предложила постоять у парапета и полюбоваться рекой. За этим последовала вечная ремарка:

— Какая жалость, что твоя мама и Фредди этого не видят!

Люси беспокойно переминалась с ноги на ногу: надо же было Шарлотте остановиться именно в этом месте!

— Смотри, Люсия! Там наша группа, направляющаяся в Торре дель-Галло! Ты, наверное, уже жалеешь о своем выборе.

Люси и не думала жалеть. Вчерашний день обрушил на нее великое множество проблем, так что Шарлотта с ее магазинами в этот день казалась ей предпочтительнее Торре дель-Галло и Джорджа Эмерсона. Если ей не дано справиться с передрягами, она хотя бы постарается в них не попадать. И она со всей искренностью отвергла инсинуации мисс Бартлетт.

Ей удалось уклониться от встречи с главным героем, но, к сожалению, осталось место действия. Шарлотта с неумолимостью судьбы влекла ее на площадь Синьории. Люси не могла себе представить, что камень, лоджия, фонтан, дворцовая башня возымеют над ней такую власть. И чуть было не поверила в привидения.

Там, где накануне произошло убийство, на том же самом месте, стояла мисс Лавиш с утренней газетой в руке. Она коротко поздоровалась. Вчерашняя катастрофа подарила ей идею, которую она непременно использует в романе.

— О, позвольте вас поздравить! — сказала мисс Бартлетт. — После вчерашнего отчаяния — такой подарок судьбы!

— Точно! Мисс Ханичерч, идите-ка сюда! Какая удача! Вы должны рассказать мне все, что видели своими глазами, — от начала до конца.

Люси стала чертить зонтиком по земле.

— Или вам не хочется?

— Извините... Если без этого можно обойтись...

Старшие дамы понимающе переглянулись. Молодым девушкам полагается быть чувствительными.

— Это вы меня извините. Мы, литературные клячи, не знаем ни стыда ни совести. Нет ни одного потаенного уголка души, в который мы бы не сунули свой длинный нос.

Она бодро протопала до фонтана и обратно, считая шаги. Картина должна выглядеть абсолютно реалистичной. Правда жизни — превыше всего! Недаром она торчит на площади с восьми утра, собирая материал. Ее далеко не все устраивает, но всегда можно найти выход. Двое мужчин дерутся из-за пяти лир? Вместо лир в романе будет молодая девушка, благодаря чему история приобретет драматический оттенок.

— Как вы назовете героиню? — полюбопытствовала мисс Бартлетт.

— Леонора, — ответила Элинор Лавиш.

— Надеюсь, она будет хорошенькая?

— Ну как же без такой важной детали!

— А сюжет?

— Любовь, убийство, похищение, месть... — прозвучало под плеск фонтана с сатирами.

— Надеюсь, вы простили мне мое занудство, — сказала мисс Лавиш в заключение. — Так трудно удержаться от соблазна — поболтать с истинно симпатичными людьми. Конечно, это всего лишь сюжет. Читателя ждет масса деталей, создающих местный колорит, подробное описание Флоренции и окрестностей, и кроме того я введу в действие нескольких комических персонажей. Позвольте честно предупредить: я буду беспощадна по отношению к британским туристам.

— Ах вы, злюка! — засмеялась мисс Бартлетт. — Намекаете на Эмерсонов?

Мисс Лавиш позволила себе макиавеллиевскую улыбку.

— Не стану скрывать: в Италии мои симпатии — не на стороне моих соотечественников. Меня привлекают бедные, обездоленные итальянцы. Для описания их жизни я не пожалею никаких красок! Ибо я повторяла и буду повторять: вчерашняя трагедия ничуть не менее страшна оттого, что произошла в убогой обстановке.

После подобающей паузы слушатели пожелали мисс Лавиш успеха в ее благородном труде и побрели через площадь.

— Мисс Лавиш для меня — образец истинно умной женщины, — сказала мисс Бартлетт. — Последняя фраза поразила меня своей правдивостью. Это будет в высшей степени трогательная книга!

Люси выразила согласие. На самом деле она думала только о том: как бы самой не вляпаться. Обострившееся чутье подсказало ей, что мисс Лавиш пробует ее на роль инженю.

— Она эмансипирована в лучшем смысле этого слова, — продолжала мисс Бартлетт. — Только злостные консерваторы могут жаловаться, что она их шокирует. Вчера мы с ней имели долгий, очень серьезный разговор. Она верит в торжество справедливости и в то, что писатель должен писать для людей. Она также поделилась со мной своей верой в высокое предназначение женщины... О, мистер Эгер! Какая приятная неожиданность!

— Только не для меня. Я уже давно наблюдаю за вами и мисс Ханичерч.

— Мы тут побеседовали с мисс Лавиш…

Он насупился.

— Да, я видел... Отстань от меня, я занят! — эти слова, произнесенные на итальянском языке, предназначались для уличного продавца панорамных снимков с видами Флоренции и окрестностей. — Позволю себе предложить вам обеим на этой неделе прокатиться в горы. Поднимемся до Фьезоле, а на обратном пути спустимся к Сеттиньяно. Там есть одно место, где можно выйти из экипажа и погулять часок. Оттуда открывается неописуемый вид на Флоренцию, не такой привычный, как из Фьезоле. Фрагменты этого вида Алессио Бальдовинетти неоднократно использовал в своих картинах. Он очень тонко чувствует пейзаж. Но кому сейчас это нужно? В мире становится неуютно таким как мы.

Мисс Бартлетт понятия не имела, кто такой Алессио Бальдовинетти, зато знала, что мистер Эгер — не простой капеллан. Он принадлежал к колонии иностранцев, избравших Флоренцию местом своего проживания, и водил знакомство с людьми, которые никогда не бродили по окрестностям с путеводителем в руках, а после обеда привыкли справлять сиесту. Он возил их такими маршрутами, о которых туристы из пансиона Бертолини слыхом не слыхали, и, пользуясь своим влиянием, водил в частные галереи, недоступные для простых смертных. Живя в приятном уединении, кто в меблированных комнатах, кто на виллах эпохи Возрождения, построенных на склоне горы Фьезоле, эти люди читали, писали, предавались ученым занятиям и обменивались мнениями, благодаря чему достигли углубленного знания и понимания Флоренции, в чем отказано приезжим с купонами туристического агентства Кука.

Поэтому предложением капеллана можно было только гордиться. Он служил связующим звеном между двумя группами, составляющими его паству. Все знали о его манере выбрать из своего разношерстного стада наиболее достойных и дать им возможность несколько часов попастись в райских кущах, предназначенных для избранных. Чаепитие на вилле эпохи Ренессанса! Речи об этом еще не заходило, но мисс Бартлетт сказала себе: то-то Люси обрадуется!

Несколько дней назад Люси отнеслась бы к этому предложению точно так же, как кузина. Но в последнее время в ее жизни произошла переоценка ценностей, и многие вещи на шкале удовольствий поменялись местами. Поездка в горы в обществе мисс Бартлетт и мистера Эгера, даже с чаепитием на вилле, больше не относилась к самым большим радостям. Так что ее восторги прозвучали как слабое эхо Шарлоттиных. Даже то, что приглашен и мистер Биб, не вызвало у нее горячих изъявлений благодарности.

— Итак, едем вчетвером, — подытожил капеллан. — В наши дни тяжких трудов и суеты человек особенно нуждается в чистоте и прелести, которые встречаются только на лоне природы. Мы все спешим: скорей, скорей, скорей!.. Ах, город! Он прекрасен, но он всего лишь город!

Дамы выразили согласие.

— Вот эта самая площадь, как мне рассказали, вчера стала местом действия одной из самых мрачных трагедий. Для того, кто любит Италию Данте и Савонаролы, в этом кощунственном акте проявилось нечто зловещее. Зловещее и унизительное.

— Вот именно — унизительное, — поддакнула мисс Бартлетт. — Мисс Ханичерч как раз проходила мимо, когда это произошло. Ей трудно говорить об этом. — И она с гордостью посмотрела на свою подопечную.

— Как же мы допустили, что вам пришлось подвергнуться такому испытанию? — отеческим тоном произнес капеллан.

Недавний либерализм мисс Бартлетт исчез, как и не бывало.

— О, мистер Эгер, не ругайте ее, пожалуйста. Это целиком и полностью моя вина: я оставила ее без присмотра.

— Так вы были одни, мисс Ханичерч? — с мягким упреком спросил он, одновременно давая понять, что желал бы услышать подробности. И даже приблизил к ней свое смуглое, красивое лицо.

— В общем, да.

— К счастью, кое-кто из наших знакомых по пансиону любезно проводил ее домой, — сказала мисс Бартлетт, искусно маскируя пол знакомого.

— Смею выразить надежду, что ни одна из вас не находилась в непосредственной близости к месту происшествия.

Среди множества наблюдений, сделанных Люси в этот день, было то, с какой омерзительной жадностью праведники набрасываются на пролитую кровь. Отношение мистера Джорджа Эмерсона было не в пример чище.

— Это произошло у фонтана.

— А вы и кто-то из ваших знакомых...

— Мы стояли около лоджии.

— Это избавило вас от многих неприятностей! Вы не можете себе представить, какими дикарями становятся в таких случаях представители бульварной прессы... Вот негодяй! — это снова относилось к продавцу фотографий с видами. — Знает ведь, что я здесь на постоянном жительстве, и все-таки лезет со своими пошлыми картинками.

Между продавцом панорамных снимков и Люси возникла неуловимая связь — знак нерушимого союза Италии с молодостью. Он вдруг развернул всю ленту так, что она соединила их руки и замелькала церквями, произведениями изобразительного искусства и видами Италии.

— Ну, это уж слишком! — вскричал капеллан, с силой ударяя по одному из ангелов Фра Ангелико. Лента порвалась. Раздался громкий, пронзительный вопль продавца: как оказалось, она была самой дорогой.

— Я бы с удовольствием купила... — начала мисс Бартлетт.

— Не обращайте внимания, — резко прервал ее мистер Эгер, и они быстро пошли прочь.

Но от итальянца не так-то просто отвязаться, особенно если он в гневе. С необъяснимым упорством он преследовал своего врага. Воздух сотрясался от угроз и жалоб. Торговец взывал к Люси — неужели она за него не вступится? Ему нужно кормить большую семью, а налоги очень высоки. Он оглашал окрестности воем, нечленораздельными выкриками и, даже получив компенсацию, не оставлял их в покое, пока не довел до полного одурения.

Теперь на повестке дня значились покупки. Под охраной капеллана Люси и мисс Бартлетт накупили массу безвкусных сувениров. Тут были всевозможные рамки для фотографий — резные, с позолотой, или не столь вычурные, с подставкой из дуба, наборы плотной писчей бумаги, книжечки Данте, дешевые брошки, якобы из сусального золота, — на Рождество горничные не отличат их от настоящих, заколки, горшочки, декоративные блюдца с геральдикой, фотографии в сепии, алебастровые статуэтки Амура, Психеи и Святого Петра — в общем, все то, что в Лондоне обошлось бы гораздо дешевле.

Удачно проведенное утро, тем не менее, оставило в памяти Люси неприятный осадок. Она была напугана мисс Лавиш и мистером Эгером — и, как ни странно, перестала их уважать. Она усомнилась в литературных способностях мисс Лавиш, а мистер Эгер оказался вовсе не тем олицетворением духовности и культуры, каким его считали. Сами того не зная, они подверглись испытанию, и результаты оказались не блестящими. Что же касается Шарлотты...

Что касается Шарлотты, то она осталась такой же, как была. К ней попрежнему можно было хорошо относиться — но о любви к ней не могло быть и речи.

Разговор перекинулся на Эмерсонов.

— Он сын рабочего, мне доподлинно известно. Сам тоже в молодости работал механиком, потом стал журналистом, печатал статьи в социалистической прессе. Мы познакомились в Брикстоне.

— Как быстро в наши дни делают карьеру, — сказала мисс Бартлетт, проводя пальцем по наклонной стене миниатюрной Пизанской башни.

— Как правило, — подхватил мистер Эгер, — эти выскочки вызывают жалость. В стремлении к образованию и общественному признанию есть что-то порочное. Здесь, во Флоренции, встречаются простые рабочие, достойные всяческого уважения и не поднимающие шума вокруг собственной персоны.

— Так он и теперь журналист? — спросила мисс Бартлетт.

— Нет. Дело в том, что он выгодно женился.

Мистер Эгер произнес эту фразу с подтекстом и сопроводил глубоким вздохом.

— Ах, так у него есть жена?

— Покойная, мисс Бартлетт, покойная! Я поражаюсь — вот именно поражаюсь, — как ему не совестно бравировать нашим так называемым знакомством. Когда-то, много лет назад, он был в моем приходе. Позавчера в Санта-Кроче я поставил его на место. Пусть побережется: уж я выведу его на чистую воду!

— Что-что? — покраснев, спросила Люси.

— Преступление, вот что, — прошипел мистер Эгер.

Он предполагал сменить тему, но полная драматизма история достигла кульминации, и интерес аудитории оказался выше того, на который он рассчитывал. Мисс Бартлетт распирало естественное любопытство, а Люси, хоть и предпочла бы никогда в жизни не встречаться с Эмерсонами, не собиралась выносить приговор по первому слову доносчика.

— Вы хотите сказать, что мистер Эмерсон неверующий? Это мы уже знаем.

— Люси, дорогая, — с мягким упреком произнесла мисс Бартлетт.

— Я был бы крайне удивлен, если б оказалось, что вы знаете ВСЕ. Я, конечно, исключаю сына: в то время он был маленьким. Впрочем, одному Богу известно, как на него повлияли подобное воспитание и наследственность.

— Может быть, — произнесла мисс Бартлетт, — это не для наших ушей?

— Откровенно говоря, да, — ответил мистер Эгер. — Больше я не скажу ни слова.

Впервые в жизни внутренний протест в душе Люси нашел выражение в словах.

— Но вы сказали очень мало.

— Это входило в мои намерения, — жестко ответил капеллан.

Он гневно посмотрел на молодую девушку, она ответила тем же. Грудь ее вздымалась от волнения, брови приподнялись, а губы сложились в жесткую линию. Ему было невыносимо думать, что она ему не верит.

— Этот человек, — выпалил он, — убил свою жену.

— Как?!

— Практически он убил ее. Там, в Санта-Кроче — он что-нибудь говорил против меня?

— Ни единого слова, мистер Эгер. Ни единого слова.

— Странно. Я был уверен, что они не преминут воспользоваться случаем меня очернить. Но, конечно, только личное обаяние этих людей побуждает вас заступаться за них.

— Я не заступаюсь, — пробормотала Люси, теряя мужество и возвращаясь к прежнему хаосу в мыслях. — Они мне никто.

— Как вы могли подумать, будто она их оправдывает? — упрекнула священника мисс Бартлетт, сильно огорченная этой сценой. Продавец наверняка все слышал.

— Это было бы трудно, — ответствовал капеллан. — Потому что этот человек убил свою жену перед лицом Господа.

Упоминание о Боге произвело сильное впечатление. Но капеллан понимал, что подобное обвинение нуждается в доказательствах. Все смолкли. Пауза могла стать впечатляющей, но вместо этого оказалась неловкой.

Мисс Бартлетт расплатилась за Пизанскую башню и направилась к двери.

— Мне пора, — сказал священник, взглянув на карманные часы.

Мисс Бартлетт поблагодарила его за доброту и с энтузиазмом заговорила о предстоящей поездке.

Люси вспомнила о хороших манерах.

— Так, значит, она состоится?

И к мистеру Эгеру вернулось прежнее благодушие.

— Чтоб она провалилась, эта поездка! — воскликнула Люси, когда он ушел. — Это ведь та самая, на которую нас пригласил мистер Биб, — причем, без всякого ажиотажа? Почему он сделал свое предложение в такой нелепой манере? С тем же успехом мы могли бы сами его пригласить.

Мисс Бартлетт с удовольствием продолжила бы злословить по адресу Эмерсонов, но эти слова навели ее на неожиданную мысль.

— Если мистер Биб и мистер Эгер имеют в виду одну и ту же поездку, нас ожидает большая путаница.

— Почему?

— Потому что мистер Биб позвал еще и мисс Лавиш.

— Значит, нужна еще одна карета.

— Хуже того — мистер Эгер терпеть не может Элинор, и она это знает. Откровенно говоря, она слишком вольно себя ведет.

К этому времени они уже добрались до читальной комнаты Английского банка. Люси остановилась возле журнального столика в центре комнаты и, не обращая внимания на стопку комиксов и гравюр, пыталась если не ответить, то хотя бы сформулировать вопросы, от которых у нее пухла голова. Привычный мир раскололся, и на авансцену вышла Флоренция, волшебный город, где люди говорили и делали очень странные вещи. Убийство, обвинение в убийстве — это что, рядовые явления, изо дня в день происходящие на флорентийских улицах? Может быть, этот город обладает способностью пробуждать сильные чувства — добрые или злые — и добиваться их стремительного воплощения в поступки?

Счастливая Шарлотта — тревожится по пустякам и не замечает действительно важных вещей! С достойной восхищения проницательностью угадывает, «к чему это может привести», но, как правило, теряет цель из виду в самый момент ее достижения. В данный момент она сидит, сгорбившись, в уголке, пытаясь незаметно вытащить аккредитив из сложенного кошельком кусочка льняной материи, стыдливо спрятанного за пазухой. Ей сказали, что в Италии это самое надежное место для хранения денег. Разворачивать лоскут рекомендовалось только в стенах Английского банка.

Продолжая шарить за пазухой, мисс Бартлетт пробормотала:

— Неважно, забыл ли мистер Биб предупредить мистера Эгера, или наоборот, они договорились между собой не брать с собой Элинор Лавиш, — мы должны быть готовы ко всему. В сущности, их интересуешь ты, я нужна только ради соблюдения приличий. Поезжай с джентльменами, а мы с Элинор — сзади, в коляске, запряженной одной лошадью. Ах, как это все сложно!

— Да уж, — мрачно подтвердила Люси.

— Но все-таки, что ты обо всем этом думаешь? — спросила мисс Бартлетт, застегивая пуговицы на платье.

— Сама не знаю, что я думаю и чего хочу.

— Люси, дорогая! Надеюсь, Флоренция тебе еще не надоела? Скажи только слово — и я завтра же увезу тебя в любой уголок мира.

Люси поблагодарила и задумалась над предложением.

Ей передали письма из дому. Одно от брата, сплошь о спорте и биологии. Другое — как всегда очаровательное — от матери. Из него Люси узнала о крокусах, которые ей продали как желтые, а они оказались

красно-коричневыми, о новой горничной, полившей кактусы лимонадом, и о двух смежных виллах, которые своим видом портят Саммер Стрит и разрывают сердце сэра Гарри Отвея.

Она вспомнила легкую и приятную жизнь дома, где ей разрешалось делать все что заблагорассудится и где никогда ничего не случалось. Дорогу, уходящую вверх по склону, в сосновый лес... Их светлую, праздничную гостиную... Вид на Сассекс Уилд... Все это представилось четко и трогательно, как картины в галерее, куда путешественник возвращается, обогащенный новым опытом.

— Что там новенького? — полюбопытствовала мисс Бартлетт.

— Миссис Вайз с сыном подались в Рим, — сообщила Люси самое неинтересное. — Ты знакома с Вайзами?

— Э... слушай, Люси, давай пойдем обратно тем же путем. Площадью Синьории любуешься — и не можешь налюбоваться!

— ...Они очень приятные люди. И очень умные — в моем понимании... Тебе не хочется в Рим?

— До смерти хочется!

Площадь Синьории слишком камениста, чтобы радовать глаз. На ней нет ни травинки, ни цветка, ни фрески, ни сверкающих мраморных стен, ни утешительного красноватого отблеска. По случайному стечению разных факторов — если только не верить в существование духа местности, — статуи, которые должны были бы смягчить ее суровый вид, вызывают ощущение не детского простодушия и не кипучей молодости, а зрелости и завершенности. Персей и Юдифь, Геракл и Туснельда — все они много страдали и многого достигли. Бессмертие досталось им ценой нелегкого опыта. Здесь, а не только на лоне природы, герой может встретить богиню, а героиня — бога.

— Шарлотта! — воскликнула Люси. — У меня идея! Что, если мы с тобой завтра махнем в Рим — прямо в отель, к Вайзам? Кажется, я наконец-то знаю, чего хочу. Хватит с меня Флоренции! Ты же сказала, что готова ради меня отправиться на конец света. Давай, а? Ну пожалуйста!

— Ах ты, проказница! А как же наша завтрашняя поездка в горы?

И все время, пока они вместе пересекали величественную площадь, Люси и мисс Бартлетт потешались над своим несбыточным проектом.

Перевод с английского Валерии Ноздриной.

Окончание следует.

Рассвет в траншеях

В дни очередного праздника Победы над немецко-фашистскими захватчиками и приближающимся 70-летием со дня начала Великой Отечественной войны читателям, наверное, будет небезынтересно прочесть стихи великих английских поэтов, участвовавших в битвах Первой мировой. Ведь все войны, собственно, одинаковы. Потому что, как сказал поэт Зигфрид Сассун, их «солдаты — просто граждане страны смертей».

11 ноября 1985 года, в Уголке поэтов Вестминстерского аббатства торжественно открыта мемориальная плита в честь английских поэтов-фронтовиков. На ней шестнадцать имен — Ричард Олдингтон, Лоренс Биньон, Эдмунд Бланден, Руперт Брук, Уилфред Гибсон, Роберт Грейвз, Джулиан Гренфелл, Айвор Герни, Дэвид Джонс, Роберт Николс, Уилфред Оуэн, Герберт Рид, Исаак Розенберг, Зигфрид Сассун, Чарльз Сорли, Эдвард Томас.

В торжественной церемонии открытия участвовал Роберт Грейвз, восьмидесятидевятилетний, уже совсем больной, на тот момент последний из живых. Через месяц скончался и он, после чего мемориал в Уголке поэтов стал по-настоящему «историей».

Но это — особенная история. Во всем англоговорящем мире она отнюдь не жалкое «достоянье доцента», и роль ее вовсе не в том, чтобы «критиков новых плодить» и умножать сухие листы ученых диссертаций. Эта история — *живая*.

За шестнадцатью именами стоят по-разному сложившиеся судьбы, но объединяет их одно — мощный поэтический дар, что пробудился, развился и окреп почти сто лет назад где-то там, на Западном фронте, в гнилых траншеях и сырых блиндажах, под минометным огнем, в ядовитом дыму газовых атак.

Шестеро из шестнадцати поэтов — Брук, Гренфелл, Оуэн, Розенберг, Сорли и Томас — погибли. Двое из них — Брук и Оуэн — считаются сегодня самыми талантливыми поэтами поколения, прошедшего через «Великую войну». Отнюдь не случайно поэтому на плите в Уголке поэтов высечены знаменитые строки Уилфреда Оуэна: «Я пишу о войне, о горечи войны. В ней моя Поэзия».

Десять из шестнадцати — это те, кто выжили в боях и впоследствии стали в разной степени знамениты. В нашем отечестве более других известен, наверное, Ричард Олдингтон. Как поэт, он, пожалуй, уступает многим, но все, что он хотел сказать о войне, *против* войны, против *всех* и всяческих войн, сказано в его знаменитом антивоенном романе «Смерть героя».

Русскоязычный читатель поэзии наверняка знаком также с творчеством Оуэна, Брука, Грейвза и Сассуна. Последний, кстати, знаменит не только стихами о войне. Сассун первым из поэтов пошел на фронт добровольцем (уже 3 августа 1914 года!), а когда ура-патриотический туман рассеялся, стал одним из немногих, кто открыто выступил против бессмысленного затягивания мировой бойни. Сассуна даже упрятали в военный госпиталь за опубликованную в газете антивоенную декларацию — и оказалось, что это был жест судьбы. Ведь именно там Сассун встретил младшего по возрасту Оуэна, похвалил его стихи, что вызвало у того творческий подъем, и в следующие несколько месяцев он написал свои лучшие строки…

Словом, судьбы и произведения всех шестнадцати поэтов причудливым образом переплетены. А многие из стихотворений, помещенных в публикуемой подборке, имеют статус подлинных литературных реликвий.

Полный антивоенного пафоса манифест Оуэна — *Dulce et Decorum Est*, первоначально лишь наскоро набросанный отрывок из дружеского письма с фронта, стал с годами едва ли не самым цитируемым поэтическим текстом.

А сонет Руперта Брука? К нему переводчику приблизиться можно только во всеоружии опыта: шутка ли, черновик стиха хранится под стеклом в Британском музее между рукописью Диккенса и записной книжкой капитана Скотта.

А стихотворение Чарльза Сорли? Этот наскоро написанный, не до конца отшлифованный текст найден в планшете погибшего 20-летнего офицера. По словам современников, Сорли был одним из самых одаренных — и его «Когда в твой сон» — поэтическое завещание…

Часть сочинений английских поэтов Первой мировой войны не раз переводились на русский язык, причем, в числе тех, кто переводил, — имена истинно великие: так, сонет Руперта Брука переложил сам Владимир Набоков! Поэтому наша переводческая задача, по определению, скромна. И состоит она в следующем.

Давайте просто вспомним, читатель, что есть в Уголке поэтов Вестминстерского аббатства мемориальная плита и высечены на ней шестнадцать имен.

Пройдет еще четверть века, и еще, и сто лет пройдет, и больше, — а солнце славы тех молодых поэтов-воинов останется незакатным.

И новые читатели обязательно будут помнить тех, кто так ясно и так давно сказал простые слова которые миру еще только предстояло понять: война — это преступление против того, что от века зовется человечностью и культурой.

Уилфред ОУЭН *(1893—1918)*

Dulce et decorum est

Согнувшись в три погибели, ни дать ни взять нищие,
Через силу ногами разбитыми месим грязь.
Напрасно ракеты сигнальные за спинами рыщут,
В тыл уходим, заходясь хриплым кашлем и матерясь.
На ходу засыпаем; ни ран не чуем, ни ссадин;
Полуслепые, оглохшие — и полроты давно без сапог.
Мы смерть как устали. Но неожиданно где-то сзади
Сначала зловеще-знакомый вой, а потом хлопок.

«Газы! Газы!!!» — скрюченными пальцами
Судорожно сумки противогазные рвем.
А один завозился — и вот уже корчится, наземь валится,
Будто известью обожженный или огнем.
Сквозь мутные стекла вижу, как бы в морской глубине,
В ядовито-зеленом тумане он беспомощно тонет.

Еженощно я снова и снова вижу все это во сне:
Он дергается, задыхается, и тонет, тонет, тонет…

Друг, если тебя этот душный кошмар посетит
И фургон привидится, куда мы впихнули тело,
И глаза его, побелевшие, вывороченные из орбит —
Не лицо, а маска дьявола, сделавшего злое дело;
Если услышишь фургона скрип и как на каждый рывок
Сожженные легкие отвечали болотным хлюпом;
И увидишь, как застывал холодный плевок,
Последняя издевка смерти над костенеющим трупом, —
Тогда, мой друг, ты точно не станешь твердить про честь,
Повторяя юнцам, у кого геройство горит во взоре,
Трухлявую Ложь: *Dulce et decorum est*
Pro patria mori.[1]

[1] «Сладка и прекрасна за родину смерть». Строка из Горация. *Примечание переводчика.*

Версия притчи о старике и сыне его

Встал Авраам, дров наколол, огня
Для всесожженья взял и острый нож.
В пути, пока шагали вместе в горы,
Заговорил с ним сын его Исаак
И вопросил: «Отец, приготовленья
Мы сделали, но овен где, скажи?»
В ответ старик стянул ремнями сына,
Траншеями всю землю перерыл
И нож занес над первенцем своим.
Вдруг — чудо! — голос прозвучал с небес,
То ангел молвил: «Авраам, оставь
Исаака, зла не делай никакого.
Взгляни, Гордыни Овен бьется в кущах —
Его возьми, не сына, на закланье!»

Не слушая, старик свой нож вонзил —
И пол-Европы вслед за ним сгубил.

Руперт БРУК *(1887—1915)*

Солдат

И если я погибну, знайте: есть
Тот уголок земли в чужих краях,
Что стал навеки Англией; и здесь
Сырые недра берегут мой прах —
Прах, что когда-то Англией рожден,
Там вырос, там любил, ее путями
Бродил, английским ветром напоен,
Целован солнцем и омыт дождями.

Теперь же сердца моего биенья
Есть пульс веков — они, не зная зла,
Ведут к английской мудрости истокам,
Дарят мечты ее, напевы, песнопенья,
И смех друзей, и нежность, что цвела
В сердцах — под небом Англии высоким.

Исаак РОЗЕНБЕРГ *(1890—1918)*

Рассвет в траншеях

Клочья тьмы отползают на запад.
Все так же было во времена друидов,
Вот только крыса, злобно сверкнув зубами,
Выскакивает из-под руки,
Когда срываю с бруствера мак
И затыкаю за ухо.
Ах ты, крыса! Пристрелить бы тебя
За предательское космополитство твое —
Чуть не цапнула за руку англичанина,

А скоро, коль будет охота перебежать
Сонную нейтральную полосу,
На той стороне покусаешь немца.
Как злорадно кривишься ты, крыса,
Скользя мимо сильных, смелых людей,
Что зарылись вглубь перепаханных
Снарядами полей Франции, —
У них шансов меньше, чем у тебя,
Выбраться из этой бойни живыми.
Что ты видишь, крыса, в наших глазах,
Когда осколки визжат и пламя
Взмывает в неподвижное небо?
Что за дрожь пробирает, что за ужас?
А маки, что растут прямо из солдатских вен,
Валятся под пулями наземь.
А мой, за ухом, целехонек —
Только чуть тронут прахом.

Чарльз СОРЛИ *(1895—1915)*

Когда в твой сон

Когда в твой сон мильоны тел без глаз
Войдут, побатальонно, бледным строем,
Не повторяй что сказано не раз,
Мол, не забудешь. Это все пустое.
Не прославляй. Не слышно им, к героям
Их приравняешь или втопчешь в грязь.
Они слепые. Слезы наши — что им?
Что славословья? Мертвым не до нас.

Скажи одно: «Погибли. Но до них
Иные гибли, лучшие, быть может…»
И если вдруг средь сонма неживых
Мелькнут черты, с лицом любимым схожи,
Знай, это призрак. Жизни нет в пустых
Глазницах — смерть все уничтожит.

Ричард ОЛДИНГТОН *(1892—1962)*

В окопах

Нет, не усталость вовсе
И никакой не страх,
Не одиночество наше,
Хотя не бываем одни —
Не это нас убивает,
А убивает каждого
Снаряда надсадный вой,
И пули жестокий визг,
Что лезвием режет слух,
И каждая новая рана
На груди Деметры-земли —
Вот что нас убивает,

Кромсает тонкую ткань
Наших крылатых душ,
В прах обращает яркие
Крылья Психеи!

Зигфрид САССУН *(1886—1967)*

Мечтатели

Солдаты — просто граждане страны
Смертей, им не до завтрашнего счастья.
В час испытанья они встать должны,
Забыв свои сомненья, страхи, страсти.
Они верны приказу; рвутся в бой,
Чтоб выжить в вихре бешеной шрапнели.
Мечтатели они: под минометный вой,
Все чудятся им чистые постели.

Я вижу их: в траншеях, где гниет
Вода и нет от крыс и вшей спасенья,
Им слышится, как мяч в ракетку бьет,
Их дразнят невозвратные виденья:
Конторский день, концерт, бильярдный счет
И сэндвич к чаю утром воскресенья.

Герой

«Мой Джек погиб геройски, как мечтал, —
Вздохнула мать. — Полковник написал
Так хорошо…» Пресекся голос вдруг,
И лист едва не выскользнул из рук.
«Мы, матери, героями, что пали,
Гордимся…» И тут плечи задрожали.

Военный встал и двери притворил.
Не без труда, но он наговорил
Красивой лжи с избытком, чтобы ей
Хватило вдоволь на остаток дней.
В глазах блистала гордость под конец:
Ну и смельчак был Джек, ну и храбрец!

Он шел и вспоминал об этом «смелом»:
Как тот визжал в траншее под обстрелом,
Как все пытался тихо смыться в тыл
И как средь бела дня его накрыл
Шальной снаряд. Всем было наплевать.
А здесь одна ждала домой седая мать.

Что с того?

— Что с того? Ты вернулся без ног?
Но ведь мир не без добрых людей.
А коль кто-нибудь вдруг, без затей,

Скажет: сходим хороший футбол посмотреть? —
Вспомни, ты был отличный игрок!

— Что с того? Ты вернулся без глаз?
Есть таким работенка, ей-ей,
Да и мир не без добрых людей.
Кто ж мешает слепому сидеть-вспоминать
На террасе в закатный час?

— Что с того, что все ночи без сна?
Выпей, друг, и забудь. Ты — живой.
И не шутит никто над тобой,
Мол, свихнулся совсем. Ты всеобщий герой!
Да и совесть отчизны чиста.

Эдмунд БЛАНДЕН *(1896—1974)*

Маршируя мимо

Направо дом гирляндами увит —
А мы шагаем мимо как на плаху.
На черта нам такой роскошный вид,
Нам лучше бы не вшивую рубаху!
А особняк в цветах — что райский сад:
Дворцом, не меньше, смотрится фасад,
Его не портят пушки, что глядят
На запад в молчаливом ожиданьи.
Вокруг ромашек золотые блики,
И пурпур роз, и астры, и гвоздики:
Ковер цветов, где все оттенки есть!
А маков, маков столько, что не счесть!

…Но знаешь, друг, есть перебор, пожалуй,
В палитре этой с краской ярко-алой.

Уилфред ГИБСОН *(1878—1962)*

Вернувшийся

Не задавайте мне
Вопросов о войне.
Расспросы эти зря,
В окопах был не я,
А только мой двойник;
Не я, а он привык
Водить рукой моей
И убивать людей.
Но чувствую вину
Свою за ту войну:
Мы воевали с ним
Под именем одним.

Предисловие и перевод с английского
Юрия Маслова.

Правду расскажу

В далеком уже 1983 году Валентина Кулешова перевела для «Нёмана» роман известного болгарского писателя Павла Вежинова «Весы». Так она стала постоянным автором журнала. Сегодня мы публикуем ее воспоминания об отце и матери — «Ты была маёй любай зямлёю». Это перевод с белорусского ее сына Владимира Берберова. Впервые произведение под таким названием было опубликовано в журнале «Роднае слова», но нынешняя публикация на русском языке — это дополненные воспоминания об известном белорусском поэте Аркадии Кулешове и его жене Ксении Вечар.

Предлагаем читателям небольшое интервью с автором.

Олег Ждан. Валентина Аркадьевна, поскольку мы начали разговор с романа Павла Вежинова: откуда у вас знание болгарского языка, интерес к болгарской литературе?

Валентина Кулешова. Я училась в МГУ на славянском отделении филологического факультета. Тогда же, на втором курсе, я познакомилась со студентом из Болгарии Христо Берберовым, изучавшим русский язык и литературу. Через два года мы поженились, а после окончания университета уехали в Болгарию. Язык освоила быстро, ну а роман «Весы» Павла Вежинова — замечательный роман, я рассказала о нем главному редактору журнала Анатолию Кудравцу и по его предложению перевела для белорусских читателей.

О. Ж. Брак с Христо Берберовым был счастливым?

В. К. Да. У нас родился сын Владимир, я преподавала русский язык и литературу в школе, позже — в Высшей медицинской академии, работала на радио, вещавшем на Советский Союз. Христо много переводил и с русского, и с белорусского, в частности, ему принадлежит прекрасный перевод на болгарский поэмы моего отца «Сцяг брыгады». Но в 1967 году Христо умер… И я возвратилась в Беларусь.

О. Ж. Как дальше складывалась Ваша жизнь?

В. К. Отец всегда мечтал, чтобы я тоже писала, приводил в пример дочь Твардовского Валентину, писавшую о своем отце. Я тоже сделала такой опыт: написала сценарий документального фильма «Край крынічны» — об Аркадии Кулешове в родной деревне, среди родных людей. Фильм вышел на экраны в 1972 году. А в 1984-м начала писать большую книгу «Лясному рэху праўду расскажу». Название это — строка из записной книжки отца, которую я обнаружила, разбирая рукописи уже после его смерти. «Лясное рэха» — образ кулешовской поэзии. Мне показалось, что эту строку он адресовал мне с надеждой, что я смогу ее правильно прочесть…

ВАЛЕНТИНА КУЛЕШОВА

«Ты была маёй любай зямлёю…»

Ксеня

Оксана, здравствуй!

«В конце октября 79 года я послал тебе большое письмо, и, по моему мнению, несколько резковатое по содержанию!»

Адресата письма — мою мать и жену моего отца, Аркадия Кулешова — связывала с его автором Иваном Ивановичем Сидоренко, инженером из Иркутска, студенческая дружба. Иван, которого друзья-студенты прозвали Гансом как по причине довоенных, хороших еще отношений с Германией, так и из-за немецкого языка, который они изучали, а еще, возможно, из-за внешнего сходства с представителями арийской расы, был, несомненно, влюблен в Ксению Вечар, выделявшуюся исключительной красотой. Актер Леонид Рахленко позже назовет ее одной из трех самых красивых женщин в кругу белорусской интеллигенции города Минска. Мне кажется, Ганс тоже нравился ей, но когда речь зашла о более серьезных отношениях, она объяснила парню, что к мужчинам, учащимся в нархозе, относится с пренебрежением. Разговор, по-видимому, был довольно напряженный, так как Иван Сидоренко в результате уехал в Иркутск, где стал инженером.

Обретя, наконец, «мужскую профессию», он приехал в Минск свататься. Но его любимая была уже замужем, имела дочь и ждала второго ребенка. Беседа была, очевидно, непростой, так как Ганс непрерывно курил, пересекая комнату из конца в конец. Я при этом присутствовала. Разговора, конечно, не поняла, но отцу рассказала о странном поведении посетителя.

Вернувшись в Иркутск, Иван Иванович вскоре женился и дочь свою назвал Оксаной. Первая любовь стала для него эталоном большого чувства. С моей матерью они никогда не переписывались, их дороги не пересекались, а редкие новости о Гансе она узнавала от его брата, который долго жил по соседству с нами.

«Большое письмо» ко мне не попало, а цитируемое было написано 25 апреля 1980 года по следам ее ответа на первое. Вот как на него реагирует Иван Иванович:

«Прошло после этого шесть месяцев, я полагал, что ты обиделась на меня и потому не пишешь.

Но вот вчера я получил от тебя письмо. Не вскрывая конверта, я пытался угадать, что в нем содержится, и пришел к выводу, что мне сейчас Оксана устроит разгон, сделает мне харакири».

Останавливаюсь на последних словах этого абзаца, так как они позволяют представить себе, какой была атмосфера того фатального для Ганса разговора, в результате которого он оказался в Иркутске. Но главное не в этом, а в том, какие жизненные обстоятельства сделали мою мать такой непреклонной в своей суровости.

…Ксения была пятым ребенком Федора Щербовича-Вечора[1] и Дарьи Радван-Волаткович. Отец маленькой Ксении очень любил свою жену и не придавал значения тому, что в юности у нее начиналась опасная болезнь — туберкулез. Состоятельный отец лечил тогда дочь в Варшаве и позволил ей не торопиться

---

[1] О смене фамилии Щербович-Вечор на Вечар и имени Ксения на Оксану будет рассказано позже.

с замужеством. Она вышла только за 25-го из сватавшихся к ней. Федор, человек отменного здоровья, опасности для здоровья жены в ее беременностях не видел.

— Сколько же можно рожать, Федор? — спрашивала жена.

— До двенадцати, Дашуня, до двенадцати, — игриво отвечал муж жене.

Он был тоже прав: дети были удачными. Но родив шестого, Костика, Дарья умерла от открытого процесса в легких. Через два месяца угас младенец, а еще через четыре и сам Федор (туберкулез передается даже через поцелуй). События происходили в Улле, на Витебщине, где Щербович-Вечор тогда работал. Дарью и Федора похоронили в парке друг против друга.

Всю жизнь моя мама мечтала посетить могилки родителей. Но точных сведений о месте захоронения не было. Мы считали, что этот парк находится в местечке Городок под Витебском, где некоторое время работал Федор. А про Уллу я узнала уже тогда, когда у матери начались проблемы со зрением. Ее мечту унаследовала я. Но сохранились ли в том парке могилки 1914 года? Да и попасть туда мне навряд ли придется. Упоминаю об этом как об известном мне факте, не надеясь на большее. Хотя и теплится в душе надежда на память жителей Уллы.

После смерти родителей детей разобрали родственники. Двухлетняя Ксеня вместе со старшей, четырнадцатилетней Марией и Тамарой, которой уже исполнилось пять, попали в самые тяжелые условия — к тетке Ольге Щербович-Вечор. У той было семеро собственных детей, к тому времени она уже девять лет была вдовой. Степан, ее покойный муж, был старшим братом Федора, и тот, пока был жив, помогал вдове брата деньгами. После смерти Федора ситуация резко ухудшилась, но тетка Ольга не отозвала старшего, Владимира, из Московского университета, где по традиции получали образование все мужчины шляхетского рода Щербович-Вечоров. Упоминаю об этом потому, что весь заработок семьи уходил в Москву, но даже он не спас талантливого химика, Володя тоже умер от чахотки. О судьбе Владимира-химика, чья дипломная работа до сих пор хранится в архиве Московского университета, и которого Ксеня любила, как отца, она рассказывала следующее.

…Летом 1920 года через деревню (Мащицы Слуцкого повета) должна была отступать польская армия. Пронесся слух, будто жгут деревни. Все попрятались в лесу, не ушли только Володя, который уже не слезал с печи, и Ксеня, спрятавшаяся за ним. Ей было жаль оставлять двоюродного брата одного. Однако ребенок есть ребенок. Когда ей надоело лежать, она вышла во двор и присела на крыльцо. Вскоре во дворе появились двое солдат.

— Patsz, jaka sliczna dziwczynka! (посмотри, какая симпатичная девочка! — *польск.*) — сказал один из них.

— Taka podobna do naszych! (так похожа на наших!) — ответил второй, вынимая конфетку из кармана.

— Nie bedziemy palic! (не будем жечь!) — решили они и, погладив малышку по головке, двинулись дальше.

Ксеня не только не пробовала — никогда прежде не видела и долго еще не увидит конфет. Самым большим лакомством, которое они с теткой ели по праздникам, был хлеб с солью или с сахаром. Необыкновенный, изумительный вкус и неожиданная ласка закрепили в памяти девочки и этот эпизод, и диалог.

Однажды в материалах о происхождении родителей я описала этот случай, по аналогии припомнив другой, из истории семьи своего мужа Валерия Безручкина. Речь шла о его деде, знаменитом глусском (Глуск — городок в Могилевской области) кузнеце Василии Буевском, насмерть запоротом шомполами в 1920 году поляками. Они требовали, чтобы он подковал коней, а он то ли не мог, то ли не хотел этого сделать.

Эти эпизоды редактор вычеркнул. Он, по-видимому, хорошо относился к полякам. Я тоже. Но речь идет не об эмоциях, а о правде истории. Нужно ли упоминать ее темные стороны? Считаю, что нужно. Они говорят не меньше, чем светлые. То же можно сказать и о творческой личности. Чтобы понять тончайшие нюансы творчества, нужно рассматривать личность всесторонне.

О какой стороне нашей истории свидетельствуют вышеупомянутые факты из личной жизни двух белорусов: девочки Ксении Щербович-Вечор и Василия Буевского, пятидесятилетнего кузнеца из Глуска? Лишь о том, что простой польский солдат, участвовавший в русско-польской войне 1920 года, утратил уже историческую память и смотрел на жителей Беларуси как на русских, с которыми и воевал. А в случае с Ксеней сработала на уровне инстинкта генетическая память. История особых отношений белорусов и поляков закончилась в 1795 году, после того, как произошел раздел *Речи* Посполитой.

Не знаю, кем были наши Щербовичи-Вечоры — католиками, греко-католиками или православными, но отдельные польские слова в общем белорусском контексте мать донесла до нас, своих детей, из своего детства. Есть, правда, косвенные данные, зафиксированные в энциклопедическом словаре Брокгауза и Эфрона в статье о Людомире Людвиге Щербовиче-Вечоре, родившемся в 1840 г., окончившем Московский университет и впоследствии преподававшем в Королевстве Польском, писавшем статьи по вопросам теории и литературы и философии. В 1897 г. он был еще жив. Простите мне искушение рассказать о нем больше, чем это необходимо в рамках данного эссе, но скажите, чем не типична эта судьба, если она складывается конструктивно?

А косвенным свидетельством католического или греко-католического вероисповедания является второе имя его носителя. То, которое дается католикам при крещении. В нашем случае это Людвиг. Католическое имя фигурирует и в судьбе моей матери: дядьку, вывозившего детей из Уллы в Мащицы, звали Бенедиктом. Он еще всплывет в судьбе племянницы, уже студентки. Ее будут вызывать на допросы в НКВД, добиваясь признания в том, что якобы он — ее отец, и исключат из института как дочь белого офицера. Правда же в том, что Бенедикт был действительно офицером царской армии, и то, что, привезя сирот своего брата из Уллы, торопился вернуться на фронт, где находилась в это время его часть. Шел 1914 год. Поздняя осень. Можно даже прикинуть, пусть и приблизительно, куда он так спешил. Известно только, что Бенедикт не погиб и оказался в эмиграции.

Но вернемся к Гансу.

Вскрыл конверт, извлек неаккуратный листок бумаги — «гора родила мышь».

«За шесть месяцев ты сумела написать всего десять строчек на этом неаккуратном листке бумаги, — да, производительность труда крайне низкая.

Газетчики назвали бы такой ответ «простой бюрократической отпиской, ни о чем не говорящей».

Могу себе представить, как расстроили мою мать эти строки. Они разрушили ее давнюю жизненную иллюзию, возможно, неоднократно поддерживавшую в те минуты, когда она чувствовала себя одинокой.

Ганс, безусловно, имел основания высказать свое возмущение Ксениным ответом. Он тоже был разочарован тем, что и на склоне лет ему не удается наладить диалог с женщиной, которая всю жизнь была его далекой путеводной звездой. Он разочарован, он не понимает, что же теперь стоит между ними? Может, недоверие, сомнение в его искренности?

Подобные мысли породили следующие слова письма:

«Конечно, я не претендую и не претендовал на абсолютную свою правоту (о чем это — мы можем только догадываться. — *В. К.*), но я безусловно прав в том, что честно и порядочно отношусь к переписке с тобой».

Помнится, мать время от времени вспоминала о нем с неизменной теплотой. Он же не понял, откуда этот измятый клочок бумаги и почему на нем так мало слов. И никто из тех, кто не знает, в каких условиях росла и воспитывалась моя мать, этого не поймет.

…В семье тетки Ольги работали все без исключения.

Дней отдыха не было.

Шестилетней девочкой Ксеня уже пасла гусей. С восьми — гоняла коней в ночное. Однажды, поддавшись общему порыву, она вернула коней раньше обычно-

го и побежала в деревню смотреть свадьбу. Спохватилась, когда ее дернули за косу. Волосы у девочки были густые и длинные. Не успела оглянуться, как ее уже тащили за косу по земле. Можно себе представить, какой ужас охватил это хрупкое, беззащитное дитя, когда единственный родной человек обошелся с ней так жестоко.

— Тетя, за что? — только и смогла выговорить Ксеня, придя в себя.

— За коней.

— Так все же гуляют, сегодня воскресенье.

— Все могут: у них есть родители, а ты — сирота.

Материно сиротство вообще очень дорого обходилось и тетке Ольге, и ее дочерям: Стэфе, Анюте и Насте. Когда Бенедикт Щербович-Вечор привез к Ольге в Мащицы Дарьиных сирот, то хозяйка, набегавшись, не сразу заметила, что младшая, Ксеня, ничего не ела. Женщина и так, и этак, а она только смотрит на них с тоской своими грустными голубыми глазенками, светящимися на осунувшемся личике.

Все по очереди трясли Ксеню, и пока кто-нибудь пританцовывал перед ней или же показывал какой-нибудь предмет, чем вызывал у ребенка хоть какую-то реакцию, второй заталкивал ей в рот ложку. Этот «цирк», несомненно, отнимал у изможденных женщин много времени и сил. Спасибо им за терпение!

С того, видимо, момента у Ксении осталась «атавистическая» привычка? Она считала своим долгом трясти каждого ребенка, появившегося в ее семье, неизменно приговаривая: горькое дитя, горькое дитя! Она делала это как-то автоматически и так механически пританцовывала перед каждым внуком, когда того кормили, чем вызывала удивление даже у детей. Ей невозможно было объяснить, что ребенок и без того будет есть.

Теперь я понимаю: такое поведение ее объясняется депрессией, охватившей осиротевшее дитя, лишившееся родительской ласки.

Так же, кстати, моя мать всю жизнь реагировала на всякий стресс: она теряла аппетит и не могла понять, почему я в аналогичной ситуации постоянно что-то жую.

— Ты — «бондарева» корова! — с возмущением говорила она, наблюдая, как я постепенно теряю нормальные формы.

Впервые мама убежала из дому в школу лет в десять, как-то ухитрившись добраться до единственной в доме пары детской обуви. Учитель, открывший в ней для себя новую ученицу, потребовал, чтобы она ходила в школу регулярно. Девочке очень нравилось учиться. Тетка Ольга, замечу, умело использовала тягу девочки к учению. Стимулируя в детях это желание, она позволяла им читать книгу исключительно в награду за хорошо выполненную по хозяйству работу. В знак благодарности Ксения всегда целовала ей руку. Тетка Ольга, по-видимому, считала, что наука для женщины — дело не обязательное, хотя и нужное, чтобы выйти замуж за человека образованного, жизнь с которым будет полегче. Жизненный опыт подсказывал ей, что семья держится на женщине, однако качество ее зависит от того, с кем свяжешь жизнь. Ксеня быстро догнала остальных по всем предметам, кроме словесности. Она ей не давалась. И немудрено. Язык требует регулярных занятий. К тому же так называемое «белорусское двуязычие»! Девочка так и не овладела ни белорусским, ни русским языком в совершенстве, что очень ей вредило в ее взрослой жизни и так фатально повлияло под конец на переписку с Сидоренко. Ведь это боязнь ошибок сделала ее ответ таким лаконичным, а его реализацию такой долгой, что даже бумага не выдержала — измялась. Знал бы Ганс все то, о чем я рассказываю, — помятый листок порадовал бы его, растрогал, а не разочаровал. (Ничего удивительного. Любовь — это диалог, который ведется в течение жизни и, будучи однажды прерван, не всегда может быть возобновлен.) Зато ей давалась математика, и настолько, что через два года учитель направил ее в слуцкую гимназию.

Тетке не хотелось отпускать Ксению, она помнила грустную историю Марииной учебы в Слуцке. Мария была старшим ребенком в семье Дарьи и Федора. Когда умерли родители, она уже окончила четыре класса начальной школы и ходила в гимназию. Но на новом месте жительства гимназии не было. Девочка обладала исключительными математическими способностями и настояла на том, чтобы ей разре-



Ксения Вечар.

шили продолжить учебу в Слуцке. Кормилась она репетиторством[1]. Легко одетая и полуголодная Мария заболела семейным недугом — туберкулезом. Умирала в Мащицах. Моя мать помнила последние часы жизни сестры.

— Мария сидела в постельке, — рассказывала мне она, — обложенная со всех сторон подушками. Я сидела рядом за столом. Тетка Ольга подала девушке тарелку драников. Мария только попробовала и, пододвинув тарелку мне, попросила у тети свечку. Так, сидя с зажженной свечкой в руке, она наблюдала за тем, как я с наслаждением ем драники. И вдруг, переведя взгляд на тетю, Мария попыталась что-то сказать.

— Не надо, не надо, Манечка. Успокойся! Я все сделаю, чтобы она жила.

И вот теперь Ксеня, которой почти четырнадцать, собирается в Слуцк.

Тетка Ольга не советует: все может повториться.

Но девочка хочет учиться и отправляется в Слуцк.

Долгий путь до Слуцка она преодолела пешком, хотя возможность подъехать была.

Когда Ксеня шла по лесу, с ней вдруг поравнялась повозка, на которой сидели дед с бабой. Увидев девчушку одну в лесу, старушка запричитала:

— Ой, дитятко мое, что же ты делаешь в лесу одна? Заблудилась, никак?

Ксеня молчала.

— Отвяжись ты от нее! — пробурчал дед. Какое-то время та молчала. Телега двигалась медленно и не обгоняла девочку.

— Что ж ты молчишь, мы же можем тебя подвезти, — снова принялась за свое старушка.

— Шла бы ты в ж…у! — огрызнулась красавица.

Сочувствие женщины Ксеня тогда, наверное, воспринять не могла. Она еще не оправилась от шока, который сделал ее такой недоверчивой к людям.

Мальчишки, с которыми Ксеня с восьмилетнего возраста пасла ночами коней, стали уже подростками, как, впрочем, и она, и стали замечать привлекательность своей единственной подруги. В одну из таких ночей, когда девушка, как обычно, задремала у костра, кто-то из парней с мерзким хохотом вдруг навалился на нее. Перепуганная Ксеня отшвырнула его и вскочила на своего Серка. Парень, однако, не сдавался, пытаясь стянуть девушку с коня. Еще сонная и смертельно перепуганная Ксеня, не колеблясь, нащупала кнут и огрела им наглеца. Удар пришелся по лицу, и на нем вспыхнула разноцветная радуга. Парень закричал от боли и схватился руками за лицо. А Ксеня подстегнула коня и, когда он уже перешел в галоп, услышала:

— Я тебе это припомню, малая!

Парень происходил из деревенских люмпенов, завидовавших хозяйственной тетке Ольге, тогда как ее красавицу-сироту считали человеком своего круга.

В жизни моей матери, в ее деревенском детстве были и светлые страницы. Они были связаны с моментами деревенского культурного отдыха — вечорками. Ксеня очень любила белорусскую музыку в исполнении деревенских музыкантов, которых тогда было много на фольклорно богатой Беларуси. С голосом были

[1] В тогдашней Белоруссии окончивших 4 класса уже нанимали давать домашние уроки детям.

у девочки проблемы, но тоненькая, стройная и физически крепкая, она была лучшей танцовщицей на деревне. И надо же было такому случиться, что в Манщицы на поиски талантов приехала группа специалистов из Минска, которые выделили Ксению и предложили ей учиться в балетной школе. Окрыленная успехом, счастливая девочка влетела в дом и выпалила новости тете.

— Прочь! — выкрикнула та, показывая на дверь. — В нашей семье не зарабатывали телом! Хватало головы. Если ты примешь их предложение — знай: двери моего дома закроются для тебя навсегда.

В итоге Ксения очутилась в Слуцке. И с наслаждением окунулась в учебу. Питалась картошкой, которую передавала из Манщиц тетка Ольга. Прошло несколько месяцев, и ее прогнозы начали сбываться. Ксеня заболела, лежала в основном в постели. Тогда ее сестра Тамара обратилась за помошью к Нине Щербович-Вечор, их сестре, которая после смерти Марии стала для них старшей. Нина при разборке детей Дарьи и Федора попала вместе с братом Владимиром в Горбацевичи к учителям Катерине и Михасю Жуковцам, в нормальные жизненные условия. Нина, окончившая уже техникум мелиорации, работала и жила в Минске с мужем, писателем Платоном Головачом. Им также жилось непросто, своего жилья в Минске не было, да и с питанием были проблемы, но решение они приняли однозначное: Платон едет в Слуцк и привозит оттуда Ксеню, младшую сестру жены.

В семье Платона Головача

Шатаясь, девушка добрела до двери. На пороге стоял незнакомец. Девушка взглянула на него и остолбенела. Он понял ее состояние, но сделал вид, что ничего необычного не произошло.

Так мистически вошел в жизнь Ксении Щербович-Вечор дядька Платон — белорусский писатель Платон Головач. Ну, а девушку стали звать просто: Ксения Вечар. «Техника» искажения белорусских шляхетских фамилий была у нас отработана: отбрасывали первую часть, а вторую слегка подправляли. Слово *вечор* есть в русском языке (у Пушкина: «Вечор, ты помнишь, вьюга злилась…») и означает оно «вчера вечером», так же как болгарское «сponди», например. Но именно это несоответствие значений существительных «вечер» и «вечор» подтолкнуло, наверное, первого автора «переработки» переделать «вечор» в «вечер». А автором был самый трезвомыслящий из детей Ольги Семеновны и Степана Щербовичей-Вечоров — сын Алесь.

И не ищите здесь никакой иронии, это просто жизнь, которая периодически подталкивает белорусов к мимикрии. А быть может, лучше, во всяком случае, романтичнее, было бы гордо нести свое шляхетство прямо в Куропаты[1]?

Алесь Степанович Вечар, кстати, был не просто биологом (со временем профессором-биологом), но и белорусским поэтом. Когда волны репрессий 1930-х накрыли Беларусь, он просто исчез. И никто о нем ничего не слышал. Догадки возникали самые мрачные. Мы, семья Ксении Вечар и Аркадия Кулешова, первыми узнали, что Алесь тогда просто убежал в Краснодарский край и работал там биологом на винзаводе «Абрау Дюрсо». После войны, кажется, в начале 1950-х, он вдруг пришел к нам в гости, приехав в Минск. Проговорили всю ночь. Будто бы и не было этих двадцати лет… А что? Такая мелочь, если мыслить масштабно… И к тому же так по-европейски: «Фигаро тут, Фигаро там…»

Позже, когда Алесь Вечар с семьей вернулся в Минск, мы почти не встречались, поскольку моя мать не была апологетом идеи семейственности и детям своим старалась привить единственно правильную, по ее сиротским меркам, горькую и спасительную идею индивидуализма. В старости эта идея больно ударила по ней самой. Так как каждый давно уже рассчитывал исключительно на себя и в борьбе один на один с обстоятельствами преждевременно выработал свой моторесурс.

---

[1] Куропаты под Минском — место массовых расстрелов в 1937—1940 гг.

А Головач был коллективистом. Он бросался на помощь каждому, кто в этом нуждался. Кстати, именно он первым обратил внимание на талант Аркадия Кулешова. Вот что вспоминал Алексей Зарицкий: «Интересно, что первым из наиболее известных писателей «Обиду» похвалил Платон Головач. На широком обсуждении поэмы в Доме литератора он, глянув на Аркадия, подчеркнул, что «Обида» — большая удача этого совсем еще подростка (автору было шестнадцать) и «новая страница белорусской поэзии».

Ксеня стала для Платона первым и главным объектом воспитания. Он понимал девушку и сочувствовал ей еще и потому, что и на себе очень рано почувствовал, что такое сиротство (в два-три года он потерял мать). Дядька Платон заменил Ксении отца.

Собственного девочка не знала. Единственное, что сохранилось в памяти, — рука с обшлагом рукава коричневого костюма, которая поднимала ее, чтобы усадить на составленные парты. В школе, где учились старшие дети Федора Семеновича, отмечали Новый год. (Думаю, что 1914-й, поскольку полутoрагодовалый ребенок уже мог что-то запомнить, а что до отца, то он, по последним данным, умер в конце 1914-го — тогда понятно, почему, собирая детей в дальнюю дорогу, им покупали в магазине теплую летнюю одежду, в том числе и капоры[1], как мне рассказывала мамина сестра Тамара. Шла зима! А это давно вышедшее из употребления слово сегодня свидетельство правдивости информации.)

Старая одежда, как и прочие вещи, была сожжена — боялись инфекции. В то время туберкулез косил людей, этой болезни страшились почти как чумы. И всю дальнейшую жизнь моя мать считала недопустимым передачу вещей от старших детей младшим. И даже игрушки, из которых «вырастал» предыдущий ребенок, она неизменно сжигала, а очередному покупались новые, иногда даже очень похожие — явная традиция семьи, половина которой умерла от опасной болезни.

В конце 1970-х годов у моего сына, внука Ксении, врачи случайно, в ходе плановой вакцинации, обнаружили очень редкий врожденный иммунитет — от туберкулеза. Так что на уцелевшую половину семьи Федора болезнь, уничтожившая остальных, подействовала то ли как прививка, то ли как фактор отбора.

Я уже упоминала, что белорусский писатель Платон Головач был мужем сестры Ксении — Нины, которая была на семь лет старше ее.

Тут мне снова, дорогой читатель, стоит, по-видимому, поделиться информацией о семейных традициях наших предков почти столетней давности, когда семья скреплялась церковным браком, исключавшим развод. Он был стержнем стабильности семьи и позволял планировать ее. Ссылаясь на мою тетку Тамару Федоровну, скажу, что в семье ее родителей дети рождались каждые два года. Происходило это так: мать вскармливала младенца до года. Очередная беременность наступала только по истечении этого срока. Дальше следовали девять месяцев беременности, роды и снова год вскармливания. Благодаря знанию этой семейной «методы» нам в конце концов удалось вычислить год рождения моей матери, самой младшей из выживших детей Дарьи и Федора Щербовичей-Вечоров. Отсутствие знания о двухлетнем цикле позволяло мне считать, что мать моя, Ксения, родилась в 1914-м, но в этом случае кто-то из детей должен был родиться в 1912 г.

Первый ребенок, Мария, родилась в 1903 г. Второй, Нина, в 1905-м, третий, Владимир, — в 1907-м, четвертый, Тамара, — в декабре 1909-го, а моя мать — 10 августа 1912 г. Люди, знавшие мою мать, привыкли поздравлять ее с днем рождения 25 октября. Эту дату она сама себе выбрала, поскольку не знала, когда родилась, а спросить у старших не приходило ей в голову. О вещах, от которых не зависела жизнь, она не привыкла думать.

А 10 августа откопала я. Рассуждая о характере моей матери в свете гороскопа, я вдруг поняла, что она, должно быть, Лев. Начала расспрашивать ее родных

---

[1] Капор — женский головной убор.

и двоюродных сестер — и одна из них подтвердила, что моя мать действительно родилась 10 августа.

Косвенно это подтверждается датой рождения Галины, дочери Головача (10 августа 1930 г.) и моей троюродной сестры Светланы Ларионовой (в девичестве Субботиной — внучки Катерины Радван-Волаткович) — 13 августа 1935 г.

В середине 1914-го родился, а два месяца спустя умер Костик, которого нечем было кормить после смерти матери, а еще через четыре месяца скончался и отец. Так завершилась любовь и продуктивная жизнь моих молодых еще дедов, чьей самоотверженности мы, их потомки, обязаны своим существованием.

После смерти родителей Нина с Владимиром попали в семью тети Кати — Екатерины Семеновны Радван-Волаткович. Она была замужем за инспектором народных училищ Михаилом Жуковцом, который был старше ее на двенадцать лет. Сама она с его подачи выучилась и стала учительницей. Жуковец всю жизнь был влюблен в свою жену и называл ее не иначе как «Катюня».

Таким образом, Нина с братом оказались в семье местечковой интеллигенции, бывшей к тому же средоточием светлых человеческих отношений. Всех женщин этой семьи отличала красота, хотя и в разной степени. Самой красивой была сама Екатерина Семеновна. С тех пор как она выросла и развилась, ее отца, известного в окрестностях человека, Семена Ивановича Радван-Волатковича, стали называть не иначе как «отцом красавицы Волаткович». И происходило это, наверное, в послереволюционные годы, так как первая часть фамилии — «Радван» — была уже скрыта от постороннего глаза. О ней вспоминал только Жуковец, и только в те минуты, когда жена делала что-то достойное хвалы.

— Так ты ж «Радван»! — замечал он не без гордости, чем неизменно пугал ее. Чем же так гордился Жуковец в этом «Радван»? То ли просто шляхетством богатого до революции рода (до нас дошли сведения о фейерверках, которые устраивались в имении Ивана Радван-Волатковича, который, как говаривала тетка, «до двух не считал»), то ли, возможно, еще чем-то.

По непроверенным данным, «Радван» — второй после «Погони» герб Княжества Литовского, название которого как награда прибавлялось только к тем фамилиям, носители которых были отличившимися воинами. Владимир Короткевич во время нашей с ним последней беседы в январе 1983-го, сказал, что Радван-Волатковичи — шляхта XV века.

Второй исключительной красавицей в семье тети Кати была дочь Нина. Она, говорят, не могла оторваться от зеркала. Девочка умерла в возрасте восьми лет. С той поры в волосах ее матери появилась седая прядь. По ней, а также по редкой красоте лица я узнала свою родственницу на одном общем снимке в Музее истории белорусской литературы. Следует добавить, что я ее никогда не видела, а могла бы, ведь она дожила до девяноста пяти. Чувствую ваше недоумение: почему? Действительно, почему? Она ведь жила недалеко, в Барановичах. Ответ на этот вопрос лежит в обстоятельствах уже моей жизни, в которой систематически не хватало прежде всего времени и всего, что с ним связано, а также в традициях нашей семьи.

А у Екатерины Семеновны была еще одна дочь — Елена. Ее я однажды видела у ее дочери Светланы Субботиной-Ларионовой. Внешне она была женщиной обыкновенной, однако произвела на меня большое впечатление своей исключительной добротой.

Вот в такую семью попали брат и сестра моей матери. Про Владимира мы однажды слышали слова восхищения от его жены, украинки Оксаны, которая после войны приезжала к нам в Минск, надеясь услышать от нас что-нибудь новое о судьбе любимого. А мы от нее узнали, что он погиб в первые годы войны в районе Тирасполя. Владимир Федорович был кадровым военным, подполковником, и командовал погранзаставой.

Нина Вечар тоже была красивой: имела длинную светлую косу и утонченные черты лица. Ее дальнейший жизненный путь показал, что привлекательный внешний облик соответствовал ее человеческой сущности. Спустя несколько месяцев

после ареста Головача его жену, с которой он так и не обвенчался, не расстреляли, а просто отправили далеко в Западный Казахстан, в лагерь под Акмолинском.

Считалось, безусловно, что она оттуда не вернется. И прежде всего потому, что в той западноказахстанской безводной степи с песчаной почвой есть было нечего. Всех спасли теткины знания. Под руководством профессионала мелиоратора женщины начали «покорять целину». Первой же осенью женский лагерь кормил плодами своего труда соседний мужской и даже охрану.

Неудивительно, что Платон Головач выделил из среды девчат именно Нину Вечар. Они дружили еще в школьные годы, когда вместе учились в Горбацевичской школе. Сам Платон родился и поначалу жил в соседних Побоковичах (теперь Бобруйского района), но одну из первых в Белоруссии комсомольских ячеек создал именно в Горбацевичской школе. Опыт общественной работы сделал его в дальнейшем первым секретарем ЦК ЛКСМБ.

После школы Нина училась в техникуме и получила диплом мелиоратора, а Платон в 1926 г. поступил в Коммунистический университет Беларуси. Нина приехала к нему в Минск в 1927 г. и, сняв жилье на улице Лодочной (а может, Кожевенной или Энгельса), они начали жить вместе. Она работала в Доме правительства, а он учился и очень быстро делал общественную карьеру — побывал редактором «Чырвонай змены», журналов «Полымя Рэвалюцыі» и «Маладняк», секретарем Союза писателей, — и одновременно был просто талантливым прозаиком. Его литературное наследие — детективный роман «Через годы», рассказ и повесть «Испуг на загонах» о процессе коллективизации крестьянства, участником которого был и сам автор, и, наконец, утерянный в результате ареста роман «Он» — о советском чиновнике-приспособленце.

Надо заметить, что дядька Платон привез Ксеню в Минск в 1928 г. и до 1935-го она жила в его семье, переезжая с квартиры на квартиру вместе с Головачами. Интересно, что где бы они ни находились, Ксеня всегда спала в кабинете — здесь имелась единственная свободная кровать или, быть может, диван.

Семья Головачей, взяв к себе Ксеню, пошла на жертвы: Нине пришлось отречься от желания иметь ребенка. Оказавшись в центре литературной жизни столицы, Ксеня быстро пополняла знания. Ежедневные контакты с литераторами держали ее в курсе последних событий, она также охотно пользовалась богатой библиотекой хозяина.

Стоит отметить, что о талантливом молодом поэте Аркадии Кулешове Ксеня услышала тоже от Головача.

Дядька Платон, правда, не позволял читать по ночам, но Ксеня время от времени ухитрялась, прячась с фонариком под одеялом. Заметив однажды у Ксении эту вредную привычку, Платон Романович разволновался. Он вообще не выносил обмана и поступок девушки расценил как попытку соврать.

— Ксеня, не уподобляйся Лынькову! — сказал он, что в его устах звучало как выговор.

Он не сразу понял, что многое в поведении золовки нужно было соотносить с условиями ее прошлой жизни, где удачная версия иногда была спасительным кругом.

Если же говорить о семейных взаимоотношениях Головачей, надо отметить, что дядька Платон ругаться не умел вовсе.

В семье маминой сестры Тамары все еще с улыбкой вспоминают поведение дядьки Платона в ситуации, его однажды разгневавшей. Нине и Лиде, жене известного литературного критика Сташевского, предложили покататься на машине, которая была тогда большим чудом. Гале, дочери Головачей, еще не было и года, однако муж разрешил жене «развеяться». Было ясно, что на это уйдет часполтора. Но прошло пять, молодой отец не знал, что и думать, а главное — делать.

Когда жена наконец вернулась, он сделал ей серьезное внушение:

— Ну и мать, ну и мать! — повторял он, будто в трансе, расхаживая по комнате, пока не выяснилось, что жена с подругой Лидией в районе парка Челюскинцев попали на том самом авто в аварию.

Живя у Головачей, Ксеня одно время ходила в школу. Не так давно мне попался снимок, где она сфотографирована вместе со своей школьной подругой Настей Одинец. Фото помечено 1928 годом.

Мать рассказала мне, что для поступления в институт ей не хватало двух лет. Хотя в школу она и пошла только в десять, но окончила ее раньше сверстников. В то время большинство сельских школ не имело классов — то есть помещений для каждого класса. Школа представляла собой большую комнату, в которой стояли длинные дощатые столы и скамейки. Каждый такой стол соответствовал определенному классу, и учитель преподавал двум—четырем классам одновременно. Поэтому и переход ученика из класса в класс был переходом за соседний стол и мог состояться в любой период года, в зависимости от способностей ученика. При желании можно было даже взять два класса за год.

А недостающие два года мать себе приписала. Паспорта тогда оформлялись со слов самого получателя. Полагаю, ей еще не однажды приходилось менять паспорт, так что она могла бы потом вернуть себе «свой» год рождения, но в паспорте всегда значился 1912-й, как мы теперь понимаем, истинный. Да и в домашних разговорах время от времени можно было услышать, что мать старше отца на два года.

Среди посетителей Головача был его однокурсник, позже литературный критик Лукаш Бэндэ. Он приехал в Белоруссию из Западной Украины и белорусский язык изучал подобно иностранному. Головач ласково называл его «Лукашиком», а Ксеня ожидала его появлений потому, что за каждое меткое белорусское слово, которое он торопливо записывал, Бэндэ вознаграждал девушку пятаком, что было очень кстати в небогатом головачевском быту.

Так продолжалось примерно до 1935 г., когда в прессе стали появляться статьи-пасквили на лучших представителей белорусской интеллигенции, особенно на писателей. По-видимому, это были заказные статьи. После которых деятелей культуры арестовывали.

В 1989 году, когда вышла моя книга об отце, я получила по почте письмо от Станислава Петровича Шушкевича. В конверте лежала бумажка, на которой было напечатано несколько строчек такого содержания: «Когда я сидел в тюрьме, ожидая приговора, мы с соседями перестукивались и знали — кто и где. Оказалось, надо мной сидит поэт Юлий Таубин.

— Что тебе инкриминируют? — прокричал я в свое зарешеченное окошко.

— Перед следователем лежит газета со статьей Кучара «Великий перелом», где есть такие слова: «Не ищите контрреволюции в строках Таубина: она — между строк».

Для Таубина это был уже второй арест и суд. Его выслали в Сибирь, откуда он не вернулся.

Как известно, Аркадий Кулешов входил в так называемую «Мстиславльскую троицу», к которой, кроме него, принадлежали Змитрок Остапенко и Юлий Таубин. В 1930-м они переехали в Минск. Мой отец был самым молодым из них, ему было всего шестнадцать. Думаю, своим ускоренным развитием в поэзии он обязан старшим на четыре года друзьям. Их одержимость творчеством не позволяла ему расслабиться, а их опыт задавал направление творчеству. Как яркие таланты, они оказались в числе первых жертв репрессий, будучи арестованными в 1933-м. Дальнейшая судьба Остапенко — это трагическая и героическая повесть, требующая отдельного разговора.

Что же до Таубина, то в 1937-м он прислал Кулешову из Москвы открытку. Отец оставил ее на столе, а Кучар, который как литературный критик опекал «Мстиславльскую троицу» с момента их появления в Минске, прочитал адрес. Таубина арестовали в Москве.

Когда после 1956 г. разрешили доступ в фонды Государственной библиотеки имени Ленина, люди, знавшие о публикациях-доносах, бросились их искать. Но на соответствующих местах зияли пустоты.

Однажды, если верить моей матери, Платон пришел домой расстроенным. На вопрос Ксении о причине он ответил:

— Знаешь, Ксеня, Бэндэ уже не тот, кем раньше был.

Однако, возвращаясь назад, в студенческие годы Ксении, хочу отметить, что, когда ее исключили из института как дочь белого офицера, Головач входил в соответствующее ведомство объяснять, кем приходится Ксении Вечар Бенедикт Щербович-Вечор и где и когда пересекались их судьбы. Мама успешно окончила институт и до войны работала товароведом.

Жизнь Ксении вошла в нормальную колею, она все чаще возвращалась мыслями к людям, среди которых прошло ее детство.

— Дядька Платон, я хочу повидаться с теткой Ольгой.

— Окончится учебный год — поедешь…

Как только Ксения вошла в деревню, люди сообщили ей, что семья тетки репрессирована. Позже выяснилось, что их выслали в Котлас. Донос написал тот самый парень, от чьих приставаний она отбивалась кнутом.

Взволнованная всем услышанным, девушка добрела до постройки, которая когда-то была теткиным домом, и рухнула на полати, где с теткой они когда-то спали.

Проснулась она от холода, ведь тряпье, которым она прикрылась, не грело. Это был уже не дом, а только сруб с печкой, поскольку окна и двери давно поснимала деревенская голытьба. В оконном проеме, на том месте, где был когда-то подоконник, стояла зажженная лампа.

Девушка поняла, кто мог позаботиться о ней столь оригинально, как и то, что должно было за этим последовать.

— Я вскочила и бросилась в лес, — рассказывала мама, — и больше в Мащицах никогда не бывала…

Когда началась коллективизация, Головача направили в деревню. Он должен был разъяснять крестьянам-единоличникам «положительный смысл» этой государственной акции. Он и разъяснял, но в то же время был поражен фактами ее насильственного проведения.

Спустя некоторое время Головач провел ночь за письменным столом, обдумывая заявление о выходе из партии. Утром, белый как мел, дядька Платон читал его своей единственной невольной слушательнице, которая спала в кабинете.

— Платон, — взмолилась она, — только не отсылайте!

Он, конечно же, отослал.

А потом пришлось писать покаянное письмо в ЦК. Мимикрия не была уделом подобных людей. Это были романтики идеи — коммуно-утописты.

…Думаю, что многие проблемы жизни Янки Купалы в советское время происходили от его неумения, а может, и нежелания подчиниться очередной «чиновнизации» системы. Тем более, что в разрушении предыдущей такой модели, под царскими знаменами, он уже принимал участие.

Нина Федоровна рассказывала неловкий и в то же время смешной факт «спасения» Купалы из одной такой ситуации. В 1934 г., во время Первого съезда Союза писателей СССР в составе белорусской делегации, как классик белорусской поэзии, состоял Янка Купала. Головач поехал на съезд с женой, которой было поручено опекать «дядьку Янку», чтобы тот случайно не перебрал.

Жили в гостинице «Москва». Головачи ненадолго отлучились и, возвращаясь, увидели у входа «дядьку Янку», который, удобно устроившись, пел «Шумел камыш». Головач, крепкий деревенский парень, взвалил дядьку на плечи и занес в номер.

Коль скоро речь зашла о съезде, скажу, что именно на этом съезде завязалась дружба белорусского писателя Платона Головача с французским прозаиком Роменом Ролланом. В дальнейшем они вели между собой оживленную переписку. Письма Роллана исчезли, арестованные, как и рукопись нового произведения, как вся уникальная библиотека писателя. Что до писем Головача, то, полагаю, их можно найти в музее Ромена Роллана в Париже.

Дружба с талантливым французом оставила свой след и в судьбе родных Головача. Сына, родившегося в 1936 году, назвали хотя и не Марленом[1], но не менее новомодно, чуть менее скучно — Роланом. К компании хотели пристегнуть и меня (я родилась в том же году). Моя мать уже успела с подачи дядьки Платона перечитать роман французского писателя и восхититься талантливым произведением. Героиню романа «Очарованная душа» звали Анной. Мать хотела дать мне это имя. К счастью, вмешался мой отец, в то время с головой ушедший в мир пушкинской поэзии — он переводил поэму «Цыгане».

Услышав, что я — и без того родившаяся так бестолково (27 января), с точки зрения его историко-литературных пушкинских ассоциаций, — должна к тому же всю жизнь существовать в ауре другой литературной героини — Анны Аркадьевны, мой отец взбунтовался. Так романтическая идея моей матери повисла в воздухе. Имя в конце концов дал мне дядька Платон, также по литературным ассоциациям, но на сей раз более актуальным — с Багрицким[2].

Дядьку Платона я помню. 15 июля 1937 г. он вернулся из командировки и привез мне из Москвы подарок — красное платьице с синим пушистым кроликом на кармане. Помню примерку, платье, зайца из синельки и густой русый чуб человека, наклонившегося ко мне — я стояла в детской кроватке. Он тогда, наверное, поцеловал меня.

Между Ксенией и дядькой Платоном, который ввел ее когда-то в свою семью, установилась, мне думается, энергетическая связь. Накануне ареста Головача, который, кстати, состоялся в день рождения Ксении, она увидела дядьку Платона во сне. Он сидит напротив по другую сторону большой поляны, под деревом. Ксеня видит, как с дерева на него опускается нож, очень похожий на нож гильотины. Она пытается криком предупредить его об опасности, но нож срабатывает быстрее.

Утром Ксения позвонила Головачу и сказала, что видела плохой сон, что ему угрожает опасность и что она просит его спрятаться куда-нибудь.

Что спрятаться невозможно, понимали оба. С некоторых пор в квартире Головачей буквально дежурила женщина — редактор издательства. Она приходила с рукописью книги, которую тот редактировал, и сидела днями. Ясно было одно — за ним следят.

Чтобы спрятаться, убежать, как это сделал муж маминой подруги Любы Витушко, Василий Яковлевич Головкин, известный уже в то время партийный деятель, нужно было иметь иной менталитет. Русский человек Головкин бросил все и стал пограничником.

За Головачом же кроме карьеры стояла идея возрождения культуры родного края, которой он посвятил жизнь.

О том, что Головач, возможно, догадывался о запущенном уже механизме репрессий, говорит его горькое свидетельство на суде против «нацдемов». «Твоего дядьку Платона Головача я видел последний раз 3 октября 1937 года на суде, куда его привели свидетельствовать против нас, что помоложе, — написал мне С. П. Шушкевич в записке, когда мы с ним сидели в каком-то президиуме. — Он был измученным, обессилевшим и сказал следующее: «Они так же невиновны, как и я». 29 октября твоего дядьки не стало».

А в записке, которую заключенные нашли за водосточной трубой на стене камеры, откуда забирали Головача, они прочли: «Прощайте, товарищи, история нас рассудит».

А тогда, в начале августа, он утешал Ксеню и обещал приехать к ней в Пуховичи в субботу, 10 августа.

---

[1] Марлен — советское «новое имя» — Маркс, Ленин.

[2] Стихотворение «Смерть пионерки» Эдуарда Багрицкого было очень популярно, и именем главной героини называли многих девочек, как позже, в начале 60-х, родилось много Юр, Гер и Валь в честь первых космонавтов.

10 августа он не появился. Утром следующего дня, часов в пять, Ксеня выбежала из комнаты с детским горшком в руке. Когда она пробегала мимо комнаты, которую занимала семья Кузьмы Чорного, дверь открылась, ее схватили и втащили в комнату. Это был сам хозяин. Он сообщил Ксении, что Головача вчера взяли. Ксения потеряла сознание. За мной весь день присматривали другие. Рогнеда Романовская, дочь Кузьмы Чорного, не раз говорила мне, что помнит меня еще в коляске.

Могу себе представить, как в тот страшный день я намозолила ей глаза.

…В конце 1980-х годов то ли в Новогрудке, то ли в Бресте, во время моего выступления по линии Бюро пропаганды Союза писателей ко мне подошел человек, который сказал, что видел, как посадили в «воронок» Платона Головача. Мальчишке было тогда лет десять. Его семья жила в Минске в одном доме с Головачом на Московской, 26. Мальчик играл во дворе, когда из подъезда вывели Головача.

— Он шел, склонив голову, и ветер развевал его русые волосы. В какой-то момент мы встретились взглядами. Он как бы почувствовал мое оцепенение. Его долгий выразительный взгляд я помню до сих пор…

…А Нина Федоровна вернулась в 1949-м.

— Тетя Нина, — спрашивали ее родные, — вы же были еще молодой, почему не вышли замуж снова?

— Я понимала, что такого, как Платон, мне не найти.

А для Ксении, его воспитанницы, закончилась юность. Это утверждаю не я, это она мне не раз говорила. Под «юностью» она понимала высокие идеалы своей жизни, которыми осветил ее сиротскую долю талантливый и самоотверженный сын белорусского народа Платон Головач. Память о нем мои родители пронесли через всю свою жизнь и всю жизнь не переставали пытаться отыскать его. Разговоры велись поздними вечерами, когда они думали, что дети спят. Однако тайна исчезновения дядьки Платона, видимо, занозой впилась в мое сознание. Их перешептывание я запомнила навсегда. «Пороком системы» называли они то, что произошло.

Рядом с Аркадием Кулешовым

Когда встретились мои родители, я могу только предполагать. (Точно это может знать Микола Микулич, записывавший на Нарочи свои беседы с Оксаной Федоровной Кулешовой в последние два или три года жизни. Ей, правда, тогда уже перевалило за 90.) Но известно, что они познакомились, когда начинающий поэт Аркадий Кулешов зашел вместе с другими писателями к Платону Головачу. Слово Алексею Зарицкому:

«Великолепный прозаик Платон Головач был большим знатоком поэзии. Он, например, тогда уже ценил стихи поэта Владимира Хадыки, труднопонимаемые малоподготовленным, поверхностным читателем. И писатели знали, что Головач слов на ветер не пускает».

Головача посещали многие писатели, в их числе и все те, что ходили когда-то «к Аркашке на поэтическую» (переулок Розы Люксембург, где «Мстиславльская троица» снимала комнату, а не улица, как упоминается в некоторых публикациях). Там бывали Кузьма Чорный, Владимир Хадыка, Алесь Кучар, Алексей Зарицкий, Заир Азгур, Ядвига Беганская, Алесь Вечар и другие.

Нам повезло: Алексей Зарицкий, хорошо знавший «Мстиславльскую плеяду», как назвал их Кондрат Крапива в сатирической поэме «Федос — Красный нос», почти с первых дней их житья в Минске, отставил про это интересные воспоминания. Позвольте мне время от времени обращаться к ним:

«Помню деревянный провинциальный дом на тогдашней городской окраине на улице Розы Люксембург, огородик с сиренью под окнами и травой поросший, почти деревенский, двор, где кудахтали куры и бормотал индюк. Помню комнату, где стояли три дивана, служившие кроватями трем поэтам — Юлию Таубину,

Змитроку Остапенко и Аркадию Кулешову. Возле каждого дивана стояла высокая бочкообразная корзина, куда поутру складывалась постель. Тогда на этих диванах можно было сочинять стихи и читать книги, поскольку три поэта, недавние студенты Мстиславльского педтехникума, имели всего один небольшой стол.

…Этот домик на окраине сделался на какое-то время приметным в тогдашнем Минске литературным кружком. Голоса многих писателей, оставивших след в нашей литературе, прозвучали в комнатке мстиславльцев. Точно уже не помню, сколько прожил Аркадий в доме Беганских, возможно, около двух лет, а может, и больше. Не это главное. Существенно то, что там, в среде талантливых и высококультурных друзей, в постоянном обмене мыслями с ними и многими другими одаренными литераторами, своими в этом доме, быстро и успешно развивался его талант…

За свой короткий век я увидел много чего хорошего и нехорошего. Но должен сказать, что никогда и нигде судьба не сталкивала меня больше с такой юной и талантливой плеядой, как мстиславльские».

В своей статье А. Зарицкий дает портрет Кулешова:

«Аркадий Кулешов, тогда скромный шестнадцатилетний юноша, свежерумяных щек которого еще не касалась бритва. Невысокий, но статный и свежий лицом, он напоминал молоденький боровичок, от которого веяло утренней жизненностью. Очень запоминались его примечательные своей вдумчивостью и проникновенностью глаза. При первой встрече они, казалось, спрашивали: «Ну сейчас посмотрим, кто же ты есть такой?» И в этой вдумчивой допытливости чувствовалась ранняя зрелость мысли и характера. Однако живая и временами резкая переменчивость этих юношеских глаз свидетельствовала о том, что характер у юноши сложный, что душа у него неукротимая, не чуждая могучим порывам и увлечениям. А выглядел он совсем пацаном, и при знакомстве меня, помнится, удивило, как такой зеленый подросток успел уже написать и издать целую книжку стихов — первый сборник Кулешова «Расцвет земли» вышел незадолго до нашего знакомства, когда поэту было всего шестнадцать лет. Но, познакомившись с Аркадием ближе, я быстро убедился в том, что поэзия для этого юноши была первоочередной жизненной потребностью. Исполненный новых замыслов, читал новые стихи и отрывки своей первой поэмы «Обида», поражавшие свежестью и самобытностью. Читал он не спеша, выразительно, подчеркивая соответствующей интонацией узловые места:

Цемень…
Цемень…
Сонца дзе?
Сонца няма…
Сонца у крыві?!
Маці!
Маці!
Прынясі свой светлы дзень
Да лясоў блакітных і чыстых крыніц.
Маці!
Напаследак сыну
Прынясі вады і кудзеры пагладзь…
Будзе рад тваім вачам ён сінім:
Чыстая вачэй тваіх суцішыць гладзь.
Але маці не пачуе,
Не пачуе…

Это строки о смерти маленького солдата, одного из героев поэмы «Обида». И мы, слушая их, чувствовали, что в белорусскую поэзию идет большой талант, который скажет свое новое слово.

У Аркадия был чистый и свежий тенор и безукоризненный музыкальный слух. Когда начинали петь, то Аркадий часто обращался к своему любимому лермонтовскому стихотворению «Выхожу один я на дорогу» или затягивал опять же лермонтовское «По синим волнам океана». Он любил радостные задорные песни, такие, как «Эх, полным-полна моя коробушка» или «Лявон Лявониху полюбил!» Очень по нраву ему были шуточные припевки и стремительные танцевальные мелодии. И нередко он просил двадцатидвухлетнюю дочь хозяев Ядю, чтобы она сыграла что-нибудь такое веселое, чтобы и поплясать можно было. И она садилась за пианино, и Аркадий, подпевая «Ой ты, полька-тармасуха, дождж ідзе — дарога суха», начинал плясать. Танцевал он под Ядину музыку и краковяк.

А разве мало знал Аркадий развеселых припевок, шуточных хотимских частушек. Напевая частушку, он обычно постукивал в такт ладонью по столу:

Мне не спіцца, не ляжыцца,
Есці мне не хочацца
Цераз таго паразіта,
Што за мной валочыцца.

Пропев одну частушку он, хитро подмигнув, затягивал вслед другую, еще веселее...»

Вот таким веселым, заводным юношей был когда-то Аркадий Кулешов. А приехал он в Минск в дешевой кепчонке и черной кожаной куртке с небольшим баулом, в котором самой дорогой вещью была рукопись его первой книжки.

Они встретились у Головача. Аркадий сидел, как и остальные, за столом и ожидал чаю, который наливала в кружку каждому племянница Головача, красивая девушка Ксения. Аркадий перегородил ей путь, опершись вытянутой ногой на ножку стола. Она, однако, не смутилась, не остановилась, не попросила разрешения пройти. Она просто мимоходом пролила на его ноги немножко кипятка. Парень вскочил, ошпаренный, под всеобщий хохот заорал: «Сумасшедшая!»

Ксеня была старше Аркадия и имела уже жизеннный опыт. Негативный, правда. Не очень давно она разошлась со своим гражданским мужем Виктором Немирой и не торопилась вновь попасть в подобную ситуацию. Виктор оскорбил ее достоинство, рассказав по возвращении из командировки о женщине, с которой познакомился там. Ксеня встала и молча пошла к двери. Он перехватил ее у выхода.

— Никуда ты не пойдешь! — заявил он, приставляя к виску жены пистолет. — Убью!

— Я здесь не останусь, и ты меня не убьешь! — сказала спокойно Ксеня, отводя руку с пистолетом…

Моему отцу было непросто добиться благосклонности этой женщины. Но и он был упорным.

— Что понравилось вам в Кулешове? — спросил у моей матери Микола Микулич.

— Он поразил меня своим умом, — ответила она.

«В тридцать пятом Аркадий познакомил меня со своей невестой, милой девушкой Оксаной[1] Вечар, двоюродной сестрой поэта Алеся Вечара и сестрой жены уже известного в то время талантливого прозаика Платона Головача. С Головачом Аркадий был в добрых товарищеских отношениях. Это еще не было дружбой, но после Таубина и Остапенко Платон Головач, насколько я знаю, был для Кулешова в Минске самым близким человеком. Аркадий очень уважал и ценил его талант прозаика, а также его глубокую участливость. Мне в периоды посещения Минска повезло несколько раз встретиться с Платоном Головачом: он был редактором моей первой книжки стихов. И даже эти считанные короткие встречи оставили у меня

[1] Ксению Вечар стали называть Оксаной после войны, когда они с Кулешовым поженились официально (1951 г.). В новых документах она стала Оксаной Кулешовой. Воспоминания А. Зарицкий писал, когда ее давно уже звали Оксаной.

впечатление о нем как о человеке высокой культуры и тонкого интеллекта, принципиального литератора — коммуниста, поставившего перед собой целью служение литературе, а не пользование ею ради собственной выгоды. Это был человек, красивый и статью, и лицом, и душой, и талантом своим, могучим и притягательным. Прозаик всей сущностью своего большого дарования, он глубоко понимал и знал поэзию, и любил ее преданно. И для меня, тогдашнего новичка в поэзии, немалой удачей было иметь редактора с таким пониманием и с такой доброжелательностью. На протяжении всего моего многолетнего знакомства с Кулешовым я никогда не слышал от него ни одного недоброго слова про Платона Головача…

Немного спустя Оксана и Аркадий пригласили меня на свадьбу. Она была предельно скромной. Единственным гостем на этой свадьбе был я. Аркадий в день свадебного торжества купил где-то в центре Минска полуторную металлическую кровать, и мы на руках ее дотащили аж куда-то на окраину, на Мопровскую улицу, где жених уже заранее снял в привлекательном домишке убогую комнатушку, от которой теперь с глубокой обидой отказался бы самый беспомощный литературный новобранец. И стол был небогатый — немножко сыра, колбасы да ветчины и четвертинка русской горькой. Это была первая чарка водки, которую я выпил с Аркадием за пять лет дружбы с ним. Скромная это была свадьба, очень скромная. И время было такое, когда осуждалось роскошное застолье, да и денег у нас было не слишком, купило, как говорится, притупило. После той небогатой свадьбы мне в послевоенное время пришлось побывать на десятках свадеб, где гремела музыка и столы прогибались под блюдами с разнообразной закуской, под множеством бутылок с водкой, коньяком и разными винами. Но, признаться, я их почти не помню: все они со временем слились в моей памяти в некое одно колоссальное застолье с однообразными песнями, неизменными тостами, выкриками «Горько! Горько!». И с обязательной «пальбой» при открывании бутылок шампанского. А вот эта тихая кулешовская свадьба запомнилась навсегда. И теперь, стоит только закрыть глаза, вижу ту бедную комнатушку на Мопровской, дешевые ходики на стенке, оклеенной дешевыми обоями, полуторную кровать, столик с одинокой четвертушкой, и такие молодые, такие счастливые лица Оксаны и Аркадия. А на следующий день мы сфотографировались втроем… Все было по-молодому — хорошо и искренне. Но потом, через много лет, я как-то узнал, что перед свадьбой участливый Платон Головач сказал Оксане: «Ты выходишь замуж за человека со сложным характером, и жизнь твоя будет нелегкой».

…В тридцать шестом Кулешовы уже имели первенца — дочку Валю — и жили в благоустроенной квартире, полученной стараниями Союза писателей. Пускай одну комнату занимала подсоседка, новую квартиру со всеми удобствами в многоэтажном новом доме на Московской улице никак нельзя было сравнить с теми старинными каморками, в которых Аркадию приходилось жить раньше. И молодая семья радовалась как своему первенцу, так и своей новой уютной солнечной квартире».

Для точности скажу, что не только Головач предупреждал Ксению о том, что характер у Кулешова сложный. Он и сам сказал, что ничто обыденное не будет для него более значительным, чем поэзия. Жена, видимо, считала, что сможет приноровиться к особенностям характера будущего спутника жизни.

Возможность представилась скоро и была связана с увлечением Аркадия шахматами. Тот, кто интересуется творчеством Кулешова и его личностью, знает, что поэт всю жизнь играл в шахматы, городки и «пульку». Особенно часто и подолгу играл в шахматы. В зрелом возрасте он играл на уровне кандидата в мастера спорта. Мы, члены семьи, так, вероятно, и считали бы это увлечение тратой времени, если бы недавно, в феврале 2007 г., мой сын, а его старший внук Владимир Берберов в интервью Могилевскому радио, рассказывая про дедово шахматное хобби, не высказал вдруг интересное мнение. Он пришел к выводу, и, видимо, верному, что шахматы были для Кулешова не только тренировкой ума, но и содействовали творчеству, тренируя комбинаторное мышление, без которого

невозможна серьезная поэзия. Известно, что Кулешов не делал черновиков. Редкое исключение, когда стихи приходили к нему невовремя: если был занят чем-нибудь иным. Тогда он хватал лоскуток бумаги — а это могла быть и газета, — и начинал быстро записывать.

Обычно работал он лежа. Дома, возле редакционной землянки на переднем крае фронта, под деревьями на берегу речки Ольшовки, притока родной Беседи. Кулешов, как полагает Владимир, имел необычайно большой объем памяти, позволявший ему слагать определенные стихотворные фрагменты, подобно шахматной партии, в голове. Так что письменный стол с пишущей машинкой, которую привез ему в 1946 г. из Германии коллега, такой же, как и он, военный журналист Максим Нечетов, служили ему только на конечном этапе: для записи стихотворения. (Вот сколько понадобилось времени, чтобы понять простую, казалось бы, привычку великого поэта. А тогда, в молодости, как, впрочем, и всегда, она казалась его жене надоедливой придурью мужа.)

«Однако вернемся на Московскую улицу. Теперь, приезжая из Москвы домой, я останавливался у гостеприимного Аркадия в его новой квартире, и мы ежевечерне продолжали матчи в его кабинете. Азартные игроки, мы засиживались порой аж до третьих петухов, и тогда, наверное, ревнуя мужа к прилипчивой богине шахмат Каиссе, перед нами в домашней халате неожиданно являлась разгневанная Ксана и одним махом руки сметала с доски шахматные фигуры. Но мы, ярые игроки, всегда помнили, какие позиции занимали сброшенные фигуры и утром восстанавливали на доске разрушенную партию, чтобы при первой возможности снова начать беспощадное сражение».

Видите, «всегда помнили»… Это еще одно косвенное подтверждение связи между шахматами, памятью и творчеством.

Вернемся, однако, к первенцу — Вале. Даже Алексею Зарицкому показалось, что он имеет дело с семейной идиллией. А между тем эта идиллия имела довольно драматическую окраску и стала для молодого поэта первым испытанием его поэзии семейной жизнью.

Дело в том, что, будучи деревенской сиротой, моя мать в детстве много работала физически. Это, видимо, отразилось на формировании ее тазовых костей. Результатом стали тяжелые первые роды. Достаточно сказать, что они длились четверо суток.

Что касается Вали, то попытки покинуть материнское лоно обернулись для нее тяжелой болезнью — «пляски святого Витта», как называла ее мать. Выглядело это очень неэстетично — первые полгода у ребенка периодически начинало неожиданно перекашиваться лицо. Смотреть на это отец не мог и просто прятался в соседней комнате. Врачи, к которым молодая мать обращалась, отмахивались, советуя ей готовиться к худшему — ребенок может не выжить.

Однако Ксеня была упрямой женщиной и самоотверженной матерью. Она добилась встречи с неким крупным ученым, и тот дал ей спасительные рекомендации.

После таких испытаний мои родители больше не отваживались заводить детей, но весной 1936 года был принят закон о запрете абортов. Население страны нужно было увеличивать. Как результат — в январе 1938 года появился второй ребенок, мой брат Владимир.

В 1940 году Аркадий Кулешов возобновил занятия в пединституте, который бросил после ареста друзей-мстиславльцев в 1933-м. Там он и встретился со своим учеником[1] молодым поэтом Миколой Аврамчиком. Это с подачи Кулешова деревенский парень, девятиклассник, был замечен и впервые его произведения были напечатаны в республиканской прессе. Как с настоящим другом поделился с ним Аркадий своими суждениями о семейной жизни.

---

[1] С 1935-го по 1937-й А. Кулешов работал литконсультантом по поэзии в кабинете молодого автора при СП БССР.

— Знаешь, Микола, я очень люблю и Ксению, и детей, однако не советую тебе торопиться с женитьбой. Говоря откровенно, семейная жизнь — не поэтово занятие.

И у него были основания так говорить. Мои родители не имели никакого представления о воспитании детей. Их самих никто не воспитывал. И особенно — мать.

И вдруг — дети. Девочка и мальчик. Что с ними делать? Хуже всего, что этого не знала мать. Началось все с того, что беременность скрывали от дочери, и когда мать оказалась в роддоме, дочь слышала ее голос только в телефоне (до сих пор помню тот черный телефон, висевший на стене, какое-то время заменявший мне мать, свидетельствуя, по меньшей мере, о ее существовании. Как я ее ждала!). И вот настал день ее возвращения. Я бегу к двери. Бросаюсь к матери, чтобы прильнуть, и вдруг вижу в ее руках сверток, который не только мешает ей протянуть навстречу мне руки, а еще и начинает скулить. Я поняла — в доме враг. Нужно защищать от него свою семью.

Неделю я не вылезала из угла между стеной комнаты и торцом дивана. Наконец план готов. Средство расправы — тяжелый деревянный деревенский праник-утюг; кровать моя, кстати, на другом конце комнаты, напротив двери. Я жду одного — когда мать выйдет из комнаты. Она, наконец, выходит! В мгновение ока я хватаю праник, детский стульчик, приставляю его к кровати, где, умильно причмокивая пухленькими губками, мирно спит ребенок, заношу над ним орудие. И тут как шальная врывается мать и в последний момент сбрасывает меня вместе с праником со стула.

Мать требует, чтобы отец наказал меня, — я же чуть не убила ее ребенка, сына! (Немного недоношенного из-за ареста Головача, который произошел во время ее беременности.)

И вот меня бьют по попе. Как страдает отец! У него перекошено лицо, процесс экзекуции он выполняет так неуклюже, что у меня, прижатой одной рукой к дивану, исчезает желание вырваться.

Не понимаю одного: почему он, причитая, почти неделю возвращается в разговорах к этому событию.

В конце концов матери это надоело, и она сказала что-то вроде:

— Наказание детей — дело мужское.

Больше он никого из детей никогда не бил, раз и навсегда сложив с себя «мужские» полномочия.

Мне же понравился этот толстогубый, пухлый малыш, и я установила с ним собственные взаимоотношения: начала втихаря от родителей угощать его конфетами, «мишками», которые в гонорарные дни приносил отец. Слава Богу, я уже тогда была очень предусмотрительной и, развернув конфетку, держала ее за один край, пока Володя жадно обсасывал другой. Идиллия закончилась коклюшем. Заболели оба.

Как же было отцу считать, что семейная жизнь способствует поэзии? А мать, окончившая, между прочим, нархоз, как всякая добропорядочная советская женщина, рвалась на работу. В конце концов она отбросила кухонное рабство. Вале тогда было четыре, а Володе — два. Вырвалась она благодаря своей свекрови Екатерине Фоминичне, приславшей няньку, Кристину Афанасьевну, свою выпускницу.

До начала войны я успела еще раз заболеть. На этот раз дифтеритом. Дом был переоборудован в стационар инфекционной больницы, где мы с матерью занимали одну из двух комнат. Что делалось за ее дверями, я не знала, так как мы были в полной изоляции. Помню долгое однообразное лежание и одно чудесное мгновение — появление Пимена Панченко. Помню, как дверь нашей комнаты распахнулась и на пороге появился невысокий, но статный военный в форме. Он передал нам конфеты и куклу с глазами, которые закрывались, и исчез лет на десять, подбросив моему детскому уму загадку: что в его «названии» имя, а что — фамилия.

И другую: почему кукла закрывает глаза. Последнее решалось проще — через эксперимент. Поправившись, я встала и треснула керамической головкой голубоглазой куклы о косяк двери. Мать меня не поняла. Для нее это было расточительством: я испортила красивую и дорогую вещь. А я до сей поры помню, какое простое приспособление лежало в основе движения кукольных глаз.

Кроме семейных неурядиц случались и социальные.

Я уже писала, что был момент, когда мою мать, круглую сироту, исключили из института, обвинив в том, что она — дочь белогвардейца. Тогда за нее вступился Платон Головач. А теперь Головача не было, и вражеский слушок всплыл снова: в комсомольскую организацию Союза писателей пришла анонимка, в которой утверждалось, что Ксенин отец не умер, а сбежал в Польшу, где занимается подрывной деятельностью.

Аркадию Кулешову предложили развестись с женой, если он не хочет быть исключенным из комсомола. Угроза была серьезная, тем более, что после ареста Головача Кулешова перестали печатать.

Развестись он не согласился, но по следам этого происшествия родители договорились, что если одного из них арестуют, то второй, чтобы уберечь детей и себя, должен от него отречься. Такой прием выживания общество уже успело выработать ценой потери близких. Детей Платона Головача, кстати, разобрали родственники. Но на это надежды было мало, чаще всего они попадали в детские дома.

Надвигалась война. Ее приближение отец чувствовал. Помню книжку в мягкой обложке, носившей название «Баранов Василь», а также другую — «Мы живем на границе», подобные заполонили наш дом в предвоенный год. Была и поэма «Парни последней войны», написанная в 1940-м, само ее название свидетельствует о том, что мысли о войне не отпускали автора.

Шел май 1941-го. Отца, как всегда, тянуло в родные места, к родителям, а мать мечтала увидеть Аллу Тарасову в «Анне Карениной» — в Минск на гастроли в июне должен был приехать МХАТ.

Договорились, что мать с детьми поедет в Дом творчества «Пуховичи», который в Марьиной Горке, а отец — в Хотимск, куда он и отправился 23 мая, а мы поехали в Пуховичи, где и застала нас война.

Уезжая, он сказал жене:

— Ксеня, если вдруг начнется война, немедленно отправляйся в Хотимск. И еще: если тебе удастся сберечь обоих детей — я буду считать тебя героиней.

В начале войны

Стоял солнечный день последней декады июня. Мы, женщины и дети Дома творчества писателей «Пуховичи», загорали на песчаном пляже у реки, когда прибежала взволнованная Вольская и выкрикнула:

— Война!

Тихий пляж загудел, как улей. Мама вскочила на ноги и сказала, что она должна ехать в Минск за теплой детской одеждой.

Обхватив ее ноги руками и всхлипывая, я напомнила ей наказ отца, который он дал ей при мне, уезжая к родителям в Хотимск.

Мы выехали первым поездом, шедшим туда. Потом стало известно, что он был и последним, который еще не бомбили.

Думается мне, что мы сели в тот поезд 23 июня утром. Днем он где-то пересекся с тем, в котором мой отец возвращался в Минск из Хотимска.

Он, по-видимому, считал, что жена прислушается к его довоенному совету и ехать мы будем именно этим поездом, так как он ходил раз в день.

И на той станции, где поезда встречались, он, лежа на своей верхней справа полке, всматривался в каждый вагон нашего, стоявшего на станции поезда, пока тот медленно проплывал мимо.

Я тоже всматривалась во встречный поезд и увидела торчавшую из окна голову папы.

Мамы в купе не было: они с Володей куда-то вышли. Наше грязное окно было закрыто, и сквозь него едва ли можно было что-то рассмотреть. Я звала маму и, повиснув на скобе окна, пыталась открыть его. Окно не поддавалось, а мама не появлялась. Не буду говорить о своем состоянии. Мама мне не поверила. А правда случайно выплыла в канун 1978 года. Мы сидели тогда за новогодним столом и вспоминали прошлое. Мама почему-то вновь вернулась к событиям того дня.

— Знаешь, Аркадий, — сказала она с легкой иронией в голосе, — Валя утверждает, что видела тебя во встречном поезде.

Папа вдруг насторожился и начал расспрашивать меня об обстоятельствах той встречи. Выслушав мои объяснения, он не без волнения заметил:

— Да, это действительно был я.

А что, если бы он увидел нас? Его поезд двигался вдоль нашего так медленно, что он успел бы перескочить в наш. И поехал бы с нами обратно в Хотимск, к родителям, потому что у него едва ли хватило бы духу оставить нас одних на дорогах войны.

Я уже давно поняла, и между прочим, более всего на этом примере, что почеловечески счастливая судьба творца — это его неудачная творческая судьба. И в самом деле, если бы он не доехал до Минска, если бы под той ужасной бомбежкой 24 июня не искал напрасно по Минску военкомат, если бы не оказался на территории автобата в Колодищах, где потерял сознание, поняв, что войска разбегаются, если бы случайные попутчики не вынесли его, инфарктника, на восток через борисовские болота на самодельных носилках, если бы не шел он по Московскому шоссе в толпе беженцев, став свидетелем страданий мирного населения, если бы, наконец, не догнал военкомат в Орше, если бы не попал в военное училище в Калинине, а оттуда на Калининский, а потом на Брянский фронт, если бы не вошел с армией Конева в Новобелицу, — он вряд ли написал бы такие проникновенные стихи и поэмы военной поры, и особенно непревзойденную по художественному уровню и глубокой народности поэму «Знамя бригады». Давая высокую оценку поэме, Александр Твардовский заметил, что, возможно, когданибудь появится и лучшая, посвященная войне. Думаю, что Александр Трифонович сказал так потому, что «Знамя бригады» Кулешов читал ему в ноябре-декабре 1942 года, в начале войны, когда можно было надеяться на появление не менее талантливой поэмы про войну. И она, вероятно, могла бы появиться у таких поэтов, как сам Александр Твардовский, как Семен Гудзенко, как Алексей Сурков или Константин Симонов, и особенно тот неизвестный поэт, автор стихотворения «Мой товариш, в смертельной агонии…»[1], если бы условия их жизни сложились иначе. Я имею в виду не «Василия Тёркина», хоть последний свидетельствует о другом направлении реализации таланта Твардовского или даже об отсутствии у него кулешовского опыта впечатлений войны. Уникального по всеобъемности. Не думаю, чтобы Твардовский допускал, что стихи пишутся как проза, вне непосредственного воздействия сиюминутной эмоции. Мой отец, между прочим, чувству, как фактору поэзии, придавал первоочередное значение.

Вернемся, однако, к нам.

---

[1] Мой товарищ, в смертельной агонии
Не зови ты на помощь людей,
Дай-ка лучше согрею ладони я —
Над дымящейся кровью твоей.
И не плачь, не скули, словно маленький,
Ты не ранен, ты просто убит.
Дай-ка лучше сниму с тебя валенки,
Мне еще воевать предстоит.

А что если бы вдруг все сложилось наилучшим образом и отец вернулся с нами в Хотимск? Не погиб ли бы он тогда при обороне Могилева?

Как дальше мы добирались до Хотимска, — я не помню, хоть это, очевидно, было непросто: ведь поезд из Минска и теперь прибывает на станцию Коммунары, которая находится в 35 километрах от Хотимска.

Но зато я помню, как чудесно мы жили там, словно отдыхая, до 15 июля, когда внезапно появились две полуторки и вырвали нас из этой идиллии.

В нирване, безусловно, находилась только я и, возможно, сводная сестра отца, Тоня, которая была старше меня лет на шесть. Когда приехали те полуторки, мы с нею плескались под сваями моста через Беседь.

Нас — маму, тетю Надю, меня и брата — посадили в кузов, и машины поехали дальше. Старики не поехали: держало хозяйство. (Хорошо еще, что бабушка успела забросить в кузов алюминиевый чайник и платок-плед.) Моим дедам было тогда за пятьдесят. На их памяти была Первая империалистическая, в которой дедушка принимал участие в качестве фельдшера, но инерция мирной жизни взяла верх, оказавшись сильнее предчувствия опасности.

В тех полуторках вывозили документацию газет. То ли «Чырвонай змены», то ли «Советской Белоруссии». Брать посторонних в служебный транспорт возбранялось. Что мы — семья поэта Аркадия Кулешова — в Хотимске, знал литературный критик Алесь Кучар, о чем и сообщил Зимянину, когда они проезжали по этим местам. Заехать за нами Михаил Васильевич согласился не сразу. Во-первых, он не хотел нарушать инструкцию, а во-вторых, понимал опасность ситуации. Хотимск находился в танковых клещах немцев, они уже захватили Рославль.

Наши полуторки двигались не по дорогам, а по лесным дорожкам и просекам. Нам повезло. Как нам теперь известно, танковый корпус Гудериана получил тогда неожиданный приказ: в Рославле повернуть на юг, на Киев.

А нас лесными дорогами довезли до Клинцов. По сей день помню того вздыбившегося коня, когда наша полуторка с ходу ворвалась в машинный двор, чтобы заправиться.

Еще в Хотимске Зимянин от руки написал маме бумагу под названием «Удостоверение», которая служила ей документом всю войну. Вот ее текст:

15.VII.41 г. *ЦК ЛКСМ Белоруссии*

Удостоверение

Предъявитель сего, тов. Вечар Ксана Федоровна — жена белорусского писателя т. А. Кулешова, — направляется с детьми в г. Саратов, в порядке эвакуации.

ЦК ЛКСМБ просит все партийные, комсомольские и военные органы оказывать тов. Вечар содействие в продвижении.

Секретарь ЦК ЛКСМ Белоруссии: Мих. Зимянин
(Печать ЦК ЛКСМ Беларуси)

Из Клинцов мы должны были ехать на Брянск и далее в глубь России. Кучар сказал нам, что семьи писателей из Дома творчества «Пуховичи» направили в эвакуацию в Ново-Бурасы, что под Саратовом. Вечером нам удалось сесть на открытую платформу (такие и поныне используют для транспортировки техники).

Вот когда нас выручил бабушкин платок. Мама с Надеждой Александровной (сестрой отца) по очереди сажали детей себе на колени и вместе с ними закутывались в платок.

Из Брянска мы ехали уже в телятнике, битком набитом беженцами. Все вповалку лежали на полу. Несмотря на то, что вагон без крыши, было жарко, душно и хотелось пить. Реальной была и опасность завшиветь.

На какой-то станции поезд остановился. Сколько он здесь простоит — никто не знал. Двери вагона открылись, и мама, схватив чайник, выбежала на платформу.

Помня, что у нее слабое зрение, я стала у распахнутых дверей и не отводила глаз от угла того желтого станционного строения, за которым она скрылась. Наш поезд прибыл на первый путь, и водокачка, скрывавшаяся за ним, была от нас неподалеку. Смело можно было рассчитывать на то, что воды набрать мама успеет.

Вагон вдруг дернуло, и поезд пошел. Слава Богу, он не покинул станцию, а маневрировал на станционных путях. Когда он, наконец, остановился у одной из дальних платформ, мы поняли, в чем дело: по первому на всех парах проследовал, вероятно, воинский эшелон.

Я пыталась не упустить из поля зрения тот дом, но его время от времени что-нибудь все-таки перекрывало. Я не покидала своего наблюдательного пункта, но не была уверена в том, что не просмотрела маму. Меня уже охватывало отчаяние, когда я увидела ее. Она выбежала из-за строения, стала как вкопанная и выпустила из рук чайник.

— Потеряла детей по собственной глупости, — рассказывала мама своему внуку, моему сыну Владимиру Берберову. — «Мама, мама!» — услышала далекий Валин голосок и поняла, что поезд перегнали. Я взяла чайник и пошла на звук.

На пути в Саратов ничего особенного не происходило.

Написав эту фразу, я вспомнила, как было жарко в вагоне, в котором ехали семьи офицеров и куда нас, преодолев их сопротивление, подсадило станционное начальство.

Вспомнила, как понравился мне этот вагон, потому что здесь я впервые увидела лавки, изготовленные из светлых, сосновых, по-видимому, реек, покрытых лаком. Тут было много света, женщины были хорошо одеты, и все выглядели празднично. Нас, однако, почему-то встретили в штыки. А когда мама на какой-то станции снова выбежала по воду и вернулась вся мокрая, в плотно облепившем фигуру платье, поднялся хохот.

То ли от жары, то ли от напряжения, у женщины, которая была закоперщицей всего происходящего в вагоне, вдруг пошла носом кровь. Никто не пытался ей помочь, или не знал, как это сделать. Она сидела на лавке, и кровь заливала ее красивое платье. Тогда за дело взялась мама. Она уложила больную на скамейку и приложила к переносице полотенце, смоченное в холодной воде, которую только что принесла в чайнике. Меняя время от времени холодные компрессы, она остановила кровь, и женщина, хоть и не сразу, но пришла в себя. Так разрешился этот социальный конфликт, и дальше мы ехали уже в нормальной обстановке.

А еще мне запомнилась необычайно широкая река, над которой проносился наш поезд.

— Смотри, какая могучая река, — сказала мне мама. — Это Волга. Ты еще не раз услышишь о ней.

В Саратове, который не обминул ни один из тех поездов, которые шли с востока на запад и обратно, находился крупный эвакопункт, где, как подсказали маме, помогали беженцам. Там она получила информацию про Ново-Бурасы и теплую одежду для меня и Володи. Вот где потребовались и мамина деревенская компанейскость, и ее красота с польским оттенком. Вообще же деревенское детство мамы, которое тяготило ее всегда, срабатывало то «за», то «против» нее. В экстремальных условиях — «за».

Когда мы осели в Бурасах, где нас поселили в одной комнате-классе местной школы вместе с семьями Кузьмы Чорного[1] и Алеся Кучара, пришлось думать о пропитании.

Мама вызвалась пойти в разведку в одну из ближайших деревень. На обратном пути к ней присоединился мужчина, который заговорил с ней, и так, беседуя, они вошли в Бурасы. Прощаясь, попутчик вынул из-за пояса топор и сказал:

— Видишь, я ведь мог тебя убить. Как ты решилась пойти одна в незнакомую деревню?

[1] Кузьма Чорный — крупный белорусский прозаик.

Думаю, что слова маминого попутчика были полностью безосновательными. Но за продуктами в деревню она пошла уже с Любой Кучар.

Вспоминается, между прочим, и смешной эпизод той жизни. Не помню, откуда взялась та чисто вымытая и старательно выглаженная матроска, в которую воскресным днем нарядили моего брата. В ней мой миловидный брат смотрелся франтом. Это вызвало зависть Феликса, и он толкнул нашего пижона в лужу. Когда мы с Ирой появились во дворе, то узрели такую картину: Володя сидит в луже и плачет. Выбравшись из нее и увидев, во что превратился его наряд, он уже заревел во весь голос и, обращаясь к Феликсу, потребовал:

— Сделай как было!

Несмотря на русскоязычное окружение, мы с Ирой разговаривали по привычке по-белорусски, а дети, которые были младше меня, — уже по-русски.

В Бурасах мы воссоединились с семьями писателей, с которыми в начале лета отдыхали в Пуховичах. Там находились семьи Змитрока Бядули и Виталия Вольского и пан Деголь (так звали писателя из Западной Белоруссии). Других мужчин среди нас не было. Все остальные в нашей белорусской колонии — это женщины и дети: семьи Василия Борисенко, Кузьмы Чорного, Алеся Кучара, Кондрата Крапивы, Петруся Бровки, Аркадия Кулешова и Майя Климкович.

В том году уродило жито. Но собирать его было некому: мужчины-комбайнеры переквалифицировались в танкистов и ушли на фронт. А жать вручную никто не умел. Руководство колхоза обратилось к беженцам с просьбой о помощи. Оказалось, что две из наших женщин умеют жать серпом. Это была Елена Атрахович, жена Кондрата Крапивы, и Ксения Вечар, наша мама.

Они работали весь день, много нажали и получили большое вознаграждение. Пришли домой счастливые, что могут зарабатывать на себя и детей. Назавтра у нас с Володей поднялась высокая температура. Мы заболели корью, и мамина работа на этом закончилась.

— Можешь представить себе мое отчаяние, — рассказывала мама. — Наконец появилась возможность зарабатывать, и тут вы заболели. У обоих температура под сорок, денег нет ни на пищу, ни на лекарства. Есть вода. Чтобы подогреть ее, нужны дрова, но их тоже нет. Есть только хворост. В отчаянии я начинаю насекать его и разрубаю себе большой палец. Зажимая его правой рукой, опускаюсь на землю и заливаюсь слезами.

— Вечар, это вы? — спрашивает человек, который в это время показывается во дворе.

— Я.

— Ваш воинский аттестат.

Воинский аттестат — это денежный перевод. А еще это значит, что отец жив, что он на фронте и знает, где мы.

Хорошие отношения с местным начальством сохранились и работали на ситуацию всей нашей белорусской колонии до конца ее пребывания в Ново-Бурасах.

У жены Петруся Бровки Лёли, как называли ее старшие, жил в Алма-Ате брат, и она с сыном Юрой, моим ровесником, поехала к нему.

Спустя некоторое время мы получили письмо, в котором она советовала нам переезжать к ним.

Была поздняя осень, кажется, 19 октября, если верить моей матери, когда мы отправились в путь. К решению ехать в Алма-Ату нас склонила, возможно, ситуация, что сложилась в то время под Москвой.

Взрослые обратились к местному начальству, и нам выделили бензин и две полуторки, что по тем временам было большой роскошью.

Утром подали машины, и все начали собираться. Не было только семьи Плавников. Наконец стало известно, что жена Змитрока Бядули расчинила хлеб и ехать сейчас не может.

Назавтра был хлеб, но уже не было машин. Взамен нам предоставили пару телег. На них разместили наши пожитки и посадили Иру с Вовой и нас с Феликсом.

Старшие дети вместе со взрослыми месили чернозем, в котором утопали так, что у Алика (Артура Вольского) осталась в том месиве калоша.

Эта влажная, топкая черная земля с той поры видится мне в снах. А Ира вспоминает желтое поле несобранного подсолнечника, который обступал дорогу.

Наконец мы в поезде. Ехать до Уральска недолго, может, около часа. Но планировать что-нибудь, что связано с железной дорогой, не приходится: движемся медленно, а если останавливаемся, что может произойти и посреди поля, то не известно, сколько простоим.

Одна из остановок оказалась короткой. Стали действительно в степи, после долгого переезда. Все высыпали на насыпь. Но поезд вдруг дернулся и медленно поплыл вперед. Все успели вскочить в вагоны, кроме Бядули. Сердечник он был и в свой вагон не попал. Какие-то мужчины схватили его за поднятые вверх руки, втащили в вагон, проходивший мимо.

Помню, как оттуда прибежал Алик и сказал, что Бядуля умер. Мама пошла за ним. Однако ничего уже нельзя было сделать. Бядуля не дышал. Минут через двадцать поезд остановился в Уральске. Общую мысль озвучила Ксения Вечар:

— Выходим, семью Бядули нельзя бросать в беде.

Все высыпали на перрон. Бядулю положили на кучу черного угля, который бросали в топку паровозов. Тело его к тому моменту еще не остыло.

Вечером все мы вместе с Виталием Вольским смотрели его «Нестерку» в постановке витебского театра, который находился здесь в эвакуации. В партере театра мы и провели первую ночь в этом городе. Это было мое первое знакомство с самым живым видом искусства. Запомнились мне и шикарные плюшевые кресла, в которых мы спали после спектакля. Да и как было не запомнить их, так отличавшихся от грязных дощатых полов многочисленных телятников и теплушек наших военных дорог.

Однако через день-другой все мы стали чесаться. Паразитам, видимо, тоже понравился бордовый плюш театральных кресел.

С родным витебским театром нам повезло. Актеры с радостью занялись нами. Мы поняли: Алма-Ате суждено остаться нашей несбывшейся мечтой.

Взявшись за дело всем театром, нас распихали по всему Уральску. Семьям Чорного и Кулешова досталось мазанка на берегу Урала. В той однокомнатной мазанке с русской печью посередине и глиняным полом мы жили коммуной. Каждый нашел здесь друга по себе. Старшие — Ревекка Израилевна, Ксения Федоровна и Надежда Александровна быстро нашли общий язык с хозяйкой нашей, Ульяной, и ее восемнадцатилетней дочерью Раиной. Для нас, детей, она стала эталоном мужества: летом сорок второго мы с восхищением и ужасом одновременно наблюдали, как она переплывала Урал. Когда она выбралась на противоположный берег, ее уже было чуть видно. Чтобы вернуться обратно, ей пришлось пройти по берегу вверх по течению несколько сотен метров.

Наблюдая за маневрами Раины, мы не сразу поняли, что цель ее пешеходного маневра сводилась к борьбе с быстрым течением Урала.

Мы, дети — Ира, Вова и я — подружились с теленком, который жил вместе с нами в мазанке всю мрачную осень и солнечную снежную зиму с лютыми морозами. Мы, беженцы, занимали две кровати. На одной «валетом» размещалась наша семья, на другой — Чорного.

Смотрю на фотографию, сделанную в Уральске. На ней мы, дети — Вова и я, — а над нами, осеняя нас руками, словно крыльями, стоит, как орел и наседка одновременно, наша мама.

Все в зимней одежке, которая свидетельствует о жестоком нраве местных зим. Помню, как часто растирали щеки и пальцы и как мама рассказывала о том, что случилось с нею, когда на улице ее застала пурга.

— Когда началась пурга и я поняла, что уже не ориентируюсь в пространстве, кто-то схватил меня в охапку и втащил в дом, мимо которого я в тот момент прохо-

дила. На меня набросились всем зимовьем: кто-то растирал мне руки, стащив с них верблюжьи рукавицы, тер щеки, а кто-то подогревал чай. Потом мне объяснили, что во всем этом нет ничего необычного. Это простой уральско-сибирский обычай: человек, застигнутый пургой, вынужден искать убежище в доме, который он еще видит.

Вспоминается еще один эпизод нашего уральского житья-бытья, в котором женщины выбирали делегаток для похода в горисполком. Выбрали Любу Кучар и Ксению Вечар, как наиболее колоритных. А поскольку неопрятный вид просителя не вызывает сочувствия, а соответственно и желания помогать, то наших красоток наряжали всем скопом. Не последнюю роль в этой акции играл традиционный советский белый берет и кроваво-красная помада.

Пришла весна. Солнечным воскресным утром в наш мазанковский угол из своего заглянула празднично одетая тетя Ульяна с миской разноцветных яиц и вместо традиционного приветствия сказала, обращаясь ко всем:

— Христос воскрес!

— Воистину воскрес! — отозвалась Ревекка Израилевна и была вознаграждена крашеным яйцом.

— Христос воскрес! — снова сказала хозяйка, обращаясь к Ире-Рогнеде.

— Воистину воскрес! — ответила девочка и получила свое яйцо.

Так повторилось еще трижды — с моей мамой, тетей Надей и даже маленьким Володей.

Когда же очередь дошла до меня, я не смогла произнести традиционно «Воистину воскрес!», потому что не знала, что они означают. Я никогда не слышала ни про Христа, ни про Пасху, ни про прекрасный пасхальный обряд. А бездумно выполнять то, что от меня почему-то требуют, я не могла никогда. Взрослые же, которым очень хотелось, чтобы я разделила с ними общую радость, только дивились моему немотивированному, с их точки зрения, упрямству.

В июне сорок второго наш коллектив распался. Кузьма Чорный, который в это время работал в Москве в Центральном штабе партизанского движения, вызвал семью к себе. Вскоре мы получили оттуда письмо, единственное, которое моя мать, не придававшая бумагам никакого значения, почему-то сберегла, как и некоторые из отцовских. Привожу его текст:

27.VI.42 г.

Дорогие! Приехала в Москву вчера около 5 часов дня. Чорный меня не встретил, и Антонов долго звонил, покуда дождался его. Наконец он приехал на вокзал вместе с Глебкой, и мы отправились в гостиницу, где я не знаю, как ступить и как сесть, после уральской обстановки. На лестницах везде ковры, в номере мягкая мебель в чехлах, телефон, радио, тут же в коридоре к номеру уборная, краны холодной и горячей воды, душ. Можете себе представить, что ни моя прекрасная обувь, ни мои прекрасные туалеты с этой обстановкой гармонировать не желают, и чувствую я себя бедной родственницей на богатой свадьбе.

Ехала я, как вы можете судить по моему письму, очень недолго и очень хорошо, то есть с плацкартами до самой Москвы. Правда, в Саратове была бессонная ночь в ожидании пересадки и, по некоторым причинам, не очень удобная, так как пришлось отойти от здания вокзала подальше на улицу, и все это в полной темноте. Сестра меня встречала, но в связи с тем, что обстановка была необычная, она меня нашла только утром, когда уже рассвело.

Пока я пишу о себе очень эгоистично, но дело в том, что я еще ни с кем толком не поговорила, хотя видела всех, вплоть до Кучара и Глебки, которые два дня назад приехали в Москву, и не только видела, но бесконечно много со всеми целовалась, ибо все были здорово пьяны. Сразу же я окунулась в атмосферу склочничества, существующую здесь между некоторыми, была свидетельницей отвратительной сцены, которую разыграл Б. (Бровка), который называл К. (Крапиву) самыми оскорбительными словами, ругался безобразнейшими словами, его едва выпроводили. Оказывается, он постоянно устраивает такие сцены,

особенно попадает от него Л. (Лынькову). Все это на том основании, что, по его мнению, обойден в чинах. В общем, они, кажется, немногим лучше баб. Всем было очень неловко из-за его выходки, тем более, что так зверски он ругался при мне, да еще в такой момент, когда семья собралась вместе. Мне все это, конечно, тоже было очень неприятно. Я была очень утомлена дорогой, сидели поздно, потом Лыньков при виде чужой семьи в полном составе открыто страдал и кончил слезами. А вы знаете, как страшно видеть мужчину в слезах. Я себя чувствовала совершенно разбитой, да и сегодня еще не совсем пришла в себя. Уж очень много впечатлений за один день, да еще на усталого человека.

Борисенко и Кучар придут сегодня в 7 часов, и я буду рассказывать о нашей жизни в Уральске, о потребностях, причем, Кучар хочет знать все, вплоть до того, как дом стоит, какие углы, с кем Феликс и как дерется и т. д и т. д. до бесконечности. Я его, конечно, понимаю. У Кучара усы черные, опущены как-то вниз на восточный манер, но его узнать можно. А Глебку я не узнавала даже после того, как он со мной поговорил. Он в военной форме, и его солидных размеров рыжые усы делают его похожим на фельдфебеля царской армии.

Только что постучались, вошел Б. и стал извиняться за вчерашнее, чтоб я его простила, он не хотел меня обижать, у него нервы расходились. Ну я, конечно, простила и сказала «забудем», и думаю, что вы, получив представление о здешней атмосфере, тоже забудете об этом случае.

Чорный ушел с утра на работу и придет часов в пять, а мы с Ирой сидим и отдыхаем, что, конечно, не является лишним после бессонной ночи, ушли от нас только на рассвете.

Вольский за все время не получил из Уральска ни одного слова. Я думала, что для него будет новостью возвращение Алика[1]*, оказывается, ему ничего не известно было даже о его отъезде.*

Крапива выглядит очень хорошо. Видела Азгура. Столько вчера за вечер и за ночь обернулось народу, знакомого и незнакомого. Какой-то калейдоскоп.

Только что зазвонил телефон, и представьте, что за сегодня это уже четвертый раз мне звонят, и это так странно.

Сидим мы на восьмом этаже. Полчаса назад прошел сильный ливень, а сейчас я посмотрела на улицу, и асфальт уже подсыхает.

Я еще вам не писала о том, что пол здесь не глиняный и навозом не натирается. А может быть, вы сами догадались.

Пока еще о работе конкретно не говорили, и еще не известно точно, где буду работать — в газете или в ЦК. Дело в том, что нуждаются в людях, знающих белорусский язык. По некоторым причинам сейчас в этом отношении стали требовательны.

Вот сколько я вам написала и ничего толком. Это потому, что я выбита из колеи, не выспалась. Когда поедет Антонов, я постараюсь с ним послать письмо, в котором буду писать обо всем. Кстати, Ксеня, кажется, можно в 14 магазине попросить туфли и они отпустят. Я так расписалась, что не осталось места для традиционных поклонов, а потому поручаю вам передать поклоны всем знакомым, а письмо читайте коллективно…»

Трагические события следующего дня (28 июня 42 г.) надолго прервали переписку. Белорусское землячество гостиницы «Москва» сковало мрачное молчание. Жуткая и непонятная гибель Купалы — флагмана белорусской идеи — в который уже раз напомнила наиболее догадливым деятелям белорусской культуры, что их участие в общесоюзном культурном строительстве не должно выходить за рамки чистой декоративности. Не отсюда ли духовная анемия некоторых произведений военного времени. Творчество не терпит оглядки. А может быть, все объясняется тем, что они писались, как говорят художники, не с натуры?

---

[1] Речь идет о попытке шестнадцатилетнего Артура Вольского сбежать на фронт.

СВЕТЛАНА ЯВОР

Папа был для меня всем

Мой отец, Борис Саченко, всегда был для меня лучшим человеком на свете, поэтому после его смерти я испытываю щемящее чувство одиночества, которое не проходит с годами. Думаю, основной заслугой его было то, что он научил меня любить жизнь, ощущать ее ценность, красоту и ее радость — несмотря ни на что — огромные, непобедимые. Я и сейчас, думая об отце, испытываю благодарность к нему за все, что он для меня сделал.

С горечью прихожу на кладбище и подолгу стою перед его могилой. Почему он ушел из жизни так рано? Ведь можно было бы жить иначе — беречь себя, заботиться о здоровье. И второй вопрос: было ли в его душе место для Бога? Ответ я никогда уже не услышу, могу только догадываться о том, что бы он сказал. Свою жизнь отец прожил ярко, достойно, красиво, содержательно. Успел сделать многое и, я надеюсь, смысл жизни понимал по-христиански, несмотря на то, что был коммунистом. В последние дни своей жизни он стал заходить в церковь. Теперь я молюсь об упокоении его души (и маминой) в костеле.

Мне очень грустно, когда я представляю, что творилось в его душе, как он страдал, когда уходил в болезнь. Его душа мучилась от отсутствия надежды на лучшее. И «коронной» его фразой была: «Нет правды на земле, но нет ее и выше…» Папа, так быть не может! Должна быть правда выше — и она есть!..

Родился мой отец в большой деревенской семье, в которой было семь сыновей и в которой не принято было ссориться и лениться. Обаятельная мать семейства, Вера Михайловна, возможно, имела еврейские и шляхетские корни (из рода Кудрицких). Ее муж, Иван Николаевич, был намного старше жены. Сыновья выросли хорошие — способные, трудолюбивые. Мать гордилась ими, они были ее поддержкой и опорой. Особенно те, что уехали учиться в город: Борис, Иван, Алесь. Да и те, что остались жить в деревне: Николай, Петро, Гриша, Павел. Совместно пережитые трудности — высылка в Германию во время войны, послевоенное строительство — сплотили семью, сделали ее более дружной. И хотя у каждого из парней был свой непростой характер, все (кроме одного, трагически погибшего Павла) создали семьи, смогли ужиться с женами, никто из них не развелся, потому что у них уже имелся образец сплоченной семьи. Папа смолоду, как и позже, много трудился: школьником подрабатывал, помогал по хозяйству, студентом устроился на работу, младшим братьям помог уехать в Минск, поступить, выучиться, выйти в люди. Все отдавал, не жалея сил и здоровья: был добрым, отзывчивым, щедрым, еще в молодости нажил себе проблемы с сердцем, давлением. А ведь мог бы действовать по-иному, глядишь — и дожил бы до наших дней...

Папа был красивым, энергичным, жизнерадостным, любил друзей. Утром вставал рано и спешил за письменный стол. Подолгу работал — писал, читал. Мне было одиноко, ребенком я просила отца поиграть со мной, но он был занят. Тогда я решила стать такой, как папа, тоже сидеть за столом и писать… Когда отец

работал — был сосредоточен, мрачен и поглощен своим воображаемым миром. В нем партизаны дрались с немцами, крестьяне пасли коров, влюбленные ссорились и мирились. Я ощущала себя соавтором, тем более что папа рассказывал мне, как он писал романы. Сначала, говорил он, надо составить план, потом сделать его более подробным, а дальше — разрабатывать сюжетные линии отдельных героев. Объяснял, почему определенного героя «необходимо» убить: «А дальше с ним уже нечего делать, он свое отслужил…» Писал он быстро, острым карандашом (я ему помогала точить их, это для нас с ним был какой-то обряд). Почерк у отца был неразборчивый, произведения позже переписывала мама, чтобы отдать машинистке. Все это имело огромное значение для всей семьи.

Вспоминается, что в молодости отец дружил с Рыгором Бородулиным. Тогда же к нам в гости приходил Михась Стрельцов. Вообще у нас в доме несколько десятков лет просуществовал литературный салон, в котором часто бывали белорусские и русские писатели — Максим Лужанин, Анатоль Вертинский, Янка Сипаков, Анатоль Бутевич, многие другие. В нем обсуждались литературные новости, читались новые произведения; в центре всего были книги, их создание.

«Сухого закона» не было, поэтому шум, гам, веселье меня — школьницу, потом студентку — начали раздражать. Я даже думала о том, как бы покинуть дом, мечтала уехать. Как отличница, я могла бы осуществить свою мечту и жить где-нибудь в Москве, но я жалела родителей, думала, что они нуждаются во мне… Литературный салон существовал до последних дней жизни отца. Это был основной круг и моего общения. Так прошли мои детство, молодость. Сейчас, когда я вспоминаю о салоне, поражаюсь: сколько было в этих литературных встречах огня, задора, жизнелюбия! Ничего похожего на мое теперешнее тихое, уединенное, размеренное существование. Мама, правда, иногда жаловалась, что живет, как на вокзале. Но было интересно и весело, потому что вокруг собирались оригинальные, творческие личности.

Отец любил заграничные поездки, оттуда привозил новые впечатления, материал для произведений. Рассказывал, показывал… Появлялось ощущение, будто и сама там побывала. Очень понравилось папе, например, что французы обедают не торопясь, ровно час, что для них это целый ритуал, с вином и десертом. О многом отец написал в своих очерках, воспоминаниях. Он всегда завершал свои рассказы тем, что дома все равно лучше, он был настоящим патриотом. Мне кажется, главный секрет успеха творчества Бориса Саченко — в его огромной любви к родине. Папа любил в Беларуси все: кухню (драники, мачанку, соленые рыжики, квашеную капусту), музыку (фольклорное пение, национальные танцы), литературу (народные легенды, басни, анекдоты, классику — от Якуба Коласа до Ивана Шамякина и Андрея Макаенка). И всегда напоминал, что надо смотреть себе под ноги, а не витать в облаках…



Борис Саченко.



Борис Саченко с дочерью Светланой.

Папа любил ездить в лес за грибами. Собирать грибы он умел, приносил домой их столько, что мы не знали, что с ними делать. Но перебирать их было приятно. Я хорошо разбиралась в грибах, как будто была сельской жительницей. Знала зеленки и подзеленки, польский гриб, знала, где обычно растут боровики (там травка такая особенная бывает). А еще, как деревенская, я готовила, вязала, шила, вышивала — все это оказалось напрасным и никому не нужным, немодным… Мы с папой редактировали рукописи, с детства я помогала ему читать корректуру, очень старалась — и он часто меня хвалил. Он учил нас, детей, белорусскому языку, читал нам вслух стихи, сказки, рассказывал истории. Дома у нас говорили только по-белорусски, поэтому родной язык я знала лучше всех в классе и подсказывала многие вещи одноклассникам. Я гордилась своим отцом, подчеркивала, что я дочь писателя Саченко. Чтобы сделать родителям приятное, я радовала их своими школьными, университетскими, научными успехами. Я была счастлива своей принадлежностью к элите, хотя бы за счет авторитета отца.

Жили мы, в общем-то, скромно. Особых излишеств никогда не было. Экономили, берегли на «черный день». Вкладывали деньги в книги, в этот вечный капитал. Радовались каждой премии, каждому гонорару, каждой повышенной стипендии. Купленная вещь должна была быть оправданной, на крупные покупки просили разрешения. Я никогда не забуду, как радовался отец любой возможности позаботиться о нас, с каким удовольствием он давал нам деньги. В каждом своем жесте, в каждом слове это был настоящий мужчина, опора семьи. Теперь мне кажется, что мое прошлое с папой было призрачным сном… Я любила и уважала его, жила при нем, как принцесса (имею в виду его любовь, понимание). Папа дарил дорогие изысканные подарки: духи, розы, старинные книги. Он покупал нам одежду, украшения, возил на курорты, окружал повседневной заботой. Иногда сам готовил, всегда сам пылесосил квартиру, вытирал пыль. Сейчас даже не понять, откуда он брал на все время. Отец ходил в магазин, носил тяжелые сумки с книгами и продуктами, накрывал на стол, когда приходили гости. Любил шутливо повторять: «Помни мою доброту…» Папочка, я ее помню!.. Отец был моим защитником, всегда заступался за меня. Он был для меня всем. Я была так поглощена его успехами и неудачами, его работой и творчеством, что нередко забывала о себе — о своей жизни, о своем призвании, об ответственности перед Богом. Вся семья была занята делами отца.

Теперь я закрываю странички семейной жизни отца и перехожу к размышлению о его творческом наследии. Творчество — волшебный, вымышленный мир, в котором живет человек, одаренный способностью видеть невидимое, слышать неслышимое… Творческие люди всегда вызывали во мне сочувствие, жалость. Да, они одарены, талантливы, но насколько же ранимы, уязвимы! И это странное поведение — как «вещь в себе». Жил в своем фантастическом мире и мой отец. Силой своего таланта он сумел показать его, этот мир, другим людям, читателям. Отец нередко говорил, что не смог бы не писать. Это было его потребностью — такой же естественной, как дышать, есть, спать… Папа нуждался в обществе

единомышленников, поэтому, когда ему не хватало общения с живыми писателями, он через книги общался с Федором Достоевским, Львом Толстым, Николаем Гоголем, Александром Солженицыным и другими. Библиотеку в 10 тысяч томов отец собрал, как я представляю себе, из чувства одиночества. Вообще он был довольно-таки замкнутым по натуре — всегда был полон интересными идеями, замыслами. Его мы очень любили, посвящали ему себя…

Так каким же я представляю творчество своего отца? Прежде всего, ориентированным на классические образцы художественного литературного письма. Отец никогда не гнался за вычурностью формы, не занимался новаторскими поисками, а стремился писать просто и ясно, как его любимый автор Иво Андрич (произведения которого папа перевел на белорусский язык). Просто по форме и содержанию — в этом смысле отец стал продолжателем традиций белорусской классической литературы. Цель он перед собой поставил самую что ни есть благородную — описать родной уголок, воспеть белорусское Полесье и Беларусь в целом. Он говорил: «Из первых строк любого произведения становится понятно, любит ли автор своего читателя». Папе свыше дана была величайшая любовь к своим читателям, а те отвечали ему взаимностью.

В молодости отца звали в аспирантуру Белорусского государственного университета по специальности «Белорусская литература». Он отказался, но все его творчество впоследствии оказалось неким многотомным историческим исследованием, проникающим вглубь отечественной истории, человеческой психологии, написанным художественно и занимательно, прекрасным литературным языком. Оно освещает самые разные периоды развития Беларуси: дореволюционный, например, — повести «Аглицкая сталь», «Диариуш Матея Белоновича», Великую Отечественную войну — повесть «Последние и первые», романы «Чужое небо», «Великий лес», послевоенные времена — рассказы «Соль», «Одарка» и другие. Мой отец написал также популярно-этнографическое произведение «Вечный кругооборот», множество литературоведческих статей (например, посвященную загадке смерти Янки Купалы). Очень много у него коротких рассказов-притч, которые наиболее мне нравятся: «Голос», «Окопы», «Осиротелые дворы», «Сила жизни», «Дикие груши»… Чем-то напоминают они коласовские «Сказки жизни»: кратки, философичны, многозначны. Писал папа в молодости и фельетоны, юморески (многие совместно с Янкой Сипаковым и Рыгором Бородулиным, у них даже псевдоним был свой, Сібарсач).

Много было у отца настоящих художественных открытий: это и повесть «Последние и первые», и повесть, за которую его удостоили Государственной литературной премии им. Якуба Коласа, — «Волчица из Чертовой Ямы». Эта повесть очень близка и как-то особенно дорога мне. Сюжет ее прост: волчица мстит за смерть своих детенышей…

А еще отец занимался активной общественной деятельностью: был депутатом Минского городского совета народных депутатов, секретарем Союза писателей Беларуси, членом Белорусского общества книголюбов, Комитета защиты мира, Товарищества белорусского языка. Он представлял Беларусь на Ассамблее Организации Объединенных Наций, вел активную переписку с белорусскими писателями во всем мире… Никогда не хотел покинуть Родину. Отец служил своему любимому народу до последних минут жизни и умер на работе, за письменным столом, от сердечного приступа...

Мне кажется, за свою поистине безграничную любовь к людям и за свой писательский труд он заслужил высшую награду на небесах.

РОМАН ЕРОХИН

Рукописи, которые не горят

От редакции. *Этот очерк предложил для публикации в майском номере участник Великой Отечественной войны, ветеран белорусской журналистики Роман Алексеевич Ерохин. Блистательный очеркист, внимательный человек. Своеобразным итогом его журналистской работы стала книга очерков «Интонация вздоха», которую высоко оценил еще Иван Шамякин, написав в предисловии к ней: «В ней есть образ времени, есть то, чем мы жили и живем».*

...На фронт Роман Алексеевич пошел добровольцем в 17 лет и воевал в 11-м воздушно-десантном полку плечом к плечу с морской пехотой. На войне был сильно контужен: засыпало землей, товарищ вытащил его почти из могилы. После этого долгие дни и годы выздоровления. Награжден орденом Отечественной войны II степени и медалью «За отвагу», которой особенно дорожит. После войны, окончив филологический факультет БГУ, работал в издательстве «Мастацкая літаратура», в газете «Советская Белоруссия».

В оправдание себя, что ли, эти страницы сегодня мне хочется назвать именно так: «Рукописи, которые не горят». Хотя понимаю — оправдание для меня это слабое, малоутешительное. Не ошибусь, утверждая: у каждого журналиста оседают по той или иной причине в домашних архивах блокнотные записи, которые в то время не появились на страницах газеты. Но проходит какое-то время — и они всплывают на свет.

Эти мои записи «всплыли» спустя вот уже лет тридцать с гаком со дня их зачина. Почему столь долгое время пролежали они в забытьи? Память верного ответа не находит.

Из забытья рукопись вызволила попавшая по случаю в руки фотография, на которой я запечатлелся рядом с Героем Советского Союза Марией Осиповой и ее боевыми соратниками.

Хочется думать, не состарилась рукопись и по сей день. Особенно когда подкатывает жуткая дата — 70-летие начала Великой Отечественной войны.

По дороге в Янушковичи

Поутру в субботу я созвонился с Осиповой, договорился о встрече в воскресенье. А уже в полдень Мария Борисовна дала отбой:

— В это воскресенье под Логойском, в Янушковичах, где базировалась наша партизанская бригада «Железняк», намечен большой сбор… Вот запамятовала!.. Так что нашу с вами встречу придется отложить на недельку.

Я возрадовался:

— Отклад не идет в лад — возьмите меня с собой!

Ну когда еще так повезет — повстречаться с людьми, каждый из которых просится своей судьбой в журналистский блокнот.

Раным-рано восьмого июня восьмидесятого года три полных автобуса из Минска взяли курс на Логойщину. Вот и окраина уже — нарождающийся микрорайон Малиновка. Еще не все деревенские хаты съедены стройкой.

— Деревня так и называлась — Малиновка, — говорит мне Осипова. — Сколько мною протопано через нее в годы войны из Минска в Янушковичи,

к партизанам и обратно! А после одного случая я обходила ее стороной — подальше от нее…

— Чем же эта Малиновка так провинилась перед вами?

Мария Борисовна отмахнулась:

— Не она передо мной, я перед ней провинилась…

И лег в тот день в мой блокнот вот этот ее тогдашний рассказ.

— В войну в моей группе были две симпатичные девчонки — Валентина Мачальская и Анна Романенко, по кличке подпольной — Галя. Жила Галя на Заславской, 37. Я квартировала в доме 31, у подпольщика Дрозда, незабвенного Николая Прокофьевича. Валентина познакомилась с немецким шофером Эмилем Шульцем из лагеря советских военнопленных в Масюковщине — шталаге-352. Вскоре после знакомства Эмиль признался Вале (а она слабо, но владела немецким, еще со школы), что он германский коммунист. И Анне Романенко — Гале представил своего сотоварища — пленного красноармейца Андрея, немца из Средней Азии. Имя «Андрей» — явно не настоящее, из конспиративных соображений. Я рискнула — разрешила девчатам познакомить меня с этими немцами.

— Риск — благородное дело?

— Не знаю, почему-то я им поверила сразу. Да и девчата мои верили. Вроде как в шутку спрашиваю немцев: «Не могли бы вы раздобыть хотя бы парочку винтовок и патроны к ним?» Андрей тотчас перевел мой вопрос на немецкий. Эмиль Шульц ответил без раздумий: «Да, можем». И через неделю плененный ЗИС Эмиля Шульца на минуту подрулил к дому Николая Дрозда, «передал» две советские винтовки, россыпь патронов и тотчас улетучился, чтоб не мозолить глаза даже редким прохожим.

— И аппетит, как говорится, приходит во время еды? — догадываюсь я.

— Да-а, — весело соглашается Мария Борисовна. — Со второго — счастливого раза от Андрея и Эмиля мы получили уже пять советских винтовок с патронами.

— Где же они добывали советские винтовки? Не в концлагере же.

— А мы и не допытывались — по законам конспирации нельзя. И так — месяц, другой, третий, четвертый… Партизанский отряд рос, и оружие — как хлеб, и того дороже. На Андрея и Эмиля я молилась тогда… Они ведь в условиях концлагеря крутились!..

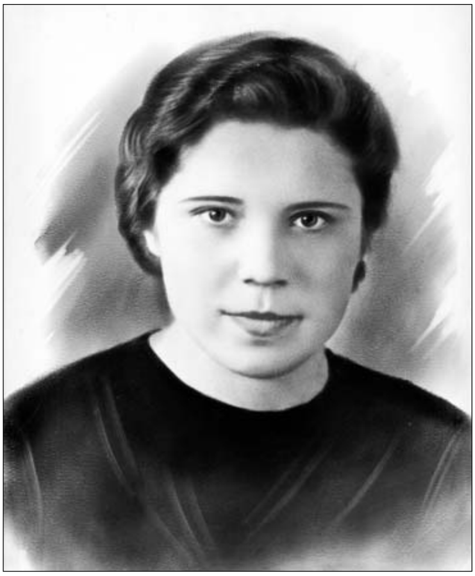
Мария Борисовна замолкает… Я жду: ведь рассказ ее, понимаю, оборвался на полуслове не просто так. Пять минут, десять жду. Наконец она продолжает:

— В начале марта… это уже сорок третий год… Андрей впервые заговорил об уходе в партизанский отряд: «Сыскари на пятки наседают. Три десятка моих товарищей готовы уйти в лес. С оружием!» Я пообещала: «Посоветуюсь…» С великим трудом — зима! — добралась до Янушковичей. За шестьдесят верст… Командир отряда Тюрин не просто согласился — обрадовался: «Ребята обстреляны в боях! Да еще и с оружием…» И вот двадцатого марта — «мороз и солнце, день чудесный!» — Андрей как-то умудрился, во второй половине этого дня вывел из лагеря почти три десятка красноармейцев. В старых-престарых шинелях… Сам облачился в форму унтера, на ремне сверкает девиз «гот мит унс» (с нами бог). Добрая половина отряда вооружена винтовками. В нелегкий путь отправилась и Галя — Анна Романенко. Долго и упрямо отпрашивалась она у меня. С великой неохотой я сдалась — разрешила идти вместе с Андреем. Настаивала и Валентина Мачальская, но я категорически запретила ей покидать Минск: в подполье — работы невпроворот…

Мария Борисовна чуток помолчала, будто собиралась с мыслями:

Нагнувшись, Мария Борисовна достала из саквояжа бутылку с каким-то напитком, жадно глотнула. Устала. Продолжала с утомленной скороговоркой:

— Лошади резво бежали, полозья повизгивали, когда по обледенелой земле… «Только бы Острошицкий городок успешно проскочить, — думалось мне, — будет легче, ближе к своим». Яркая луна невовремя выглянула из-за туч. И в это время резкий трубный сигнал впереди разорвал морозный воздух.



Мария Осипова.

Неужто староста в Малиновке заподозрил и предупредил гарнизон в Острошицком городке? Наша подвода — первой шла — остановилась. Петр соскочил: «Схожу в разведку». Я предложила: «Пойдем вдвоем, меньше подозрений, чем путник одинокий». Андрей не возражал: «Ты командир, тебе виднее». Приказала присматривать за возчиками. И только пошла — Петр затормозил: «Давай обратно, Мария. Я вспомнил: в городке детдом, и это сигнал отбоя, а не тревога». Подождали. Тихо. Лошади пошли ленивым шагом: меньше подозрений. Вот и городок… Пять, десять минут, и мы снова на лесной дороге. Проскочили!.. Ну, а дальше еще один населенный пункт — Бродек. Здесь староста свой человек. Будто ждал нас: стоило нам въехать в деревушку, он вышел из дома, предложил пяток хат для отдыха ребят. Накормили нас и лошадей наших. Первое, что подумалось, — старичков-возчиков дальше брать нельзя: отсюда — прямой путь к партизанам, который им знать не положено. Но со своим приказом я опоздала: исчезли возчики ночью, знать, догадались, куда мы путь держим.

Рано поутру выехали — благополучно добрались до Янушковичей. В лагере нас встретили всем отрядом — как героев…

Я напомнил:

— После своего рассказа вы обронили: «Потом выпал день, после которого я обходила стороной Малиновку». Как я понимаю теперь: из-за лошадок?

— Да-а, — протянула с улыбкой Мария Борисовна. — В августе это было. Я возвращалась в Минск из Янушковичей. Еще подумала: узнают в Малиновке, не простят… Увидела: возле своего дома женщина полощет белье в корыте, машет рукой: «Иди скорей сюда!» Подхожу, а она: «Становись стирать со мной, в селе немцы». И стала клясть жизнь горемычную. И вдруг: «Ох, если бы встретить ту бабу-комиссаршу в черном полушубке, что лошадей наших увела, глаза бы выцарапала». У меня ощущение: душит она меня… Говорю что попало: «Так ведь не только за себя воюют партизаны». А она: «Да я не против партизан. Пахать по весне пришлось на себе и подругах».

Я прошу Марию Борисовну извинить меня — перебил, мол, ваш рассказ из-за Малиновки. Что-то интересное об Андрее еще не рассказала… А Мария Борисовна в ответ:

— Больше Андрея не видела: приду в отряд — он на задании. А потом… узнала, что в августе погиб.

Я потрясен — минуту-другую слова не мог вымолвить. Думал — вот узнаю, где живет он, этот немецкий Андрей с такой суровой судьбой, поеду, говорить с ним буду, писать буду!

Жив, жив Андрей!..

Вышли мы в Янушковичах из автобусов и — в лес! А в лесу уже море людей! На поляне построена сцена с трибуной, расставлены скамейки… И только мы начали искать свободные места, как пошел, нет — хлынул дождь! Минчане обратно в Янушковичи, к клубу. А клуб на огромном замке. Спросили у местной жительницы — где завклубом? Ответ был неутешительным: «В Минск уехала».



На встрече партизан. Вторая слева — Мария Осипова, крайний справа — Роман Ерохин.

Сломали замок — партизаны! — и гурьбой под спасительную крышу. Расположились «поавтобусно» — тремя группами. Я, естественно, сел в группе Осиповой. По-журналистски навострил уши: вдруг что-то интересное услышу?..

И ведь услышал! В соседней группе женщина рассказывала про Андрея, партизана… Но — гомон! — толком не мог ничего расслышать.

Ливень на улице как-то вдруг выдохся, даже солнце на минутку-другую выглянуло. Партизаны потянулись к выходу — покурить. Я тоже вышел. И как-то сразу заприметил ту партизанку-рассказчицу. Не мешкая, подошел, представился и — с вопросом:

— О каком Андрее вы рассказывали сейчас? Вас, случайно, не Галей звать?

— Да-а, — удивленно всматриваясь в меня, ответила она. — Я Анна Романенко, по кличке — в подполье — Галя…

— А немец тот — не Андрей? — спешу с вопросом.

— Откуда вы знаете?!

— Мария Борисовна Осипова поведала мне в автобусе о нем… Как он погиб?

Анна Романенко смотрит на меня удивленно:

— Почему — погиб? Он не погиб. Ранен был тяжело… Осиповой память изменяет…

— Расскажите! — тороплю я.

— Как это было? — спрашивает Галя-Анна. И, не дожидаясь ответа, начала вспоминать. Я незамедлительно включил свой диктофон.

— В ту пору Родионов со своим полком перешел на сторону партизан. И мы — отрядом — шли в направлении Докшиц. На телеге со мной ехали Андрей, Вася Потапенко, пулеметчик Вася Полищук и Мамай — он правил лошадью. Ехали как ехали. И вдруг Мамай ни с того ни с сего начал материться. Я, оскорбленная, соскочила с телеги, Мамай за мной… И вот в это время — взрыв! Оглушенная, вижу: лошадь перевернуло вверх, поставило обратно на ноги вместе с передком телеги, а зад телеги — вдрызг! Вася Потапенко убит, у Андрея разворочен бок правый и рука. Вася Полещук умирает, просит: «Сестре и матери напиши…» Все годы вспоминаю его девятого мая — в День Победы! — и совесть грызет: не написала. Где было адрес взять?..

Анна-Галя помолчала минуту.

— Я Мамая благодарила за мое спасенье, а он снова и снова извинялся за свое хамство… Надо же — отряд за отрядом прошли этим проселком, а вот наша телега нарвалась на мину. Ночью это было…

— Только двенадцатого августа на самолете, присланном с Большой земли, Андрея отправили в Москву… Если б сразу, руку, может, сохранили бы…

— А самолет долетел до Москвы? — спрашиваю.

— Долетел! — встрепенулась Анна-Галя. — Я на следующий день интересовалась у нашего начальника разведки.

— Искали его после войны?

— Искали! Знать бы хоть какой-никакой заваляющий адрес… В каком краесторонке… Даже когда замуж вышла, матерью стала, — все искала. Вот уже многие годы вспоминаю и вспоминаю его. Повидаться бы…

Я ни с того ни с сего говорю:

— А почему вашей подруги Вали Мачальской нет сегодня здесь?

— Больна она. Через такую каторгу прошла…

Завтра я пойду к Вале.

Хороший был немец…

— О каторге?! — с неподражаемым удивлением смотрит на меня Валентина Мачальская. — Еще до самой каторги в Германии в нашем эшелоне тиф «помиловал» всего лишь четыреста женщин из пяти с половиной тысяч. Начну рассказывать о каторге — головушка моя в огне. Не будем, ладно?

— Ладно, — говорю, — не будем. Тогда первый вопрос… Начните с самого начала — как вы попали в подпольную группу Марии Черной, то бишь Осиповой?

Валентина охотно начала рассказывать:

— До войны я жила в Лошице, с мамой. А сестра Соня с четырьмя детьми в Минске, на Заславской улице. Муж ее погиб под бомбежкой — окопы рыл. А в начале немецкой оккупации мы с Соней поменялись жильем. Так я попала на Заславскую. Окончила семилетку, работала на телеграфе, а в канун войны — техником-овощеводом. В конце сорок первого познакомилась с Марией Черной, то бишь с Осиповой Марией Борисовной. Сначала листовки расклеивала где попало. Потом Черная посылала меня в СД к одной машинистке — та бумагой снабжала и, видимо, секретными сведениями. На железную дорогу ходила, эшелоны считала, обглядывала. Друг друга узнавали. Я даже фамилию настоящую Марии Черной не знала. Сначала не знала и где живет она.

Валентина помолчала немного. Продолжила:

— В Масюковщине устроилась уборщицей в жилой барак-казарму. От Марии Черной получила задание завести знакомства. В школе я учила немецкий, это мне позволило как-то общаться с немцами. Там и познакомилась с Эмилем Шульцем, шофером. А он меня познакомил еще с одним немцем — пленным советским солдатом. Тот отрекомендовался по-русски — Андреем. Шульцу было пятьдесят пять лет. Из Берлина. Лысоват, седой, нос курносый, спокойный донельзя… Говорил, что читал много книг, даже Ленина. Чуть позже я узнала — коммунист он. Доложила о нем Марии Черной. И вот мы потихонечку стали приглядываться к ним. Однажды Шульц сказал мне, что не хочет на фронт: «Я бы к партизанам…» Я ему: «К партизанам без оружия не принимают. Это ведь не армия — оружием сами себя обеспечивают». Вот он и привез шинели, патроны, оружие в разобранном состоянии. Я все это в подпол, над которым шкаф стоял. А подпол такой, что там ходить в полный рост можно было. Потом — к Дрозду. Дядей Колей звали. Эмиль возил на работы военнопленных. Однажды вернулся без них, своему начальству доложил: «Напали на меня люди с оружием». Так пленные ушли в партизаны…

Валентина, видимо, чуток устав, заговорила совсем тихо:

— Арестовали меня двадцать пятого августа сорок третьего года. Два эсэсовца и какой-то Николай… украинец. Про Эмиля, слава богу, не спрашивали. Только про Марию Черную и Андрея. Два с половиной месяца сидела в тюрьме на Володарского. Из тюрьмы водили на допрос в СД — напротив Дома правительства. Откроют камеру — все выходят, строятся. Целый час мучаемся: кого сегодня на расстрел? В СД — на столы, открой спину — и плетью. Но это еще полбеды. А вот здоровенный переводчик — по уху! Больно, голова раскалывается…

— Потом — в Германию. Концлагеря Равенсбрюк, Магдебург, под Гамбургом, Шпротау… Почти два года на каторге.

Я, понимая, что Валентина устала от своего рассказа, стал благодарить ее, но она остановила меня:

— Я очень важное вам не рассказала… Когда меня арестовали, вели в тюрьму, навстречу — еще на Заславской — Мария Черная. Увидела нас, сошла в сторонку, встала у заборчика и начала чулки поправлять. Когда мы поравнялись с ней, я заговорила: «Да не знаю я, кто такая Мария Черная!..» Тогда Мария, конечно же, поняла: я ее не выдала. И еще, — добавляет к сказанному, — когда Андрей ушел в лес, к партизанам, Эмиль остался без связи. Прибегал к моей сестре Соне — знал ее адрес — спрашивал, волнуясь, как ему связаться с подпольем, как уйти в партизаны. Видно, на фронт его собирались отправлять. Соня, конечно же, не знала, как ему помочь.

Хороший был немец… Жаль и Андрея — растворился на многие годы…

Кто бы мог подумать, что спустя неделю — неделю! — я буду разговаривать с Андреем. Далеко-далеко от Минска…

Здравствуй, Генрих!..

— Ну что, дорогой, — обращается ко мне мой друг Марат Федорович Егоров, председатель общественного объединения «Белорусский фонд мира», — еще в одну поездочку махнем?

Я уже бывал с ним в двух поездках. В Одессе — знаменитые катакомбы облазил, в которых местные партизаны укрывались в годы Великой Отечественной. В Волгограде — могилу отца, наконец, отыскал. Погиб здесь, в Сталинградской битве, в сорок втором. Ну, а теперь вот в Ташкент зовут. И, конечно же, согласился я, полетел…

Где-то на четвертый день поездок по республике, по Ташкенту позвонил из гостиницы в Минск, домой. Жена обрадовала: «Партизанка Галя звонила тебе, передала: нашелся немец Андрей!» Хватаю блокнот, спешу записать его адрес: Ташкентская область, город Янгуль, улица Чиркова, дом 7. Боже мой! Его друзья-минчане чуток без малого сорок лет искали и — наконец! — нашли. Я обратился в администрацию гостиницы: далеко ли от Ташкента город Янгуль? Меня охладили: «Нет у нас такого города — Янгуль». Одна из симпатичных узбечек, заметив мою растерянность, спросила своих подруг: «Может, это город Янгиюль?» Я обрадовался: ну конечно же — Янгиюль! Партизанка Галя наверняка напутала … Но все равно, я ей бесконечно благодарен! Спрашиваю, как далеко от Ташкента этот городок? «В сорока километрах, — обрадовали меня. — Туда автобус ходит часто — каждый час». Блокнот, диктофон в карман и — в путь. Только еще позвонил руководителю нашей делегации: сегодня намеченная поездка — без меня.

Чуть ли не подбегом полетел на автовокзал. Прибежал — до отхода автобуса семь минут. Только и успел билет взять, вскочить в отходивший автобус. Отдышавшись, спросил у соседки — молоденькой кореянки:

— Где мне сойти, чтобы попасть на улицу Чиркова?

Она смотрит на меня с удивлением:

— Чиркова?.. У нас нет такой улицы… Может, Чарикова?

— Может, — говорю. А сам думаю: «Знать, опять Галя—Анна Романенко напутала?»

— Сойдете со мной, чтобы попасть на Чарикова, я вас провожу, мне по дороге, — предлагает мне кореянка.

Дом окутал огромный сад с виноградником. Подхожу к калитке в заборе, нажимаю кнопку звонка. Из дома выходит женщина. Спрашиваю:

— Генрих Триппель дома?

— Дома, дома, — отвечает. — Заходите!

Захожу. Такое только в сказках бывает: Генрих на крыльце! Высокий, русый, красивый… Здороваюсь:

— Здравствуйте, Андрей!

Глаза у него из любопытных становятся пронзительными.

— Привет вам от Гали. Из Минска… И не пытайтесь узнавать меня. Мы с вами не были знакомы: вы — в партизанах, я — на Курской дуге, на Украине… Я журналист, нашел вот вас, писать хочу.

Я рад безмерно: нашел, нашел Андрея!

Он левой рукой пожимает — крепко! — мою правую. Обмениваемся именами.

Генрих Тимофеевич приглашает меня в дом. Садимся за стол и… Он выставляет на стол большущую бутылку.

— Собственное, виноградное, — улыбается. — Чтоб разговор завязался без предисловий, согласны?

Конечно, соглашаюсь. Выпили по стакану. Хорошее вино! Предлагаю:

— Расскажите о вашем нынешнем визите в Минск. Встретились с Галей?

Он смотрит на меня с удивлением, но с улыбкой:

— А вы уже знаете об этом? До нынешнего полета я неоднократно бывал в Минске. Тридцать семь лет в поисках партизанки Гали и руководительницы подполья в годы войны Марии Черной. Бывал на Заславской улице, где они жили… Искал и не находил: секреты войны продолжали жить. Я же до сей поры не знал, что Галя — имя вымышленное, кличка подпольная.

— Как и Мария Черная…

— Галю, то бишь Анну Романенко, я разыскал в этот раз. В самые полтора часа до самолета, когда уже отчаялся искать ее. Одна минчанка на улице на мой вопрос: как искать? — посоветовала пойти в Музей Отечественной войны: «Может, там помогут?..» Я поспешил, музей нашел скоро — ведь в самом центре Минска! На мой вопрос о Гале ответили вопросом: «Кто был командиром вашего партизанского отряда?» Отвечаю: «Тюрин». Минута, две — и в моих руках листок бумаги с адресом и телефоном нашего командира. Чуть не бегом разыскал его дом. Радости было!.. Конечно, я тотчас спросил о Гале. Он метнулся к телефону, позвонил: «Галя? Бегом ко мне! Андрей тебя ждет». Радости было — ни сказать, ни пером описать… Даже не успел спросить о Марии Черной. До моего самолета оставалось всего ничего…

Я выключил свой диктофон, достал из кармана блокнот, говорю Генриху:

— Прочитаю вам несколько строк из моей газеты «Советская Белоруссия». На торжественном собрании, посвященном тридцатилетию освобождения Белоруссии, наш первый секретарь ЦК партии Петр Миронович Машеров сказал: «Духом бессмертия и отваги овеян подвиг подпольщиц Елены Григорьевны Мазаник и Марии Борисовны Осиповой, которые при содействии Надежды Викторовны Троян и Николая Прокофьевича Дрозда привели в исполнение приговор народных мстителей — уничтожили палача белорусского народа, гитлеровского наместника — Кубэ…» Мария Борисовна, как и две ее подруги — Герои Советского Союза… Так вот: Мария Борисовна Осипова — это и есть ваша Мария Черная…

Генрих оторопел:

— И Николай Прокофьевич Дрозд… Я ж его хорошо знал…

— Дрозд, к сожалению, погиб… Прилетайте в Минск на следующий День Победы, я вас сведу с Марией Черной…

— Спасибо, Роман Алексеевич, — благодарит Генрих. — Обязательно прилечу! А Дрозда жалко, толковый был человек…

— Ну, а теперь давайте продолжим разговор… с детства вашего, юности. Где родились, росли, учились? Чем занимались до армии?..

Не мешкая, Генрих заговорил, как будто готовился к этому разговору:

— Родился я двадцать восьмого апреля двадцать первого года в семье бедняков в селе Орловка Таласского района Киргизской ССР. Там селились немцы. Год учился по-арабски, три года по-киргизски. На этом образование завершилось. Увлекался всевозможными машинами. Породнился с трактором. Ну, а в сороковом году был призван в Красную Армию, служил в Первой Московской Краснознаменной пролетарской дивизии…

И добавил — как будто это очень важно было:

— В шестом мотострелковом полку…

— И года не прошло — началась Великая Отечественная…

Генрих не сразу отзывается. После продолжительной паузы говорит уже не так бодро:

— Двадцать первого июня, вечером, нас подняли по тревоге… Двадцать третьего — на фронт… В бой вступили около Борисова… С тяжелейшими боями отступали до Орши… Около Орши нас… уже безпатронных… двадцать четыре оставшихся от батальона, взяли в плен…

И вовсе замолкает Генрих. Даже спустя столько лет говорить ему сейчас об этом прямо-таки невмоготу. Но продолжает — после долгой паузы:

— От Орши нас погнали… пешком… обратно к Борисову. Там нас посадили в машину. Спешили, видать. И вот, скажу я вам… Около какой-то станции, прямо у вокзальчика, нашу машину остановили накоротке, будто картинку интересную показать… А вот картинка в самом деле оказалась не из рядовых. Из вокзальчика на перрон выходят трое. Один — капитан, двое — по нынешнему назвать — генералы. Никакой охраны, только в вокзальных дверях — курящий унтер. Трое эти тоже закурили. Осмелился я, спрашиваю по-немецки унтера: «Кто такие?» Отвечает, довольно ухмыляясь: «Сталина в плен взяли». Подумалось: в нашем округе служил Яков Джугашвили, сын Сталина. Похож… Значит, как и мы, в плен попали наши командиры…

Помолчав малость, Генрих завершил:

— После войны узнал: погиб в плену Яков… Под Витебском при контрударе его батарея гаубиц отменно поработала: Яков был отмечен высокой правительственной наградой. А вот под Лиозно попал в плен…

Чтоб без паузы — спрашиваю:

— И куда вас привезли?

— В полевой лагерь дулаг-332. Это около Минска… Там нас расформировали на группы. Я попал в группу из сорока человек — слесарей, механизаторов, шоферов. И — уже в Минск, в картографическую типографию, где занимались «разрушением» руин, территорию в порядок приводили. А в конце сентября, ночью, плотно подогнав к двери крытую машину, под усиленным контролем, загнали в нее нас и повезли в лагерь военнопленных в деревню Масюковщина — шталаг-352. Нас поселили в отдельный барак для карантина, чтоб затем перегнать в Германию. Но карантин не помог: двое из нашей группы от истощения и грязи заболели брюшным тифом, умерли. Наш карантин продлили еще на два месяца. Тем временем перевели из типографии штабс-фельдфебеля Джоржа Ланга, с которым я уже был знаком. Он держался с пленными спокойно, без ненависти. Назначили его у нас начальником второго отдела — гараж, склад, сапожная мастерская.

Бог ты мой, какая память! Генрих называет имя и фамилию немца почти сорокалетней давности!..

— Вы сказали — был знаком с ним…

— Да, в самом начале это было. Стоял я у ограды проволочной, он шел мимо, увидел меня замызганного, бросил вроде бы беззлобно: «Свинья русская». Я ему — тоже по-немецки: «Ты сам свинья». А он обрадовался: «Немец?!»

Генрих засмеялся, продолжает:

— Ну, а дальше — каторга есть каторга. С утра, день-деньской и до поздней ночи. В общем, беспросветная ночь. Свет забрезжил только где-то к декабрю. Вернее — к январю сорок второго, когда я ближе познакомился с шофером нашего, отдельного от лагеря, барака немцем Эмилем Шульцем. Иногда он даже помогал картошкой, хлебом… В начале месяца это было — поехали мы с ним на нашем ЗИСе за хлебом. И на обратном пути завернули в общежитие на улице Заславской, где я накануне познакомился с его… знакомой Валей.

— Мачальской, — подсказываю я.

Генрих удивлен:

— А вы откуда знаете?..

— Неделю назад с ней разговаривал.

— Вот Валя… Мачальская познакомила меня со своей подругой Галей…

— То есть, с Анной Яковлевной Романенко…

— Как позже я узнал, они были в подпольной группе Марии Черной и Николая Дрозда.

— Называйте уже теперь Черную — Марией Борисовной Осиповой.

— Да-да, конечно… Знакомство с Валей и Анной переросло в дружбу. И вот однажды она и… Мария Борисовна попросили нас достать — хотя бы минимум — оружие. Ну, я-то не знал, как его достать. А Эмиль Шульц предложил поехать на свалку возле завода имени Ворошилова. Но сначала осмотрительно приспособил под кузовом машины потайной ящик. Потом ящик этот не раз еще понадобится… Испросил Шульц для меня пропуск для выезда из лагеря — поехали. Возле завода действительно свалка — как для отправки металлолома. Даже разбитые пушки и танки. Мы, понятно, выбирали карабины: покороче. Потом под полом в казарме соорудили маленькую комнатушку-мастерскую. Наш парень по фамилии Цимбалист — мастер толковый! — собрал из всего, что мы привезли, восемь карабинов. Пару из них Шульц переправил Николаю Дрозду. Потом и остальные… Еще и еще потом Шульц добывал — с ними мы в партизанский отряд пришли… Со мной и наган был…

— Где наган-то раздобыли?

— Это еще в сорок втором в мае я украл в бывшем Доме офицеров.

— Каким же это образом вы попали в Дом со штабами немецкими?

Генрих колеблется, мнется:

— Не знаю, рассказывать об этом или нет…

— А вы рассказывайте, а потом мы совместно решим: понадобится это мне или нет.

— Еще в мае сорок второго года, — начал несмело Генрих, — Мария Черная… простите — Мария Осипова попросила меня собрать сведения о численности охраны лагеря, о передвижениях немцев где возможно, расположении точек… Ну как я мог собирать такие сведения, находясь главным образом в лагере! Хотя я тут передвигался свободно, работал старшим группы нашей. Ну и… немец все-таки.

Опять Генрих что-то колеблется. Что мешает его рассказу?

— Дежурный звонит из комендатуры: «Тебя майор зовет». Вроде бы его Жуином звали. Француз, что ли… Комендант приказал пригнать броневик и сразу доложить. Это был мой первый выезд с комендантом. Всего их, выездов этих, было три или четыре, не помню уже… Пригнал я этот броневик, поехали. Сначала Дом офицеров. Там, кстати, я и сумел умыкнуть наган. Но это не главное. Ушел он в Дом, остался я с целой группой шоферов. Курили, балаголили. Кое-что ценное из этой говорильни я почерпнул и уже назавтра через Галю передал Осиповой. Мы с комендантом и его спутницей поехали за город, в сторону

Логойска… Верст сорок, наверное, отмахали. В каком-то селе они вышли из броневика. Я остался ждать. Все думал: почему он поехал не со своим шофером, а со мной? Лишь потом, когда они возвратились, я понял, почему он таким счастливчиком выглядел. Девица эта — лет тридцати — любовница его.

И вдруг Генрих — ко мне:

— Давайте винограднденькой выпьем?

Волнуется. Выпили…

— В другие поездки мы почему-то уже не в броневике ездили, а в обыкновенной легковушке. Уверовал Жуин в свою безопасность?.. Последняя поездка камня на камне не оставила от его уверенности. Когда мы уже возвращались в Минск, по дороге нас обстреляли. Понятно, что это партизаны были. Семь пробоин в машине. Любовница его от страха рухнула на пол. Невредимой. Жуину же обе ноги прострелили. Меня Бог миловал. Нажал на газ, удрали.



Анна Романенко.

Я не понимаю:

— А почему — не к партизанам?

Генрих уже смеется:

— Так меня немедля бы расстреляли. Чем я мог доказать им тогда, что я свой, советский?.. Любовницу коменданта я отвез снова в Дом офицеров, а Жуина — в госпиталь… Но когда он уже выписался из госпиталя, — я свободно, если нужно было, мог выезжать в Минск без Шульца, один. Но уже и такая свобода меня угнетала. Я просился и просил Марию Осипову: «Разрешите нам в отряд партизанский уйти». Особенно это рвение было острым, когда один наш товарищ, сибиряк, смастерил радиоприемник и разочек мы в туалете смогли прослушать сводку Совинформбюро — как в Сталинграде наши колотили фашистов… Но Мария стояла на своем: «Погодите! Придете к партизанам — у них и так-то не хватает оружия, какими же вы-то будете с голыми руками?» И мы собирали… Особенно это получалось у Эмиля Шульца. И когда, наконец, мы пошли в партизаны, были не с голыми руками… Тищенко Степан, Симба, Дмитрий Комар, Цимбалист… С ними мне удалось «прихватить» две полные коробки патронов — тысяч шестьсот — для винтовок, четыреста автоматных. Пошли мы двадцатого марта. Это уже в сорок третьем году. В отряде нас приняли как желанных друзей… С нами и Галя—Анна Романенко ушла к партизанам…

Я останавливаю Генриха:

— Как вы шли и дошли до партизанского отряда, мне рассказала неделю назад Мария Борисовна Осипова. Поэтому сейчас мне хотелось бы услышать рассказ о пребывании в отряде. Как скоро вы «трудоустроились», смогли тотчас влиться в боевую обстановку.

Генрих не входит в рассказ, а сразу:

— На следующий день, вернее, в ночь на вторые сутки, мы пошли в засаду. На шоссе Минск—Плещеницы утром обстреляли немецкую автомашину, прикончили трех офицеров и шофера. Забрали два автомата, одну винтовку, а машину сожгли.

— Хорошее вхождение в отряд. На второй день…

Генрих — не останавливаясь:

— Тотчас еще одно вхождение… Через четыре дня. Шли уже в охотку. Вновь солдатами себя почувствовать хотели. Накопилось ненависти в душах… Это уже не сорок первый…

И вот его рассказ.

— Группа в составе Тищенко, Комара, Симбы, Богданова, ну и меня, получила задание посерьезнее: подорвать поезд, между станциями Красное и Молодечно. Консультировал сам Тюрин, командир отряда. Дали большой снаряд, пусковые устройства со шнуром в сто пятьдесят метров…

Бог ты мой, Генрих помнил такие детали — шнур в сто пятьдесят метров!..

— Взяли лошадь, поехали. В два часа ночи заложили мину… Комар и Богданов закладывали ее. Я растянул шнур. Залегли в кустарнике, ждали. Когда услышали — поезд идет! — Богданов дал команду: «Я и Генрих здесь, остальным отойти». С каким напряжением — дышать перестал! — ждал я этого момента. Уже шнур хотел рвануть, как Богданов приказал: «Стоп!» Оказалось, впереди паровоза катилось несколько платформ. Пропустили… Рванул шнур — взрыв под паровозом! Он пошел под откос — насыпь была высокой! — за ним полезли вагоны, вагоны… Поезд шел с живой силой. Картинка, скажу я вам, была неописуемой! Хотелось орать: вот вам за сорок первый, сорок второй!..

Будто это только вчера было — так радовался Генрих, рассказывая сейчас…

— На обратном пути зашли в село — обсушиться, ну и перекусить. Только устроились за столом, как Тищенко — он стоял на посту — забежал в хату: «Немцы в селе!» Выбежали, приняли бой. Но бой был скоротечен: немцы без особого сопротивления отскочили к своей машине, рванули… Вроде бы двоих порешили.

И уже скороговоркой:

— Где-то в начале апреля нашу группу вторично послали на диверсию: еще один поезд подорвать, в районе Молодечно—Лебедево. Получили снаряд, как и в первый раз — тяжелейший. Запрягли лошадь, погрузились и — ночью по лесу. Добрались благополучно, но тотчас заминировать не смогли: железная дорога тщательно охранялась. Под утро провели разведку, заложили снаряд. Только заложили, как услышали приближающийся поезд. С запада, со стороны станции Сморгонь. Поезд шел медленным ходом. Минут через пять был возле нас. Ни света, ни искорки даже. Как потом выяснилось, состав был загружен танками и снарядами. Горел состав, пламенем объятый, взрывы гремели!.. Назавтра нам при построении командир отряда Тюрин объявил благодарность…

— После этой операции пошли в засаду на Бегомльский тракт, это в районе между Хатынью и Логойском. Заминировали дорогу, ждали «добычу». Дождались: две легковые машины. Одна сразу подорвалась, вторая попыталась удрать. Тут Тюрин крикнул: «Андрей, стреляй!» Он знал, что я метко стреляю. С первого моего выстрела машина пошла под откос. Девятерых фрицев мы порешили, трофеями малость обогатились: четыре винтовки, три автомата, три пистолета…

Неужто в самом деле память так сохранила?..

— Потом, со стороны Плещениц, нас атаковали полицаи. Я двоих уложил. Не услышал команды: «Отойти!» Увидел — никого из ребят нет, отошли. Поднялся, а навстречу мне здоровенный полицай: «Руки вверх!» Поднял я руки и — сверху полоснул из автомата. Догнал своих уже в лесу… Потом было нападение на полицейский гарнизон, то ли в Посадце, то ли во Владыке… На второй день — в третий раз на железную дорогу вместе с Богдановым, Тищенко, Полещуком. Поезд — с фронта шел — под откос.

И завершил свой рассказ Генрих уже кратко:

— В начале мая отряд Тюрина стал отрядом номер шесть бригады «Железняк». Восемнадцатого августа я подорвался на мине. Сломало мне три ребра, оторвало правую руку. Партизаны самолетом доставили меня на Большую землю. Лечился в Подмосковье, в Монино…

После небольшой паузы я спрашиваю:

— Когда вы домой, на родину вернулись?

— В конце сорок третьего… Мужиков в деревне раз-два и обчелся. На фронте! Сразу пошел работать. Механизатором, заместителем председателя колхоза.

В сорок пятом — МТС, бригадиром тракторной бригады, в сорок седьмом — механиком, летом — на самое главное — на комбайн…

Не смог я удержаться:

— Простите меня за бестактность, не понимаю — как без руки трактористом, комбайнером?..

Генрих смеется:

— Приспособился! За труд награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом Октябрьской революции, медалями, Грамотой и Почетной грамотой Верховного Совета Киргизской ССР. Избирался депутатом местных Советов… Опять, как и до войны, хорошо работалось! Только с одной рукой. Ну и что?..

— Похвалитесь семьей…

— Семеро дочек и один сын, восемнадцать внуков и внучек. — И с грустью: — Только вот жена не дожила…

Я спешу закругляться:

— Скажите, у вас есть какой-никакой документ об участии в партизанском движении?

— Не-ет, — смутился Генрих.

— Вы пенсию получаете?

— Да-а, — не понимает он.

— Райсобес далеко от вашего дома?

— Недалеко…

— Пойдемте в райсобес.

— Зачем?..

— За ясностью, — смеюсь я.

Пошли. А работники райсобеса: «Мы сегодня не работаем, уборкой занимаемся». Я представил свое удостоверение газеты «Советская Белоруссия». Отношение тотчас изменилось: «Мы к вашим услугам». Прошу показать личное дело Триппеля Генриха Трофимовича. Показали. Я там сразу обнаружил документ: Триппель — партизан бригады «Железняк», был тяжело ранен… Поблагодарил работников райсобеса. Вышли — предлагаю:

— Генрих, пойдемте в военкомат.

— Зачем? — не понимает он.

— Там будет ясность, — смеюсь я.

Пришли. Военком — подполковник, белорус. Встретил нас приязненно.

Я к нему, как говорится, с порога:

— Триппель Генрих Трофимович, инвалид Великой Отечественной войны. А вот ордена Отечественной войны у него почему-то нет.

Подполковник смущен:

— Его у нас на учете нет. Как же без документов?..

— Загляните в райсобес, там есть документ: инвалид войны, бывший партизан.

— Разберемся, — обещает военком.

Поблагодарили. Вышли. Генрих смущен:

— Никому никогда о себе не рассказывал, а вот с вами — разговорился, вышел из «подполья»…

И робко с вопросом ко мне обратился:

— Роман Алексеевич, а зачем все это?..

— Если не вам, — отвечаю, — то детям вашим, внукам и внучкам. Согласитесь: память о Великой Отечественной должна жить вечно.

Генрих провожает меня к автобусу — мне пора уже в Ташкент, смеркается. Прощаясь, приглашаю его на следующий год в Минск, на День Победы.

— Зачем это? — смущается он.

Я смеюсь:

— Чтобы закруглить вашу одиссею. Заново познакомитесь с Марией Черной, то бишь Осиповой Марией Борисовной. Ведь она до сей поры утверждает:

Андрей погиб… И еще: пора оформить документально: Триппель Генрих — участник Минского подполья.

Попрощались тепло. Крепко жму ему левую руку.

На Новый год он поздравит меня открыткой. И подпишется: Андрей… Дорого ему это имя.

Признали…

Ранним утром девятого мая — в День Победы — Генрих был у меня. Набираю номер Осиповой: «Да-а…» — слышу знакомый голос. Здороваюсь и тотчас информирую ее:

— Мария Борисовна, ждите гостей. Собираюсь с одним дорогим вам человеком…

— Кто же это? — спрашивает.

— Я же говорю — дорогим вам человеком. Пожалуйста, наденьте ваше самое красивое платье и на нем — Золотую Звезду Героя…

Осипова смеется:

— Что за секреты?..

Едем с Генрихом на улицу Захарова. К дому номер двенадцать. Квартира тоже — двенадцатая.

Поднимаемся на этаж. Звоню.

Дверь открывает сама Мария Борисовна. В красивом платье, со Звездой Героя. Предлагаю:

— Знакомьтесь — Генрих Триппель.

Она смотрит на него внимательно — кто такой? Потом ее глаза затуманиваются, шепчет:

— Андрей…

Генрих тоже волнуется.

И вот Осипова, вроде не расслышав меня, в крик:

— Андре-ей!..

И в объятия. Плачет она. Кажется, плачет и он. Я понял: не место мне тут сейчас. Закрываю за собой дверь.

Назавтра Генрих пойдет с Осиповой к секретарю Минского горкома КПБ тов. Нефеду с заявлением, в первых строках которого: «Прошу рассмотреть мою просьбу о признании меня участником Минского подполья в годы Великой Отечественной войны, так как в архивных списках Института истории партии при ЦК КПБ я значусь только как партизан бригады «Железняк». Наверное, это потому, что подпольщики не знали моего настоящего имени, они звали меня именем Андрей…»

Признали…

Спустя тридцать шесть лет после войны.

ИРИНА КАРОПА

Мотив экзистенциального одиночества в военной прозе

С точки зрения экзистенциальной философии война является одним из наиболее радикальных воплощений пограничной ситуации. Оказавшись в экстремальных условиях, человек вплотную подходит к той запредельной черте, которая открывает перед ним экзистенциальные бездны существования. Особенно остро на войне человек осознает свое одиночество. Близость смерти и необходимость убивать делают явной ту извечную пропасть, которая отделяет его от других людей, — обостряется понимание того, что никто не в силах разделить с ним смерть, равно как никто не способен умалить его ответственность за совершенные убийства. Не удивительно, что мотив экзистенциального одиночества в той или иной форме проступает практически в каждом произведении о войне.

У экзистенциального одиночества много аспектов. Прежде всего, на войне становится явной призрачность и эфемерность связей с другими людьми. На войне дружба и любовь больше не кажутся такими непреходящими и абсолютными. В любой момент, будь то случай или судьба, можно потерять близкого человека, всех близких. В «Последних свидетелях» С. Алексиевич находим одно из воспоминаний: «Я видела, как поседела моя сестра. У нее длинные-длинные черные волосы, они побелели. За несколько дней... За одну ночь... Состав тронулся. А где Тамара? В вагоне ее нет. Смотрим, а Тамара бежит за вагоном с букетом васильков. Там было большое поле, пшеница выше нашего роста, а в ней васильки. Ее лицо... До сих пор то ее лицо у меня перед глазами. Черные глазенки раскрыты широко, бежит и молчит. Даже «мама» не кричит. Бежит и молчит. Мама обезумела... Она рвется выскочить из поезда на ходу... Я держу Толика, и обе кричим. И здесь появился солдат... Он оттолкнул маму от двери, выпрыгнул, догнал Томку и с размаху швырнул ее в вагон. Утром мы увидели, что она белая...»

Другой аспект экзистенциального одиночества, открывающийся человеку на войне, — это одиночество перед лицом смерти. «Вокруг много людей, но ты всегда одна, потому что человек всегда одинок перед смертью. Я помню жуткое одиночество», — еще одно документальное воспоминание из книги С. Алексиевич «У войны не женское лицо».

Близость смерти неизбежно влечет за собой осознание своей уникальности и одновременно отделенности от окружающего мира, других людей. В своем эссе «Рубцы войны», посвященном памяти В. Астафьева, Геннадий Трифонов описывает, как ему однажды довелось быть участником встречи Виктора Петровича с Давидом Яковлевичем Даром, на которой Дар зачитал отрывок из своей будущей книги «Исповедь безответственного читателя». В этом отрывке Давид Яковлевич передал момент страшного и в то же время крайне важного осознания, открывшегося ему на поле боя: «И вдруг, сильнее, чем боль и страх, меня поразило внезапное небывалое озарение: только что меня не было, и вот я опять есть, опять живу сверх положенного мне срока, пусть без ног или рук, пусть в яме, пусть жизнь мне дана только на одну минуту, но и это — великое счастье, единственное, что принадлежит только мне, мне одному; и еще я почувствовал, что я вовсе никакой не числитель, не часть чего-то, а целое, неделимое и неумножаемое, что даже моя боль — она настолько моя и только моя, что и слов таких не придумано,

чтоб можно было ее передать другим...<...> И снова — внезапное озарение, иное, чем прежде, но такой же силы, разорвало какую-то пелену, и я почувствовал, что смерть одного страшнее и ужаснее, чем смерть тысяч и миллионов <...>». Трифонов вспоминает, как этот отрывок с необычайной силой отозвался в душе прошедшего войну Виктора Петровича: «И вдруг до меня долетел странный в этом доме звук, оказавшийся громким — навзрыд — мужским плачем».

Мотивы одиночества и смерти тесно переплетены в военной прозе В. Быкова, что придает его произведениям особое экзистенциальное звучание. Смерть у Быкова всегда личностна, индивидуальна. Даже в произведениях с «групповой» гибелью («Журавлиный крик», «На черных болотах» и др.) через личные воспоминания, надежды, сожаления об утраченном и несбывшемся каждого отдельного персонажа Василь Владимирович подчеркивает, насколько одиноки его герои перед лицом смерти. Зачастую своей смертью герой Быкова надеется кого-то спасти, но для него самого смерть всегда остается поражением — поражением *его* мечтаний, воспоминаний, надежд на счастье, поражением *его* жизни.

Война сталкивает человека и с обратной стороной познания смерти — стороной, о которой в советском военном дискурсе было принято умалчивать, отвлекать от нее внимание яркими красками героизма, мишурой военной романтики. Речь идет об убийстве, об ответственности за лишение жизни другого человека. В убийстве, как и в смерти, в конечном итоге, человек одинок — он остается один на один со своим поступком, со своей совестью и памятью. Велико искушение разделить с кем-то бремя ответственности — списать все на необходимость защищать родину, приказы командиров, жестокость врага. Только от этого если и становится легче, то лишь временно, до того момента, пока вытесненные боль и тяжесть личных воспоминаний не возьмут верх над навязанной, искусственно сформированной памятью «народной». Каковы бы ни были мотивы и факторы внешней обусловленности, ответственность за убийство и память о совершенном всегда глубоко личностны, экзистенциальны.

«Я не видела тех людей, которых убивала... Но... Все равно... Теперь я понимаю, что убивала. Думаю об этом... Потому что... Потому что старая стала. О своей душе молюсь. <...> Они приходят ко мне во сне... Мертвые... Мои мертвые... Хотя я их и не видела, но они приходят и смотрят на меня. Я ищу-ищу глазами, может, кто-то раненый, пусть тяжелораненый, но можно еще спасти. Не знаю, как сказать... Но все они мертвые...» — признается одна из опрошенных С. Алексиевич женщин.

Мотив ни с кем не разделимого бремени ответственности за совершенное убийство ярко проступает в романе В. Астафьева «Веселый солдат». Роман начинается словами: «Четырнадцатого сентября одна тысяча девятьсот сорок четвертого года я убил человека. Немца. Фашиста. На войне». Заканчивается он так: «Четырнадцатого сентября одна тысяча девятьсот сорок четвертого года я убил человека. В Польше. На картофельном поле...» В процессе развертывания романа из фразы-рефрена исчезают четыре слова: «Немца. Фашиста. На войне». Эта трансформация фразы отражает важнейшую внутреннюю трансформацию главного героя. Совершенное убийство становится центральным поступком его жизни, той единственной абсолютной точкой отсчета, от которой никуда не деться, не забыть, не изменить. Он не видит и не ищет более причин и объяснений своему поступку, принимает и покоряется вине, а потому и отпадают, становятся лишними слова-обстоятельства, слова-оправдания: «Четырнадцатого сентября одна тысяча девятьсот сорок четвертого года я убил человека».

Помимо одиночества, порождаемого болью потерь, близостью смерти и ответственностью за совершенное, война оголяет еще один аспект экзистенциальной изоляции человека — невозможность выразить, поделиться опытом пережитого с другими. Возможно, хоть и очень сложно, попытаться описать, объяснить свой опыт жизни на войне, но невозможно передать его кому-то, разделить его с кем-то, кто сам там не был, кто сам его не пережил.

В предисловии к роману «Бойня номер пять, или Крестовый поход детей» Воннегут признается: «Когда я вернулся домой после Второй мировой войны, двадцать три года назад, я думал, что мне будет очень легко написать о разрушении Дрездена, потому что надо было только рассказывать все, что я видел. И еще я думал, что выйдет высокохудожественное произведение или, во всяком случае, оно даст мне много денег, потому что тема такая важная. Но я никак не мог придумать нужные слова про Дрезден, во всяком случае, на целую книжку их не хватало. Да слова не приходят и теперь, когда я стал старым пердуном, с привычными воспоминаниями, с привычными сигаретами и взрослыми сыновьями». В самом романе этот аспект экзистенциальной изоляции проявляется в мотивах непонятости, неверия, сумасшествия. Когда Билли наконец решает рассказать миру всю правду о пережитом, окружающие, включая его дочь, отказываются ему верить, считая, что он выжил из ума.

В дискуссии журнала «Знамя» о военной прозе Виктор Соснора подчеркивает болезненность и интимность воспоминаний о войне: «Война — слишком интимное переживание для тех, кто воевал. Я, например, прошел с армией Рокоссовского до Франкфурта-на-Майне и закончил войну в 9 лет. С тех пор несколько раз в своей жизни я пытался написать о войне. Но каждый раз, когда я пытался восстановить в душе все тогдашнее, меня охватывал такой ужас... Это невыносимо восстановить и пережить снова и об этом написать».

О непреодолимой пропасти, разделяющей человека, пережившего войну, и тех, кому повезло избежать этого опыта, пишет С. Алексиевич: «Понимаю теперь одиночество человека, вернувшегося оттуда. Как с иной планеты или с того света. У него есть знание, которого у других нет, и добыть его можно только там, вблизи смерти. Когда он пробует что-то передать словами, у него ощущение катастрофы. Человек немеет. Он хочет рассказать, остальные хотели бы понять, но все бессильны».

О той же пропасти письмо И. А. Дедкова А. М. Адамовичу после выхода романа «Каратели»: «Я понимаю читателей, которым просто страшно; им не хочется мучиться снова или заранее. Другие жалобы читателей — это жалобы людей, которые не хотят видеть и слышать. Тут есть что-то жеманное. Они будут жеманничать, пока “запредельное” не переступит порог их дома. Впрочем, оно давно уже подселено к нам, но пока оно не схватит каждого из нас — его “нет”, оно — “за пределами”».

Мотив экзистенциального одиночества проступает в произведениях о войне в различных формах, зачастую тесно переплетаясь с другими мотивам. В результате соотнесения документальных свидетельств с художественными произведениями можно говорить о следующих формах воплощения мотива экзистенциального одиночества в военной прозе: страх и боль потери близких людей, одиночество перед лицом смерти, неразделимость бремени ответственности, невозможность поделиться с кем-то пережитым опытом.

КИРИЛЛ МЕЛЬНИК

Вечные вопросы человеческого бытия: тема жизни и смерти в творчестве В. В. Быкова

Между бытием в условиях мира и бытием в условиях войны лежит целая пропасть. Чтобы хорошо написать трагедию, надо ее пережить. Вряд ли кто-нибудь усомнится в том, что Василь Быков не в полной мере пережил трагедию войны. Что заставляло его из года в год писать произведения о Великой Отечественной? Не доход и слава, конечно же. Видимо, сильная душевная боль, которую облегчало писательское творчество. Быков сумел расширить и обогатить художественную и публицистическую литературу о войне. Вот что говорит об этом писатель В. Курбатов: «До появления в литературе Быкова такие сюжеты были не особенно в тягость. Ответы у авторов были готовы заранее, и предатель получал свое, партизан — свое. А тут погибает с клеймом предателя честный мужественный человек».

Несколько раз в произведениях Быкова проскальзывала следующая мысль: смерть — это не самое худшее на войне. Быть тяжело раненым и быть опасной обузой для бойцов — хуже, измена любого рода — хуже. Да разве может быть что-нибудь хуже смерти для человека? Быков отвечает: может. И все-таки во всех его военных книгах главную роль играет тема выживания и жизни. Некоторые его страницы — боя, побега, атаки — как будто заряжены разрядами той страшной войны, и читатель практически на физическом уровне ощущает ее.

В произведениях Быкова много кровавых сцен. Но, к примеру, в повести «Сотников» он пишет: «Нет, жизнь — вот единственная реальная ценность для всего сущего и для человека тоже. Когда-нибудь в совершенном человеческом обществе она станет категорией — абсолютом, мерой и ценою всего. Каждая такая жизнь, являясь главным смыслом живущего, будет не меньшею ценностью для общества в целом, сила и гармония которого определяется счастьем всех его членов. Важно только устранить насильственные, преждевременные смерти, дать человеку возможность разумно и с толком использовать и без того не так уж продолжительный свой срок на земле. Ведь человек при всем его невероятном могуществе, наверно, долго еще останется все таким же физически легко уязвимым, когда самого маленького кусочка металла более чем достаточно, чтобы навсегда лишить его единственной и такой дорогой ему жизни».

Тема измены — одна из центральных в творчестве Быкова. Идея поступка, выдаваемого за измену, неоднозначности ситуации в условиях войны разработана с поразительной силой во многих произведениях писателя. Вспомните судьбу Сущени из повести «В тумане». Обстоятельства поставили героя в такое положение, что как ни поступи, все равно будешь для Советской Армии предателем. Хотя Сущеня таковым не был. Но ему ничего не оставалось, как покончить с собой, что он и делает в конце повести. И это не бурная фантазия писателя. Такое или нечто подобное случалось в те времена в реальности. «Если ты вышел из плена — то почему ты вышел из плена живым?»

Поражает факт, что выйти из концентрационного лагеря в 1945 году и вернуться на Родину, в СССР, было смертельно опасно. За человека, как правило, тут же брались спецслужбы, он часто воспринимался как предатель. Вот, к при-

меру, Михаил Андреевич Савицкий — вернулся после нескольких концлагерей и оказался под надзором КГБ — он, который фактически являлся героем Великой Отечественной войны!

История, описанная в повести «Карьер», — творческая удача Быкова, эта история трогает. Главный герой Агеев, старый человек, приезжает на место военной молодости, чтобы узнать, жива ли девушка, которую он когда-то, во время войны, любил. Приезжает спустя десятки лет и день за днем роет лопатой карьер, боясь найти ее кости. Агеев уезжает, не докопав совсем немного. Мировая литература, современная и классическая, наводнена историями о любви, но как красиво, как трогательно подает историю любви Агеева и Марии Быков. По вине Агеева девушку схватили немцы, и он не знает, осталась ли она жива. И с этой мыслью человек живет десятки лет, чтобы в конце жизни узнать это «да» или «нет». И когда остается небольшой кусок невырытой земли, он уходит, не решается тронуть его лопатой. Он уходит с верой, что девушка все-таки осталась жива.

Человеческая совесть — бездонный, загадочный колодец. Историю Агеева и Марии писатель мог взять из жизни своей или чужой, она очень правдива. Очень возможно, что какой-то поступок, пусть и непредумышленный, на войне стоил жизни дорогого человека. А если этот поступок стоил жизни любимой женщине? Человеческое «я» так устроено, что оно не слушает доводы рассудка: совесть жжет и мучает. В конце повести читаем: «Он плакал долго и самозабвенно, как это случалось с ним некогда в раннем детстве, о себе и о них, неизмеримых человеческих страданиях, которые, оказывается, ни для кого не проходят бесследно. Наученный жизнью, он уже понимал, что за все надо платить — за хорошее и за плохое, которые так крепко повязаны в этой жизни, но все дело в том, кто платит. Платит, конечно же, тот, кто меньше всего повинен, кто не рассчитывает на выигрыш, кто от рождения обречен давать — в отличие от тех, кто научился лишь брать и взыскивать. В свое время он заплатил ЕЮ и был жестоко наказан, потому что ОНА была послана ему для счастья, а не для искупления». Бывает так, что спроси у мужчины или женщины, сколько раз они любили по-настоящему в жизни, и те ответят, как ответил бы старый Агеев: «Один».

Василя Быкова не случайно называют европейским по духу писателем. Вполне правомерно говорить об экзистенциальной проблематике в его произведениях. Напомним слова Ж.-П. Сартра, что жить — значит постоянно выбирать. И даже если не происходит выбора — это тоже выбор. Быть человеком и не выбирать — невозможно. Человек, солдат мог поступить в книгах Быкова и так и по-другому, и тот, и другой поступок — были разумны. Причастны ли к этому выбору какие-либо высшие провиденциальные силы? Религиозный экзистенциализм говорит да, атеистический — нет. Но необходимость выбора человеком от этого не отменяется. В повести «Обелиск» герой рассуждает: «Он понимает, — кивнул Ткачук в мою сторону. — Потому что умеет слушать. Он хочет разобраться. А для вас все загодя ясно. Раз и навсегда. Да разве так можно? Жизнь — это миллионы ситуаций, миллионы характеров. И миллионы судеб. А вы все хотите втиснуть в две-три расхожие схемы, чтоб проще! И поменьше хлопот. Убил немца или не убил?.. Он сделал больше, чем если бы убил сто. Он жизнь положил на плаху. Сам. Добровольно. Вы понимаете, какой это аргумент? И в чью пользу…»

В сложных ситуациях и оценить выбор сложно. Миллионы людей в предвоенные, особенно военные, и послевоенные годы оказались в ситуации, когда надо было постоянно решать: или-или. Быков был знатоком подобных вещей. Как правило, в его произведениях невозможно предугадать ни развитие сюжета, ни исход истории.

В рассказе «Одна ночь» русский солдат и немецкий оказались одни в заваленном подвале и, чтобы выжить, не стали причинять друг другу вреда: «Иван сидел на полу и растерянно думал, как ему быть дальше. Конечно, надо вылезать, кажется, он смог бы теперь сам как-нибудь выкарабкаться через эту дыру, что ему немец. Пусть себе спит. Только… Только кто там, наверху? Стрельба вроде усиливалась, слышна была в одной стороне, потом в другой, где-то громыхали

разрывы мин. Но кто там? Наши? А если немцы? Если немцы, ему будет плохо с пробитой головой. Если же наши, без него перепадет немцу — нарвется на какого-нибудь молодого автоматчика и не успеет поднять и рук. Хлопцы теперь беспощадны к немцам, у многих свежие раны в сердцах, все может случиться.

Нет, придется, видно, выбираться вместе, сдать Фрица в плен, а там уж не его забота».

Наверху оказались враги. Иван стреляет в немца, когда они выбрались: «Очереди своей он не услышал, но в последнее мгновение заметил, как, прежде чем рухнуть наземь, крутнулся на ногах Фриц Хагеман».

Или еще пример выбора в упоминаемой ранее повести «В тумане». Буров, русский военный, должен убить другого человека, который роет себе могилу. «Чудак-человек! — подумал он о Сущене, который, немного передохнув, снова принялся копать. — О чем беспокоится…» На пригорке уже вырос свежий песчаный холмик, он отчетливо белел на земле, быстро разрастался вширь. Сущеня работал что надо, наверно, действительно заботился, чтобы могила была не хуже, чем на станционном кладбище. Но тут ему не кладбище, чтобы делать все основательно и с любовью, да и он не тот, кого хоронят на кладбищах. Прежде всего он предатель, а потом уже все остальное, старался разозлить себя Буров. Но это плохо ему удавалось, мешали сомнения, и главное сомнение шло, по-видимому, от непротивления Сущени, от его почти добровольного примирения с тем, что его ждало. Самое лучшее было, конечно, не думать о том, побыстрее сделать свое дело и смыться. Но вот думалось…». Буров размышляет, выполнить приказ или нет. Приказ убить Сущеню может быть ошибочным, тогда он убьет невинного человека, если оставит его жить, значит, не выполнит приказ своего руководства. А на войне за это строго наказывали. Вот пример сложнейшей внутренней борьбы. Выстрелить в Сущеню Буров не успел, рядом оказались немцы. Тяжелый финал в этом произведении. Сущеня, совершенно невиновный человек, заканчивает жизнь самоубийством. Василь Быков обратил внимание, что в этой повести он хотел показать идею безысходности. Чуть ниже он заметил, что в основе трагедии бывает и конфликт правого с правым, именно он и потрясает в повести «В тумане».

Дело, которому писатель служил всю свою творческую жизнь, — борьба с войной, борьба со всеми формами тирании. В своем позднем произведении 1999 года «Волчья яма» он высказал следующую мысль: « — Знаешь, в Евангелии сказано: не убий. Думаешь, почему так сказано, что им, врага твоего жалко? Тебя жаль, того, кто убивает. Даже если и есть за что. Думаешь, ты его убиваешь? Э, нет — себя убиваешь! Пуля, она ведь поражает двоих. Одного — прямо, а другого погодя, рикошетом. Вот в чем суть. Я уже нагляделся. Одному в Минске жена изменила. Горячий был, молодой. Ну и укокошил ее заодно с ее полюбовником, кстати. И все так обставил, что следствие зашло в тупик. Мол, пошли и пропали, может, куда уехали. И что думаешь: ему легче стало? Дудки! Высох весь, исхудал, рак подключился. В коридоре под лестницей повесился. Без суда и следствия».

Тема повести «Волчья яма» звучит весьма актуально: насилие и жестокость в современной армии. Случаев, подобных описанному, можно привести немало. Художник с чутким сердцем, Василь Владимирович здесь, по существу, задел тему безразличия государства к личности как таковой. Как-то высказывалось мнение, что тяга Быкова к Западу объясняется неприятием равнодушия к судьбе и несчастьям отдельного человека в России. Хотя, возможно, страны, где торжествуют законы и уважение к личности, не существует на карте мира.

Не мистика, не религия волновали писателя, а острейшие проблемы и тяжелейшие ситуации в жизни человека. Все свои произведения он писал как гуманист. Как и Федор Достоевский, известный исследователь темных сторон человеческой души, Василь Быков был верен правде о человеке.

АНАТОЛИЙ РЕЗАНОВИЧ

Что в имени моем?..

I

Рано или поздно, но человек начинает задумываться о себе: «Кто я? Зачем пришел в этот мир? Куда иду?..»

Вопросы это непростые. В них присутствует философия и вместе с тем есть реалистическое понимание жизни, которая у каждого из нас начинается и однажды заканчивается. Во всяком случае, на земле.

— А может ли заканчиваться жизнь? — спрашивает директор ОАО «Ошмянский мясокомбинат» Тамара Владимировна Филиппович. Подумав, сама же отвечает: — Нет, не может. Ведь человеческая жизнь — это не только тело, но и душа. А душа вечна.

В детстве Т. В. Филиппович любила смотреть в небо. Бывало, лежала на траве, вглядывалась в бесконечную голубую даль и думала: «А что дальше, дальше…» Однажды она увидела в небе белую лошадь, запряженную в карету.

— В этой карете стояла высокая женщина в длинном белом платье, — рассказывает Тамара Владимировна. — Держа вытянутую вперед руку, женщина в карете как будто плыла по небесной реке. Странным и непонятным было для меня это видение. Я его забыла, но через много лет оно повторилось. Что тоже было странно и непонятно… Я вроде бы оказалась в незнакомом городе, необычная архитектура которого меня удивила. Глянула вверх, а там, в небесной высоте, медленно-медленно плывут портреты в золоченых рамах. На портретах изображены мужчины в форме царских офицеров. Лица их серьезны и красивы, задумчивы и значительны… После сна я задумалась: «К чему этот сон? Что за портреты? Кто и что мне хочет сказать?..» Прошло еще какое-то время. Началась перестройка. Многие люди стали откровенно высказывать свои мысли о вере, начали рассуждать о жизни после смерти, заговорили о необходимости духовного возрождения, восстановления святых храмов… А я тогда еще была атеисткой, происходящее мне не нравилось. Мол, надо жить по-прежнему, по-социалистически, а все эти «интеллигентские» разговоры о душе и духе выбросить из головы. И вот как-то мы с родным братом Анатолием идем из клуба после очередного «социалистического» мероприятия, на котором осуждали перестроечные нововведения, свободомыслие. Я и говорю, что не назад нужно смотреть, а вперед, не капитализм строить, а коммунизм. Брат меня взял за плечи, потряс и резко заговорил: «Не в общественном строе дело. Главное, чтобы у людей совесть была, сострадание, любовь. Чтобы люди верили в Бога. Ты знаешь, из какого ты рода?.. Не знаешь… Так я скажу. Твоя бабушка была женой потомственного священника. Когда ее отдавали замуж, то везли в карете, в белом платье. А сзади за каретой везли пианино. На нем бабушка часто играла, при этом красиво пела… Почти все наши предки были священниками, а многие офицерами, служили в царской

армии…» И тут мне вспомнилось мое детство, видение с каретой, в которой стояла женщина, пришел на ум сон с плывущими портретами мужчин в золоченых рамах…»

В жизни немало веселого, оптимистического. Но и трагического тоже хватает. В этом смысле род Т. В. Филиппович пережил настоящее горе. В 1919 году ее дед, когда пришла на его землю Советская власть, запретил своим детям рассказывать, кто они, из какого сословия и какого воспитания.

— Это чтобы остаться в живых, сохранить род, — замечает Тамара Владимировна. Помолчав, добавляет: — Страшно…

Самое страшное с кончиной Сталина ушло. Но последствия революционной, большевистской идеологии в головах миллионов людей остались. Не избежали этих последствий и некоторые родственники Т. В. Филиппович, включая ее саму. Но хуже всех показал себя в этой ситуации двоюродный брат Тамары Владимировны, который сжег старые семейные альбомы с фотографиями священников, офицеров, всех тех, кто служил родному Отечеству и защищал его.

— Мой двоюродный брат был партийным функционером, вторым секретарем обкома партии и ради карьеры сжег фотографии всех предков, — грустно признается Т. В. Филиппович. — Бог ему судья…

Врожденное милосердие не дает ей гневаться, возмущаться или просто осуждать близкого родственника.

«Бог ему судья…» Это от души, от генетической памяти, от воспитания.

Глаза у Тамары Владимировны становятся влажными, и она долго молчит, о чем-то думает.

II

Человек устроен так, что ему все интересно: и его собратья, и природа, и все мироздание.

Т. В. Филиппович задавала и задает себе множество вопросов. И на очень многие вопросы у нее не было и нет ответов. Но желание понять прошлое, проанализировать настоящее и хоть немного разгадать будущее живет в Тамаре Владимировне, не дает ей покоя, мучит. Наверное, именно поэтому она всматривается в старинные храмы, ищет в окружающем мире неизвестные и таинственные образы, любит наблюдать рассветы и закаты, точно в них вот-вот раскроется некая тайна, которая поможет понять предначертание земного бытия и укажет путь к истине. Этот смысл Тамара Владимировна постигает с желанием и даже, кажется, с жадностью. Свидетельство тому — ее книга о родном крае, о своем Отечестве. Называется просто и символично — «Путешествие по Ошмянскому краю». Это на сегодняшний день единственное издание в Республике Беларусь, которое, еще раз замечу, подготовлено не журналистом, писателем или краеведом, а директором крупного промышленного предприятия. В книге практически зримо показывается бывший Ошмянский повет[1], территория которого равнялась нескольким сегодняшним районам. К тому же книга написана на добротном белорусском языке, проиллюстрирована по-настоящему вдохновенными фотографиями, что в наше время является редкостью.

С удовольствием листаю книгу. Сколько в ней всего! Вот зимняя панорама Ошмян, вот внутреннее убранство Спасо-Воскресенской церкви, вот под необъятным небом костел Михаила Архангела, а вот остатки Гольшанского

[1] Повет — (*бел.*) уезд.

замка… Удивительные пейзажи! Портреты людей с одухотворенными лицами.

Книга в целом являет собой материальную память поколения, которое жило много лет назад. Наши предки возводили храмы, строили дворцы, творили музыку, стихи и прозу, создавали величайшую культуру, в которой не было места хамству, нетерпимости, злу во всех его мерзких проявлениях.

— Знаете, моя книга — это как исповедь моей души, как дань ушедшим в мир иной предкам, — задумчиво роняет Т. В. Филиппович. — И одновременно это гимн сегодняшней жизни, огромное желание ее продолжения. Ведь мы рождаемся, чтобы жить, делать добро, оставить после себя след…



Тамара Владимировна Филиппович.

III

Жизненный путь сложен. А путь к Богу еще и извилист. Этот путь каждый проходит по-своему. Кто-то пытается преодолеть его налегке, надеясь на неведомую силу, которая поднимет и принесет куда надо, а кто-то упорно трудится, физически и духовно, потому что понимает, что чудес не бывает, ни на земле, ни на небе.

В основе всего труд.

— Мой дед был священником и выполнял еще обязанности мирового судьи, — рассказывает Тамара Владимировна. — Была такая общественная должность в старину. И уж если он решал кого-то наказать за какую-нибудь провинность, то это было справедливо. И люди это чувствовали, за что и уважали деда.

Справедливость — в генах рода Филипповичей. Родословная, которую теперь знает Тамара Владимировна, начинается с 1725 года. Это немалый отрезок времени, в котором было всякое: обыкновенные трудовые будни и войны, отдых в кругу семьи и исход родни из насиженных мест в результате революционных и других трагических событий.

— Человек так устроен, что ему всегда чего-то не хватает, — философствует Т. В. Филиппович. — Отсюда злость, раздоры, кровь…

Самое страшное испытание пришлось пережить семье Филипповичей после Октябрьской революции. Как единое целое семья практически перестала существовать.

— Чтобы мой отец, его братья, другие родственники уцелели, выжили в те страшные годы, приходилось долго скрывать, кто мы и что мы, — с болью в голосе делится воспоминаниями Тамара Владимировна. — Тем более, что в родне были и те, кто служил в Белой гвардии. Мой дед даже бумаги с нашей родословной разорвал на две части и отдал эти части сыновьям. Конечно, в надежде, что когда-нибудь эти бумаги станут вновь читаемыми. И они таковыми стали. Мой отец сохранил правую часть разорванной родословной, а когда

умирал, то передал ее сыну Анатолию — моему брату. От него эти ценные бумаги, вернее, часть их, досталась мне. Прошло несколько лет, и племянник отца привез архивные материалы из церковных ведомостей, их левую часть.

— Смотрите, — удивилась и обрадовалась тогда я, — грустно улыбается Т. В. Филиппович. — Разорванные части бумаг сходятся...

В них предстала жизнь и судьба семьи Филипповичей, их рода: дедушек, бабушек, дядей, тетей, племянников и племянниц, всех, кто носил и носит эту знаменитую фамилию.

Подумалось: быть может, в благодарность за сохранившуюся родословную Тамара Владимировна славит родной край, открывает людям его незнакомые страницы, дает новую жизнь памяти, которая должна жить в каждом из нас. Во всяком случае, Т. В. Филиппович делает доброе дело. А такое дело всегда остается.

IV

— Надо верить, — убеждена Тамара Владимировна. — Вера помогает не только в повседневной жизни, но и в работе.

Это так. Вот уже более тридцати лет Т. В. Филиппович возглавляет Ошмянский мясокомбинат — один из лидеров в мясоперерабатывающей отрасли Республики Беларусь.

Мясокомбинат выпускает более двухсот наименований колбасных изделий и копченостей, говядину и свинину, говяжий и свиной пищевой жир, шкуры говяжьи и свиные мокросоленые, кишечную говяжью и свиную оболочку, рогокопытное и эндокринное сырье, муку мясокостную, жир кормовой.

Только за последние два года на мясокомбинате освоили несколько видов вареных колбас, которые имеют хорошее соотношение цены и качества. Это «Белорусская» в натуральной оболочке, «Гольшанская», «Деревенская», «Птушыная» и другие.

— Прежде всего, мы делаем ставку на натуральность продукта, — с гордостью рассказывает Тамара Владимировна. — Поэтому всегда очень внимательно изучаем специи и приправы, стараемся учесть вкусы потребителей нашей продукции. Обязательно следуем советам профессионалов — ученых и медиков. А они настоятельно рекомендуют продукты, полезные и необходимые человеческому организму. Неслучайно комбинат выпускает продукты с лактулозой для детского и профилактического питания, с морской капустой, которая, как известно, содержит йод. Недавно освоили новое направление: используем в качестве растительной добавки лафант анисовый. В Беларуси это довольно редкое растение. Произрастает у нас еще лафант морщинистый. Это растение более известное. Оно применяется в пищевой и кондитерской промышленности. Лафант анисовый отличается тем, что в нем для человека больше целебных свойств — оно хорошо помогает при атеросклерозе, стенокардии, снижает артериальное давление при гипертонии. Отвары из лафанта анисового снимают головную боль, исцеляют сердечные заболевания, избавляют от бессонницы. Там, где растет это растение, даже дышится легко. При этом проходят боли, улучшается настроение. По изучению свойств этого растения в нашей Гродненской области разработана региональная научно-техническая программа, создана специальная лаборатория. На базе областной больницы исследования проводят специалисты Гродненского университета. Это я к тому, что в своей работе мы основываемся на проверенных результатах. Естественно, свое ноу-хау запатентовали. Лафант анисовый покупаем у

фермера из Ошмянского района. Вкус и целебные свойства продукции мясокомбината давно и положительно оценили наши покупатели. Чтобы быть на высоте, работаем постоянно и целенаправленно. Так, при производстве колбас используем натуральный пчелиный мед. Ведь по технологии всегда в колбасу добавляется сахар. Как глюконат натрия, он усиливает вкус, делая его более насыщенным. Обычно 100 граммов меда добавляем в 100 килограммов фарша. Излишне говорить, что натуральный мед гораздо лучше и целебнее сахара. К тому же мед убивает микроорганизмы. У нас есть свое пчеловодческое хозяйство — около 200 пчелосемей. Находятся они в арендованном колхозном саду в бывшем имении графа Чапского. Мы сами заготавливаем для копчения нашей продукции опилки ольхи. Единственное, чего не приемлем, так это сою. Считаем, что ее употребление несвойственно белорусам…

Т. В. Филиппович со знанием дела и с энтузиазмом говорит о продукции своего мясокомбината, называет лучших работников, делится планами на ближайшие месяцы, годы. Она помнит прошлое, живет настоящим, думает о будущем.

Не стоит называть награды, которых удостоена директор предприятия. Их много — десятки. И сотни — у коллектива, которым она руководит.

Но самая большая для нее награда — семейная икона, уцелевшая в годы драматических потрясений и которую Тамара Владимировна привезла от своих родственников к себе домой, в Беларусь. Именно от этой иконы в очень напряженный и трудный период времени, связанный с болезнью мамы, Тамара Владимировна явственно услышала строгий голос:

— Терпи.

И она терпела, несла свой крест, разрываясь между домом и предприятием.

Вроде нехорошо в одном материале смешивать материальное с духовным, рассказывать о родословной, а потом переводить разговор на производство мясопродуктов, но это жизнь. Ее невозможно описать одной краской. Так и в судьбе Т. В. Филиппович перемешалось прошлое с настоящим, обыденное с высоким, родное с чужим.

Увы, непросто все. Но в этом — смысл.

Стратеги Генерального штаба Советской Армии в ходе Великой Отечественной войны

«Мозг армии» называли Генеральный штаб в общей системе Вооруженных Сил СССР.

Управление войной в XX веке было возможным только при хорошо организованном, правильно, четко и безотказно функционировавшем военном аппарате управления, частью которого и являлся Генеральный штаб. Он укомплектовывался лицами, выковавшими свои взгляды в одних и тех же условиях, отобранными тщательнейшим образом, связавшими себя круговой ответственностью.

Руководство войной в целом перешло из рук полководца к коллективу.

«Генеральный штаб, — писал советский военный ученый А. Свечин, — должен говорить на одном языке и вкладывать одни и те же мысли в определенные выражения».

На начальнике Генерального штаба лежала огромная ответственность за подготовку армии в мирное время и за правильное использование ее в ходе войны. Ему полагалось заглядывать далеко вперед.

Генеральный штаб Красной Армии[1] в разные периоды Великой Отечественной войны возглавляли: генерал армии Г. К. Жуков, маршалы Советского Союза Б. М. Шапошников, А. М. Василевский и генерал армии А. И. Антонов.

Хотя по характеру эти военачальники были разными, но у них было и много общего. Все четверо прошли закалку в горниле Первой мировой и гражданской войн, окончили (за исключением Жукова) одну и ту же Академию Генерального штаба (Шапошников — в 1910 году, Василевский и Антонов — в 1937-м), имели опыт командно-штабной службы, до совместной работы знали друг друга. Их личные взгляды на военное строительство в большинстве случаев совпадали.

С началом Великой Отечественной войны Генеральный штаб был подчинен Верховному Главнокомандующему и являлся основным органом управления Ставки Верховного Главнокомандования по стратегическому планированию и руководству Вооруженными силами на фронтах.

Особое внимание в работе Генерального штаба уделялось поддержанию постоянной связи с командующими войсками фронтов, командующими флотами и их штабами, а также организации контроля за выполнением войсками директив и распоряжений Верховного Главнокомандующего (ВГК).

Важнейшей частью работы начальника Генерального штаба был анализ обстановки на фронтах. Обычно в процессе этого рождались оперативные предложения, которые затем обосновывались расчетами и вносились на рассмотрение Ставки.

Самый короткий срок на посту начальника Генерального штаба (с начала гитлеровской агрессии на СССР) находился генерал армии Г. К. Жуков. На его долю выпали нелегкие дни первых поражений дивизий Красной Армии, временные потери управления фронтами, а отсюда неясность обстановки, вызывавшая нервозность и скорую расправу над виновными и невиновными. При этом одновременно происходила перестройка организационной структуры и стиля работы

[1] С 1918 по 1946 г. официальное наименование Советской Армии.

Генерального штаба в соответствии с развивающимися событиями, вызванными вероломным нападением врага.

В июле 1941 года Жуков назначается командующим фронтом, оставаясь членом Ставки ВГК. Его полководческий талант раскрывается полнее и ярче на полях великих сражений и становится достоянием мировой истории.

В Генеральный штаб вернулся Б. М. Шапошников, до этого уже дважды бывший его начальником (1928—1931 и 1937—1940 гг.).

Проведенная реорганизация внутри штаба позволила установить более четкий ритм работы всех управлений. Б. М. Шапошников и начальник Оперативного управления А. М. Василевский получили возможность сосредоточиться на крупных вопросах, более основательно анализировать положение на фронтах. Оба они приняли непосредственное участие в планировании операций по отражению вражеских ударов под Смоленском и Москвой, разгрому немецко-фашистских войск на подступах к столице Родины.

Шапошников был обаятельным человеком. К подчиненным относился с истинно отеческой теплотой. Если у кого-то что-то получалось не так или кто-то ошибался, он не ругался, даже не повышал голоса, а лишь с укоризной спрашивал: «Что же это Вы, голубчик?» Такое обращение не часто встретишь и в мирных условиях, не то что в жесткое военное лихолетье.

Надо ли говорить, с каким уважением относились молодые офицеры к маршалу. И уж ошибок они никогда не повторяли.

При жизни он не издал своих мемуаров. Борис Михайлович начал их готовить лишь когда пошатнулось здоровье. И все же до конца задуманное завершить не удалось. На первой странице подготовленного текста он написал: «Публикуйте через 20 лет после моей смерти». Скончался Маршал Советского Союза 26 марта 1945 года, не дожив до Дня Победы совсем немного.

Его мемуары издал генерал-лейтенант, инженер И. Б. Шапошников — сын маршала.

Для меня она и сегодня любимая книга.

В мае 1942 года, в связи с назначением Шапошникова заместителем Народного комиссара обороны СССР, начальником Генерального штаба был утвержден А. М. Василевский. Он обладал редким даром буквально на ходу схватывать главное, делать правильные выводы и предвидеть, как будут развиваться события в дальнейшем. В своих убеждениях он был тверд, но в то же время прислушивался к мнению других.

Отличительной чертой Василевского, как отмечали его соратники, было доверие к подчиненным, глубокое уважение к людям, бережное к ним отношение.

Сталин ценил деловые качества Александра Михайловича, верил в его правдивость, в исчерпывающую полноту докладов и часто посылал его на фронт для изучения того или иного вопроса и выработки на месте соответствующего решения. Выезды в действующие армии были одним из методов работы Генерального штаба Красной Армии.

Чтобы длительное отсутствие Василевского на сказывалось на работе Генерального штаба, он подобрал себе достойную замену. В декабре 1942-го в должность начальника Оперативного управления и заместителя начальника Генштаба вступил генерал-лейтенант А. И. Антонов, бывший до этого начальником штаба Закавказского фронта.

Василевский знал, что Антонов — сын офицера-артиллериста, что родился в г. Гродно, а в армии с 1919 года. А главное, был уверен в его преданности советской родине.

Не знающий усталости труженик и великолепный знаток «штабной кухни», Алексей Иннокентьевич крепко держал в своих руках все нити оперативного руководства огромной армии.

Уравновешенность в характере Антонова сочеталась с редкой твердостью, принципиальностью и последовательностью в требованиях. Некоторые называли

его педантом, но это был хороший и нужный педантизм, ибо за малейшей оплошностью стояли жизни тысяч людей.

У Верховного Главнокомандующего Антонов пользовался непререкаемым авторитетом, несмотря на то, что при необходимости последний осмеливался возражать вождю.

В феврале 1945 года А. И. Антонов утвержден начальником Генерального штаба.

Но каким бы работоспособным и талантливым ни был начальник Генерального штаба, одному невозможно справиться с титаническим объемом обязанностей по руководству войной, не обойтись без опытных заместителей и помощников, обладающих творческим, талантливым умом, незаурядными организаторскими способностями. В 1940 году в Генеральный штаб на должность старшего помощника начальника отдела назначили С. М. Штеменко. За два с небольшим года этот способный, энергичный молодой командир выдвинулся в один ряд с творцами наступательных и оборонительных операций, проведенных Красной Армией в 1943—1945 гг.

Штеменко, как и Василевский, часто выезжал на тот или иной фронт с различными задачами по указанию Верховного Главнокомандующего.

Так, в конце 1943 года, вместе с Ворошиловым — в Приморскую армию, а летом 1944-го с Тимошенко — в 3-й Прибалтийский фронт.

В обоих случаях вырабатывались предложения на проведение наступательных операций. Не случайно еще при жизни Сталина Штеменко стал начальником Генерального штаба Вооруженных Сил СССР, на посту которого он трудился с 1948 по 1952 гг.

Из прошедших школу службы в Генеральном штабе вышла целая плеяда известных военачальников: А. А. Гречко, В. В. Курасов, С. С. Бирюзов, М. В. Захаров, С. П. Иванов, В. Д. Соколовский, Н. Ф. Ватутин, К. К. Мерецков и др.

Генеральный штаб состоял из многих управлений и служб. Основным же рабочим ядром, ведавшим коренными вопросами и отвечающим за все, являлось Оперативное управление. Остальные органы Генштаба действовали в тесном контакте с Оперативным управлением, выполняя его указания и получая от него исходные данные для своей работы.

Для службы в управления Генерального штаба подбирались наиболее инициативные командиры, способные аналитически мыслить. Посредственность там не засиживалась.

Для связи с войсками в 1941 году был создан корпус офицеров Генерального штаба. Сначала его представители, выполнив задачу в действующей армии, возвращались обратно в Москву. Позднее признали рациональным постоянно держать офицеров Генштаба при фронтах и армиях, а на некоторых направлениях — даже при корпусах и дивизиях.

Такой офицер имел право докладывать только о том, что видел собственными глазами, а не со слов других лиц или по штабным документам. Многие из этих офицеров пали смертью храбрых.

Генеральный штаб трудился круглые сутки. Жесткий, но необходимый регламент работы, установленный Верховным Главнокомандующим (не без помощи Антонова), действовал годы. Суточный цикл начинался с семи утра со сбора данных об обстановке на фронте за прошедшую ночь.

Начальник Оперативного управления и начальники направлений лично вели рабочие карты (как, впрочем, и остальные генералы, офицеры готовили «от руки» все боевые документы), которые тщательно сверялись. Обобщенные данные о противнике, о состоянии своих войск, график подачи материальных ресурсов и другие сведения включались в утреннее боевое донесение, подписываемое в 10.00 начальником Оперативного управления.

По его содержанию он же, между 10.00 и 11.00, по телефону докладывал Верховному Главнокомандующему.

По ходу заслушивания отдаваемые Сталиным распоряжения тут же оформлялись директивой, приказом или еще каким-либо документом.

Позже, по заведенному порядку, докладывались начальнику Генерального штаба.

К 15.00 в Оперативном управлении заканчивалась обработка данных за первую половину дня и готовилось второе боевое донесение, которое рассылалось членам правительства по особому списку.

Около 16.00 следовал доклад начальника Генерального штаба Верховному Главнокомандующему.

К 21.00 снова собирались и обобщались данные по обстановке на фронтах.

После 23.00 начальник Генерального штаба, один или с начальником Оперативного управления, докладывал лично Сталину.

В течение суток Ставка получала два боевых донесения, исполненных в Генштабе, и одно — непосредственно на каждом фронте. И так до конца войны…

Генералы и офицеры Генерального штаба не водили полки в атаки, но своим интеллектуальным трудом в области военного искусства сделали многое, чтобы приблизить День Победы.

* * *

Свои первые познания о фундаментальном значении Генерального штаба Советской Армии в годы Великой Отечественной войны я стал приобретать в 1954 году, когда был слушателем Военной ордена Ленина Академии бронетанковых войск имени И. В. Сталина.

В 1968 году меня, генерал-майора танковых войск, командира 28-й танковой дивизии Белорусского военного округа, откомандировали на высшие академические курсы под руководством Министра Вооруженных Сил СССР Маршала Советского Союза А. А. Гречко.

Занятия с нами (в основном, командирами дивизий) проводили лично командующие и начальники родов войск и служб Вооруженных Сил СССР. Одним из таких учителей был 1-й заместитель начальника Генштаба Сергей Матвеевич Штеменко.

Интересно было слушать генерала, бывшего одно время, при жизни И. В. Сталина, начальником Генерального штаба Советской Армии. Впечатление о нем у меня сложилось самое положительное и сохранилось до сего времени, хотя и минуло с той поры более сорока лет.

Генерал-лейтенант Юрий Иванов,
член военно-научного общества
при ГКДУ «Центральный Дом офицеров
Вооруженных Сил Республики Беларусь»,
член Союза писателей Беларуси.

Промелькнувший метеор

Совершая в 1829 году поездку по Уралу, Алтаю и Сибири, выдающийся немецкий естествоиспытатель, географ и путешественник Александр Гумбольдт вместе со своими коллегами С. Эренбергом и Г. Розе посетил небольшую Орскую крепость, расположенную на границе Европы и Азии. Ученые остановились на отдых в доме коменданта полковника Исаева. Здесь А. Гумбольдт с изумлением увидел на столе одну из книг своего многотомного издания под названием «Путешествия в равноденственные области Нового света». На вопрос, чья это книга, хозяин ему ответил, что она принадлежит ссыльному, молодому человеку, который служит солдатом в Орском гарнизоне. Из любопытства А. Гумбольдт попросил позвать его.

В ожидании ссыльного полковник Исаев рассказал гостям, что солдат оказался очень приятным молодым человеком, очень обходительным и грамотным, но, не имея возможности сразу освободить его от службы в действующей армии, он ввел его в свой дом. Из чувства благодарности ссыльный стал заниматься с его детьми французским языком, географией и другими науками, т. к. в этом отдаленном крае очень трудно было найти для детей учителя. Исаев также сообщил, что в свободное время солдат изучал татарский язык, знакомился с кочевавшими в окрестностях Орска киргизскими (казахскими. — *В. А.*) старейшинами, часто приглашая их к себе, угощал их чаем, пловом и бараниной, привык к их обычаям, нравам и языку, на котором мог довольно свободно читать и писать.

Вскоре на пороге дома появился молодой человек в грубой солдатской шинели и представился: рядовой Ян Виткевич. Из беседы, длившейся около часа, Александр Гумбольдт и его друзья узнали, что солдат родился в 1809 году в Гродненской губернии в весьма состоятельной шляхетской семье. Воспитание получил в Крожанской школе, находившейся в Центральной Литве. Осенью 1823 года в знак протеста против ареста филоматов, среди которых был и их преподаватель Ян Соболевский, они организовали тайное «Общество черных братьев». Подростки разослали письма своим одноклассникам и школьному инспектору о своей «готовности оказания помощи, когда потребуется». Письма попали к властям. По указанию наместника Царства Польского великого князя Константина Павловича, двух подростков, что постарше, заточили в Бобруйскую крепость, а четвертых, в том числе и его, Яна Виткевича, в цепях направили на Оренбургскую пограничную линию в рядовые, без права повышения.

Приятная внешность молодого человека, его скромный нрав и необыкновенная образованность так заинтересовали великого ученого и замечательного человека, что он попросил у Виткевича его адрес, с тем, чтобы быть полезным ему. В свою очередь, Александр Гумбольдт оставил ему свой германский адрес.

Возвращаясь из Сибири, А. Гумбольдт заехал в Оренбург, где встретился с генерал-губернатором Павлом Петровичем Сухтеленом и рассказал ему о печальном положении рядового Яна Виткевича, а также попросил графа позаботиться о нем, облегчить его нелегкую судьбу. Павел Сухтелен был одним из умнейших правителей края, участником почти всех наполеоновских войн. Во время сражения с французами под Аустерлицем получил сабельный удар в голову, был контужен ядром и взят в плен. Семнадцатилетний герой обратил на себя внима-

ние самого Наполеона, встретившего группу русских военнопленных во главе с князем Репниным.

— Ого! Так молод и вздумал потягаться с нами!

— Молодость не мешает быть храбрым, — смело и выразительно ответил Сухтелен на едкое замечание полководца стихом из корнелевской трагедии «Сид».

— Браво, молодой человек! Ответ прекрасный! — воскликнул Наполеон. — Продолжайте служить, и вы далеко уйдете. Прощайте, храбрый Сухтелен.

Оставляя пленных, Наполеон тут же повелел запечатлеть сцену встречи с Сухтеленом на картине, которая долго после того украшала стены Тюильрийского дворца.



Ян Виткевич.

После встречи с Гумбольдтом Павел Петрович вызвал Виткевича в Оренбург, произвел его в унтер-офицеры, назначил своим ординарцем, перевел к оренбургским казакам, а позднее предоставил ему работу в канцелярии киргизского (казахского. — *В. А.*) пограничного управления, которым руководил известный ученый-востоковед — генерал фон Генц. К великому сожалению, граф П. П. Сухтелен вскоре умер в возрасте сорока шести лет.

Преемник графа Сухтелена генерал Василий Алексеевич Перовский, кстати, тоже герой Бородинского сражения, впоследствии, при отступлении к Москве, был неожиданно схвачен французами, и только случай помог ему избежать расстрела. Разутого и ограбленного французскими мародерами, восемнадцатилетнего пленника сразу отправили во Францию, в Орлеан, и только в феврале 1814 года, при вступлении туда русских войск, ему удалось бежать из плена к своим аванпостам.

После того, как Василий Алексеевич узнал Виткевича поближе, он произвел его в офицеры и посылал несколько раз с поручениями в казахские степи и даже два раза в Бухару. Первый раз — зимой, сопровождаемый двумя преданными ему казахами, он совершил за 17 дней переход в Бухару верхом, по глубокому снегу, через замерзшую Сырдарью. В одетом по-казахски, прекрасно усвоившем обычаи, привычки и язык казахов человеке никто не признавал европейца и христианина, даже фанатичные бухарцы; более того, красивые темные глаза, черная борода, обстриженная макушка и смуглое лицо делали его похожим на азиата и мусульманина.

Когда Ян Виткевич во второй раз был в Бухаре по поручению генерал-губернатора В. А. Перовского, чтобы потребовать от эмира выдачи нескольких русских купцов, незаконно задержанных там, он «снял халат и ездил по городу в офицерском мундире, отказавшись сидеть взаперти». И это в столице закрытой мусульманской страны. «Я счел за лучшее не скрываться, а сказаться настоящим именем и званием своим, — объяснял Виткевич причины отказа от «переодевания». — Я сделал это так по той причине, что мог бы легко быть узнан кем-нибудь, если бы сказался мусульманином и (под) чужим именем, тем более что бухарские купцы писали уже об отправлении моем из Оренбурга и из Хивы, так и собственно потому, что мне казалось несколько унизительным для русских, а тем более для офицера, скрываться от бухарцев под чужим именем и (потому) что хотел сделать опыт, проложить и русским свободный путь в ханство это».

Среди приключений оренбургского офицера в Бухаре стоит выделить одно, не нашедшее отражения в отчете, но наложившее отпечаток на всю дальнейшую судьбу Яна Виткевича. Он встретился там с Хуссейном Али — послом эмира Афганистана Дост Мухаммед-хана. Хуссейн Али доверился Виткевичу, сказав, что имеет письменное поручение своего господина к русскому вице-канцлеру Нессельроде, и попросил его взять в Оренбург под своей защитой. Поскольку миссия Яна Вит-

кевича в Бухаре затянулась, он научился читать, писать и говорить по-персидски. И в этом ему помогло ежедневное пребывание в обществе Хуссейна Али.

Преодолев многочисленные затруднения и даже опасности, они покинули Бухару и благополучно добрались до Оренбурга, откуда Перовский направил обоих в Петербург. А накануне оренбургский военный генерал-губернатор отправил письмо в северную столицу от 14 июня 1836 года на имя директора Азиатского департамента Министерства иностранных дел К. К. Родофиникина. В нем, в частности, говорилось:

«Сегодня или завтра выезжают (из Оренбурга в Петербург. — *В. А.*) Виткевич и афганский посланец… Не знаю, успею ли переписать и прислать Вам записку Виткевича о поездке его в Бухару; мне бы хотелось, чтобы Вы получили ее если не прежде его прибытия в Петербург, то, по крайней мере, в одно время. Быть может, она покажется Вам несколько пространна, но это от того, что я приказал ему писать совершенно все, что он видел, слышал и узнал; Вы найдете в ней весьма много интересных сведений. Зная Вашу справедливость и как Вы любите награждать и поощрять достойных, я счел совершенно излишним делать о Виткевиче формальное представление; Вы его увидите и оцените сами, прочтете его записку и решите, достоин ли он Вашего начальничьего покровительства; **от природы скромного характера, он сделался еще более застенчив от несчастных обстоятельств, которые, думаю, Вам отчасти известны; еще в детстве сделал он шалость, которую назвали политическим преступлением, и был пятнадцати лет наказан он как преступник; сосланный в дальний гарнизон на оренбургской линии, Виткевич более десяти лет прослужил солдатом, и, имея начальниками пьяных и развратных офицеров, он сумел сохранить не только чистоту и благородство души, но сам развил и образовал умственные свои способности; изучился восточным языкам и так ознакомился со степью, что можно решительно сказать, что с тех пор как существует Оренбургский край, здесь не было еще человека, которому бы так хорошо была известна вся подноготная ордынцев** (казахов. — *В. А.*), **он уважаем вообще всеми киргизами** (казахами. — *В. А.*) **как по правилам своим, так и по твердости, которую имел случай неоднократно оказывать при поездках в степь; одним словом, Виткевич при ведении пограничных сношений может оказать самые важные услуги».** Далее В. А. Перовский сообщает, что хочет видеть Виткевича своим адъютантом и уже в прошлом, 1835 году, ходатайствовал об этом в Петербурге, но получил отказ. Сейчас же он снова пытается просить за Виткевича.

Как видим, Василий Алексеевич Перовский весьма высоко оценил результаты поездки своего подчиненного. Отправляя его «Записку» в Азиатский департамент, оренбургский военный губернатор охарактеризовал Я. Виткевича «как человека дельного, толкового, знающего дело свое, человека практического, который более способен действовать, чем писать и говорить, человека, знающего степь и отношения ее лучше, чем кто-либо знал и знает ныне». Вероятно, исходя из специфических черт характера своего офицера «более способного действовать, чем писать и говорить», Перовский поручил своему чиновнику для особых поручений В. И. Далю изложить на бумаге «рассказ» Виткевича о его путешествии. Быть может, Ян Виткевич, изучивший ряд языков народов Востока, не в совершенстве владел русским (с губернатором он мог изъясняться по-французски. — *В. А.*). Так или иначе, но на тексте «Записки» имеется пометка академика Гельмерсена, что она «составлена В. И. Далем по рассказам Виткевича», и, по существу, вводимый в научный обиход материал, безусловно, может считаться их совместным творчеством. Разумеется, он от этого ни в малейшей степени не проигрывает.

Так как послание от Дост Мухаммед-хана графу К. В. Нессельроде содержало уверения в дружбе и желание установить торговые связи с Россией, Я. Виткевичу, произведенному к тому времени в поручики, было приказано сопровождать в Кабул полномочного представителя Хуссейна Али с ответным письмом Азиатского департамента. «Никто из нас не узнал Виткевича, — вспоминал позднее генерал-лейтенант И. Ф. Бларамберг, — когда он, одетый афганцем, в большом белом тюрбане,

из-под которого выбивались длинные густые черные локоны, пришел к нам в лагерь. Он до такой степени усвоил обычаи, привычки и язык афганцев, что даже персу и афганцу было трудно отличить его от своих. Во время последнего дневного перехода между Фарахом и Гератом при падении с лошади он вывихнул ногу и теперь хромал. Он сообщил нам много интересных подробностей о своем путешествии из Герата в Кабул в сопровождении лишь одного голяма через Прирònамизские горы, населенные дикими племенами гиссар, о пребывании в Кабуле, знакомстве с Бернсом (английским разведчиком. — *В. А.*) и возвращении через Кандагар».

О пребывании Яна Виткевича в Тегеране имеется еще один чрезвычайно любопытный документ, а точнее, его письмо к В. И. Далю, которое хранится в Институте русской литературы РАН в Петербурге (Пушкинский дом. — *В. А.*). Происхождение его таково: в Летнем дворце иранского шаха, в 7 верстах от Тегерана, Ян Виткевич читал 31 августа 1837 года доставленную тавризским курьером русскую газету «Инвалид» за 17 и 19 июля, где описана встреча в Оренбурге великого князя Александра Николаевича (будущего императора Александра II. — *В. А.*), сопровождаемого поэтом В. А. Жуковским. «Тут вы нарадовались, — пишет Ян Виткевич Далю, — попировали, Владимир Иванович, а меня досада берет, что не мог видеть, как показались Его Высочеству земляки-киргизы (казахи. — *В. А.*), особенно вестовые, из которых по описанию в «Инвалиде» я узнал одного с медалью — это Нарынбай, — так и вижу перед собой его премудрую наружность».

Последняя встреча И. Ф. Бларамберга с Яном Виткевичем состоялась 11 февраля 1839 года в Тегеране, куда Виткевич прибыл с одним слугой. Он благополучно совершил смелое и опасное путешествие через большую солончаковую пустыню. «Виткевич, — пишет Иван Федорович, — очень много рассказывал нам о своем пребывании в Кабуле и Кандагаре, но, к сожалению, он не вел дневника и вообще не любил писать. Несколько раз я запирался с ним в моей комнате, приказав слуге никого не впускать, и Виткевич диктовал мне свои воспоминания, а также описания маршрутов, которые я впоследствии включил в свою книгу о Персии. 2 марта (1839 г. — *В. А.*) Виткевич выехал из Тегерана в Петербург».

Переговоры Яна Виткевича с эмиром Дост Мухаммед-ханом были плодотворны и открывали широкие возможности для русско-афганского сближения. После своего возвращения в Петербург из длительной и крайне изнурительной поездки в Иран и Афганистан Виткевич в ночь на 9 мая 1939 года был найден мертвым в столичных меблированных комнатах «Париж». Привезенных им из долгих странствий различных документов не оказалось. Официальная версия случившегося — самоубийство. Она вполне правдоподобна, хотя отдельные детали происшедшего вызывают некоторые сомнения.

Преждевременная гибель этого, безусловно, талантливого и одаренного от природы человека вызвала немалую печаль его коллег и знакомых, в том числе В. И. Даля и сослуживца Виткевича по Оренбургу Н. В. Ханыкова, ставшего впоследствии видным востоковедом, почетным и действительным членом многих научных обществ и учреждений. Тридцать лет спустя, переехав на жительство в Париж, Николай Васильевич запрашивал В. И. Даля: «…не напечатали ли Вы где-нибудь Вашей записки о Бухаре со слов Виткевича и его к Вам писем из-под Херата (Герата. — *В. А.*) и из Кандагара? В 1858 году я совершил почти то же путешествие — от афганской границы до вступления в большую Керманскую пустыню, даже совершенно шел по его следам, которые там еще довольно живо сохранились. Жаль будет, если из всего виденного им останется только сухой маршрут, напечатанный И. Ф. Бларамбергом на страницах 335 — 346 его статистического обозрения Персии, изданного в 1853 году. Если Вы еще не напечатали Вашей записки, то, пожалуйста, напечатайте и, если можно, доставьте отдельный оттиск Вашему покорному слуге».

К сожалению, понадобилось еще свыше 110 лет, чтобы интересные и ценные материалы Яна Виткевича о народах Средней Азии увидели свет.

Вячеслав АФАНАСЬЕВ

Авторы номера

ЧАРКАЗЯН Ганад Бадриевич. Родился в 1946 г. в Армении. Окончил Белорусский политехнический институт. Поэт, прозаик, переводчик. Пишет на курдском и армянском языках. Автор книг поэзии и прозы «Прочность», «Цвет доброты», «Пространство и время», «Тоска по дому», «Опередить смерть» и др. Живет в Минске.

ПАШКОВ Геннадий Петрович. Родился в 1948 г. в Чашникском районе Витебской области. Окончил факультет журналистики Белорусского государственного университета. Поэт, переводчик, публицист. Автор многих книг. Лауреат Государственной премии Республики Беларусь. Живет в Минске.

БОРОВИКОВА Раиса Андреевна. Родилась в 1947 г. в деревне Пешки Березовского района Брестской области. Окончила Литературный институт им. М. Горького. Поэтесса, прозаик, переводчик. Автор многочисленных сборников поэзии, прозы, книг для детей. Лауреат Литературной премии имени А. Кулешова и Государственной премии имени Янки Купалы. Живет в Минске.

ШЕЛЕХОВ Михаил Михайлович. Родился в 1954 г. в д. Плотница Столинского района Брестской области. Окончил Белорусский государственный университет, Высшие курсы сценаристов и режиссеров при Госкино СССР и Высшие литературные курсы при Литературном институте им. М. Горького. Поэт, прозаик, переводчик, публицист, сценарист. Лауреат нескольких творческих премий. Автор ряда книг поэзии, а также повестей и романов. Живет в Минске.

КРЯЖЕВА Светлана Павловна. Родилась в 1950 г. в г. Ново-Белица Гомельской области. Окончила факультет психологии Ярославского государственного университета. Автор книги прозы, а также публикаций в альманахах «Дзень паэзіі-2005», «Гоман» и коллективных сборниках. Живет в Минске.

КАРАВКИН Роман Иосифович. Родился в 1928 г. в Витебске. Окончил Московское авиаучилище связи, отделение журналистики Белорусского государственного университета. Поэт. Живет в Минске. В «Нёмане» публикуется впервые.

СЕРБАНТОВИЧ Анатоль (Анатолий Станиславович). Родился в 1941 г. в д. Ордоть Шкловского района Могилевской области. Окончил факультет журналистики Белорусского государственного университета. Автор сборников поэзии «Азбука», «Минное поле», «Жаворонок в зените». Умер в 1970 г.

ФОРСТЕР Эдуард Морган. Родился в 1879 г. в Лондоне. Окончил Кембридж, где посещал заседания кружка «кембриджских апостолов». Романист и эссеист. Автор романов «Куда боятся ступить ангелы», «Самое долгое путешествие», «Морис» и других, многие из которых экранизированы. Умер в 1970 г. в Ковентри.